

А. Войнич

ОВИД

В судьбе романтического юноши Артура Бёртона немало неординарных событий – тайна рождения, предательство близких людей, инсценированное самоубийство, трагическая безответная любовь, пронесённая через всю жизнь. Роман «Овод» Э.Л.Войнич целое столетие волнует многие поколения читателей.

- [Этель Лилиан Войнич](#)
 - [Часть первая](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Часть вторая.](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Глава IX](#)
 - [Глава X](#)
 - [Глава XI](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Глава I](#)
 - [Глава II](#)
 - [Глава III](#)
 - [Глава IV](#)
 - [Глава V](#)
 - [Глава VI](#)
 - [Глава VII](#)
 - [Глава VIII](#)
 - [Эпилог](#)
 - [Роман «Овод» и его автор](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)

- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)

- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)

- [101](#)
 - [102](#)
 - [103](#)
 - [104](#)
 - [105](#)
 - [106](#)
-

Этель Лилиан Войнич

Овод

Приношу глубочайшую благодарность всем тем в Италии, кто оказал мне помощь по сбору материалов для этого романа. С особой признательностью вспоминаю любезность и благожелательность служащих библиотеки Маручеллиана во Флоренции, а также Государственного архива и Гражданского музея в Болонье.

*«Оставь; что тебе до нас,
Иисус Назарянин?»*





Артур сидел в библиотеке духовной семинарии в Пизе^[1] и просматривал стопку рукописных проповедей. Стоял жаркий июньский вечер. Окна были распахнуты настежь, ставни наполовину притворены. Отец ректор, каноник^[2] Монтанелли, перестал писать и с любовью взглянул на чёрную голову, склонившуюся над листами бумаги.

– Не можешь найти, *carino*^[3]? Оставь. Придётся написать заново. Я, вероятно, сам разорвал эту страничку, и ты напрасно задержался здесь.

Голос у Монтанелли был тихий, но очень глубокий и звучный. Серебристая чистота тона придавала его речи особенное обаяние. Это был голос прирождённого оратора, гибкий, богатый оттенками, и в нём слышалась ласка всякий раз, когда отец ректор обращался к Артуру.

– Нет, *padre*^[4], я найду. Я уверен, что она здесь. Если вы будете писать заново, вам никогда не удастся восстановить все, как было.

Монтанелли продолжал прерванную работу. Где-то за окном однотонно жужжал майский жук, а с улицы доносился протяжный, заунывный крик торговца фруктами: «Fragola! Fragola!^[5]» – «Об исцелении прокажённого» – вот она!

Артур подошёл к Монтанелли мягкими, неслышными шагами, которые всегда так раздражали его домашних. Небольшого роста, хрупкий, он скорее походил на итальянца с портрета XVI века, чем на юношу 30-х годов из английской буржуазной семьи. Слишком уж все в нём было изящно, словно выточено: длинные стрелки бровей, тонкие губы, маленькие руки, ноги. Когда он сидел спокойно, его можно было принять за хорошенькую девушку, переодетую в мужское платье; но гибкими движениями он напоминал приручённую пантеру – правда, без когтей.

– Неужели нашёл? Что бы я без тебя делал, Артур? Вечно все терял бы... Нет, довольно писать. Идём в сад, я помогу тебе разобраться в твоей работе. Чего ты там не понял?

Они вышли в тихий тенистый монастырский сад. Семинария занимала здание старинного доминиканского^[6] монастыря, и двести лет назад его квадратный двор содержался в безупречном порядке. Ровные бордюры из букса окаймляли аккуратно подстриженный розмарин и лаванду. Монахи в белой одежде, которые когда-то ухаживали за этими растениями, были давно похоронены и забыты, но душистые травы все ещё благоухали здесь в мягкие летние вечера, хотя уже никто не собирал их для лекарственных целей. Теперь между каменными плитами дорожек пробивались усики дикой петрушки и водосбора. Колодец среди двора зарос папоротником. Запущенные розы одичали; их длинные спутанные ветки тянулись по всем

дорожкам. Среди букса алели большие красные маки. Высокие побеги наперстянки склонялись над травой, а бесплодные виноградные лозы, покачиваясь, свисали с ветвей боярышника, уныло кивавшего своей покрытой листьями верхушкой.

В одном углу сада поднималась ветвистая магнолия с тёмной листвой, окроплённой там и сям брызгами молочно-белых цветов. У ствола магнолии стояла грубая деревянная скамья. Монтанелли опустился на неё.

Артур изучал философию в университете. В тот день ему встретилось трудное место в книге, и он обратился за разъяснением к padre. Он не учился в семинарии, но Монтанелли был для него подлинной энциклопедией.

– Ну, пожалуй, я пойду, – сказал Артур, когда непонятные строки были разъяснены. – Впрочем, может быть, я вам нужен?

– Нет, на сегодня я работу закончил, но мне бы хотелось, чтобы ты немного побыл со мной, если у тебя есть время.

– Конечно, есть!

Артур прислонился к стволу дерева и посмотрел сквозь тёмную листву на первые звёзды, слабо мерцающие в глубине спокойного неба. Свои мечтательные, полные тайны синие глаза, окаймлённые чёрными ресницами, он унаследовал от матери, уроженки Корнуэлла^[7]. Монтанелли отвернулся, чтобы не видеть их.

– Какой у тебя утомлённый вид, carino, – проговорил он.

– Что поделаешь...

В голосе Артура слышалась усталость, и Монтанелли сейчас же заметил это.

– Напрасно ты спешил приступать к занятиям. Болезнь матери, бессонные ночи – все это изнурило тебя. Мне следовало настоять, чтобы ты хорошенько отдохнул перед отъездом из Ливорно^[8].

– Что вы, padre, зачем? Я всё равно не мог бы остаться в этом доме после смерти матери. Джули довела бы меня до сумасшествия.

Джули была жена старшего сводного брата Артура, давний его недруг.

– Я и не хотел, чтобы ты оставался у родственников, – мягко сказал Монтанелли. – Это было бы самое худшее, что можно придумать. Но ты мог принять приглашение своего друга, английского врача. Провёл бы у него месяц, а потом снова вернулся к занятиям.

– Нет, padre! Уоррены – хорошие, сердечные люди, но они многого не понимают и жалеют меня – я вижу это по их лицам. Стали бы утешать, говорить о матери... Джемма, конечно, не такая. Она всегда чувствовала, чего не следует касаться, – даже когда мы были ещё детьми. Другие не так чутки. Да и не только это...

– Что же ещё, сын мой?

Артур сорвал цветок с поникшего стебля наперстянки и нервно сжал его в руке.

– Я не могу жить в этом городе, – начал он после минутной паузы. – Не могу видеть магазины, где она когда-то покупала мне игрушки; набережную, где я гулял с нею, пока она не слегла в постель. Куда бы я ни пошёл – все то же. Каждая цветочница на рынке по-прежнему подходит ко мне и предлагает цветы. Как будто они нужны мне теперь! И потом... кладбище... Нет, я не мог не уехать! Мне тяжело видеть все это.

Артур замолчал, разрывая колокольчики наперстянки. Молчание было таким долгим и глубоким, что он взглянул на padre, недоумевая, почему тот не отвечает ему. Под ветвями магнолии уже сгущались сумерки. Всё расплывалось в них, принимая неясные очертания, однако света было достаточно, чтобы разглядеть мертвенную бледность, разлившуюся по лицу Монтанелли. Он сидел, низко опустив голову и ухватившись правой рукой за край скамьи. Артур отвернулся с чувством благоговейного изумления, словно нечаянно коснувшись святыни.

«О боже, – подумал он, – как я мелок и себялюбив по сравнению с ним! Будь моё горе его горем, он не мог бы почувствовать его глубже».

Монтанелли поднял голову и огляделся по сторонам.

– Хорошо, я не буду настаивать, чтобы ты вернулся туда, во всяком случае теперь, – ласково проговорил он. – Но обещай мне, что ты отдохнёшь по-настоящему за летние каникулы. Пожалуй, тебе лучше провести их где-нибудь подальше от Ливорно. Я не могу допустить, чтобы ты совсем расхворался.

– Padre, а куда поедете вы, когда семинария закроется?

– Как всегда, повезу воспитанников в горы, устрою их там. В середине августа из отпуска вернётся помощник ректора. Тогда отправлюсь бродить в Альпах. Может быть, ты поедешь со мной? Будем совершать в горах длинные прогулки, и ты познакомишься на месте с альпийскими мхами и лишайниками. Только боюсь, тебе будет скучно со мной.

– Padre! – Артур сжал руки. Этот привычный ему жест Джули приписывала «манерности! свойственной только иностранцам». – Я готов отдать все на свете, чтобы поехать с вами! Только... я не уверен...

Он запнулся.

– Ты думаешь, мистер Бёртон не разрешит тебе?

– Он, конечно, будет недоволен, но помешать нам не сможет. Мне уже восемнадцать лет, и я могу поступать как хочу. К тому же Джеймс ведь мне только сводный брат, и я вовсе не обязан подчиняться ему. Он всегда недолюбливал мою мать.

– Всё же, если мистер Бёртон будет против, я думаю, тебе лучше уступить. Твоё положение в доме может ухудшиться, если...

– Ухудшиться? Вряд ли! – горячо прервал его Артур. – Они всегда меня ненавидели и будут ненавидеть, что бы я ни делал. Да и как Джеймс может противиться, если я еду с вами, моим духовником?

– Помни – он протестант^[9]! Во всяком случае, лучше написать ему. Посмотрим, что он ответит. Побольше терпения, сын мой. В наших поступках мы не должны руководствоваться тем, любят нас или ненавидят.

Это внушение было сделано так мягко, что Артур только чуть покраснел, выслушав его.

– Да, я знаю, – ответил он со вздохом. – Но ведь это так трудно!

– Я очень жалел, что ты не мог зайти ко мне во вторник, – сказал Монтанелли, резко меняя тему разговора. – Был епископ из Ареццо, и мне хотелось, чтобы ты его повидал.

– В тот день я обещал быть у одного студента. У него на квартире было собрание, и меня ждали.

– Какое собрание?

Артур несколько смутился.

– Вернее... вернее, не собрание... – сказал он, запинаясь. – Из Генуи приехал один студент и произнёс речь. Скорее это была лекция...

– О чём?

Артур замялся.

– Padre, вы не будете спрашивать его фамилию? Я обещал...

– Я ни о чём не буду спрашивать. Если ты обещал хранить тайну, говорить об этом не следует. Но я думаю, ты мог бы довериться мне.

– Конечно, padre. Он говорил... о нас и о нашем долге перед народом, о нашем... долге перед самими собой. И о том, чем мы можем помочь...

– Помочь? Кому?

– Cantadini^[10] и...

– Кому ещё?

– Италии.

Наступило долгое молчание.

– Скажи мне, Артур, – серьёзным тоном спросил Монтанелли, повернувшись к нему, – давно ты стал думать об этом?

– С прошлой зимы.

– Ещё до смерти матери? И она ничего не знала?

– Нет. Тогда это ещё не захватило меня.

– А теперь?

Артур сорвал ещё несколько колокольчиков наперстянки.

– Вот как это случилось, padre, – начал он, опустив глаза. – Прошлой осенью я готовился к вступительным экзаменам и, помните, познакомился со многими студентами. Так вот, кое-кто из них стал говорить со мной обо всём этом... Давали читать книги. Но тогда мне было не до того. Меня тянуло домой, к матери. Она была так одинока, там, в Ливорно! Ведь это не дом, а тюрьма. Чего стоит язычок Джули! Он один был способен убить её. Потом зимой, когда мать тяжело заболела, я забыл и студентов, и книги и, как вы знаете, совсем перестал бывать в Пизе. Если б меня волновали эти вопросы, я бы все рассказал матери. Но они как-то вылетели у меня из головы. Потом я понял, что она доживает последние дни... Вы знаете, я был безотлучно при ней до самой её смерти. Часто просиживал у её постели целые ночи. Днём приходила Джемма Уоррен, и я шёл спать... Вот в эти-то длинные ночи я и стал задумываться над прочитанным и над тем, что говорили мне студенты. Пытался уяснить, правы ли они... Думал: а что сказал бы обо всём этом Христос?

– Ты обращался к нему? – Голос Монтанелли прозвучал не совсем твёрдо.

– Да, padre, часто. Я молил его наставить меня или дать мне умереть вместе с матерью... Но ответа не получил.

– И ты не поговорил об этом со мной Артур! А я-то думал, что ты доверяешь мне!

– Padre, вы ведь знаете, что доверяю! Но есть вещи о которых никому не следует говорить. Мне казалось что тут никто не может помочь – ни вы, ни мать. Я хотел получить ответ от самого бога. Ведь решался вопрос о моей жизни, о моей душе.

Монтанелли отвернулся и стал пристально всматриваться в сумерки, окутавшие магнолию. Они были так густы, что его фигура казалась тёмным призраком среди ещё более тёмных ветвей.

– Ну а потом? – медленно проговорил он.

– Потом... она умерла. Последние три ночи я не отходил от неё...

Артур замолчал, но Монтанелли сидел не двигаясь.

– Два дня перед погребением я только о ней и думал, – продолжал Артур совсем тихо. – Потом, после похорон, я заболел и не мог прийти на исповедь. Помните?

– Помню.

– В ту ночь я поднялся с постели и пошёл в комнату матери. Там было пусто. Только в алькове стояло большое распятие. Мне казалось, что господь поможет мне. Я упал на колени и ждал – всю ночь. А утром, когда я пришёл в себя... Нет, padre! Я не могу объяснить, не могу рассказать вам, что я видел. Я сам едва помню. Но я знаю, что господь ответил мне. И я не смею противиться его воле.

Несколько минут они сидели молча, затем Монтанелли повернулся к Артуру и положил ему руку на плечо.

– Сын мой! – проговорил он. – Я не посмею сказать, что господь не обращался к твоей душе. Но вспомни, в каком ты был состоянии тогда, и не принимай болезненную мечту за высокий

призыв господ. Если действительно такова была его воля – ответить тебе, когда смерть посетила твой дом, – смотри, как бы не истолковать ошибочно его слово. Куда зовёт тебя твоё сердце?

Артур поднялся и ответил торжественно, точно повторяя слова катехизиса:

– Отдать жизнь за Италию, освободить её от рабства и нищеты, изгнать австрийцев и создать свободную республику, не знающую иного властелина, кроме Христа!

– Артур, подумай, что ты говоришь! Ты ведь даже не итальянец!

– Это ничего не значит. Я остаюсь самим собой. Мне было видение, и я исполню волю господ.

Снова наступило молчание.

– Ты говоришь, что Христос... – медленно начал Монтанелли.

Но Артур не дал ему закончить:

– Христос сказал: «Потерявший душу свою ради меня сбережёт её».

Монтанелли опёрся локтем о ветвь магнолии и прикрыл рукой глаза.

– Сядь на минуту, сын мой, – сказал он наконец.

Артур опустился на скамью, и Монтанелли, взяв его руки в свои, крепко сжал их.

– Сейчас я не могу спорить с тобой, – сказал он. – Всё это произошло так внезапно... Мне нужно время, чтобы разобраться. Как-нибудь после мы поговорим об этом подробно. Но сейчас я прошу тебя помнить об одном: если с тобой случится беда, если ты погибнешь, я не перенесу этого...

– Padre!

– Не перебивай, дай мне кончить. Я тебе уже говорил, что у меня нет никого во всём мире, кроме тебя. Ты вряд ли понимаешь, что это значит. Трудно тебе понять – ты так молод. В твои годы я тоже не понял бы, Артур, ты для меня как... сын. Понимаешь? Ты свет очей моих, ты радость моего сердца! Я готов умереть, лишь бы удержать тебя от ложного шага, который может погубить твою жизнь! Но я бессилен. Я не требую от тебя обещаний. Прошу только: помни, что я сказал, и будь осторожен. Подумай хорошенько, прежде чем решаться на что-нибудь. Сделай это хотя бы ради меня, если уж не ради твоей покойной матери...

– Хорошо, padre, а вы... вы... помолитесь за меня и за Италию.

Артур молча опустился на колени, и так же молча Монтанелли коснулся его склонённой головы. Прошло несколько минут. Артур поднялся, поцеловал руку каноника и, неслышно ступая, пошёл по росистой траве. Оставшись один, Монтанелли долго сидел под магнолией, глядя прямо перед собой в темноту.

«Отмщение господ настигло меня, как царя Давида, – думал он. – Я осквернил его святилище и коснулся тела господня нечистыми руками. Терпение его было велико, но вот ему пришёл конец. „Ибо ты содеял это втайне, а я содею перед всем народом израилевым и перед солнцем; сын, рождённый от тебя, умрёт“.

Мистеру Джеймсу Бёртону совсем не улыбалась затея его сводного брата «шататься по Швейцарии» вместе с Монтанелли. Но запретить эту невинную прогулку в обществе профессора богословия, да ещё с такой целью, как занятия ботаникой, он не мог. Артуру, не знавшему истинных причин отказа, это показалось бы крайним деспотизмом, он приписал бы его религиозным и расовым предрассудкам, а Бертоны гордились своей веротерпимостью. Все члены их семьи были стойкими протестантами и консерваторами ещё с тех давних пор, когда судовладельческая компания «Бёртон и сыновья, Лондон – Ливорно» только возникла, а она вела дела больше ста лет.

Бертоны держались того мнения, что английскому джентльмену подобает быть беспристрастным даже по отношению к католикам; и поэтому, когда глава дома, наскучив вдовством, женился на католичке, хорошенькой гувернантке своих младших детей, старшие сыновья, Джеймс и Томас, мрачно покорились воле провидения, хотя им и трудно было мириться с присутствием в доме мачехи, почти их ровесницы.

Со смертью отца трудное положение в семье осложнилось ещё больше женитьбой старшего сына. Впрочем, пока Глэдис была жива, оба брата добросовестно старались защищать её от злого языка Джули и как могли исполняли свой долг по отношению к Артуру. Они не любили мальчика и даже не думали этого скрывать. Их чувства к брату выражались главным образом щедрыми подарками и предоставлением ему полной свободы.

Поэтому в ответ на своё письмо Артур получил чек на покрытие путевых издержек и холодное разрешение провести каникулы, как ему будет угодно. Он истратил часть денег на покупки книг по ботанике и папок для гербария и вскоре двинулся с padre в своё первое альпийское путешествие.

Артур давно уже не видел padre таким бодрым, как в эти дни. После первого потрясения, вызванного разговором в саду, к Монтанелли мало-помалу вернулось душевное равновесие, и теперь он смотрел на все более спокойно. «Артур юн и неопытен, – думал Монтанелли. – Его решение не может быть окончательным. Ещё не поздно – мягкие увещания, вразумительные доводы сделают своё дело и вернут его с того опасного пути, на который он едва успел ступить».

Они собирались провести несколько дней в Женеве, но стоило только Артуру увидеть её залитые палящим солнцем улицы и пыльные набережные с толпами туристов, как он сразу нахмурился. Монтанелли со спокойной улыбкой наблюдал за ним.

– Что, carino? Тебе здесь не нравится?

– Сам не знаю. Я ждал совсем другого. Озеро, правда, прекрасное, и очертания холмов тоже хороши. – Они стояли на острове Руссо^[11], и Артур указывал на длинные строгие контуры Савойских Альп. – Но город! Он такой чопорный, аккуратный, в нём есть что-то... протестантское. У него такой же самодовольный вид. Нет, не нравится мне он, напоминает чем-то Джули.

Монтанелли засмеялся:

– Бедный, вот не повезло тебе! Ну что ж, мы ведь путешествуем ради удовольствия, и нам нет нужды задерживаться здесь. Давай покатаемся сегодня по озеру на парусной лодке, а завтра утром поднимемся в горы.

– Но, padre, может быть, вам хочется побыть здесь?

– Дорогой мой, я видел все это десятки раз, и если ты получишь удовольствие от нашей поездки, ничего другого мне не надо. Куда бы тебе хотелось отправиться?

– Если вам всё равно, давайте двинемся вверх по реке, к истокам.

– Вверх по Роне?

– Нет, по Арве. Она так быстро мчится.

– Тогда едем в Шамони.

Весь день они катались на маленькой парусной лодке. Живописное озеро понравилось юноше гораздо меньше, чем серая и мутная Арва. Он вырос близ Средиземного моря и привык к голубой зыби волн. Но быстрые реки всегда влекли Артура, и этот стремительный поток, нёсшийся с ледников, привёл его в восхищение.

– Вот это река! – говорил он. – Такая серьёзная!

На другой день рано утром они отправились в Шамони. Пока дорога бежала плодородной долиной, Артур был в очень весёлом настроении. Но вот близ Клуза им пришлось свернуть на крутую тропинку. Большие зубчатые горы охватила их тесным кольцом. Артур стал серьёзен и молчалив. От Сен-Мартена двинулись пешком по долине, останавливались на ночлег в придорожных шале^[12] или в маленьких горных деревушках и снова шли дальше, куда хотелось. Природа производила на Артура огромное впечатление, а первый водопад, встретившийся им на пути, привёл его в восторг. Но по мере того как они подходили к снежным вершинам, восхищение Артура сменялось какой-то восторженной мечтательностью, новой для Монтанелли. Казалось, между юношей и горами существовало тайное родство. Он готов был часами лежать неподвижно среди тёмных, гулко шумевших сосен, лежать и смотреть меж прямых высоких стволов на залитый солнцем мир сверкающих горных пиков и нагих утёсов. Монтанелли наблюдал за ним с грустью и завистью.

– Хотел бы я знать, *carino*, что ты там видишь, – сказал он однажды, переведя взгляд от книги на Артура, который вот уже больше часа лежал на мшистой земле и не сводил широко открытых глаз с блистающих в вышине гор и голубого простора над ними.

Решив переночевать в тихой деревушке неподалёку от водопада Диоза, они свернули к вечеру с дорогими поднялись на поросшую соснами гору полюбоваться оттуда закатом над пиками и вершиной Монблана. Артур поднял голову и как зачарованный посмотрел на Монтанелли:

– Что я вижу, *padre*? Словно сквозь тёмный кристалл я вижу в этой голубой пустыне без начала и конца величественное существо в белых одеждах. Век за веком оно ждёт озарения духом Божиим.

Монтанелли вздохнул;

– И меня когда-то посещали такие видения.

– А теперь?

– Теперь нет. Больше этого уже не будет. Они не исчезли, я знаю, но глаза мои закрыты для них. Я вижу совсем другое.

– Что же вы видите?

– Что я вижу, *carino*? В вышине я вижу голубое небо и снежную вершину, но вон там глазам моим открывается нечто иное. – Он показал вниз, на долину.

Артур стал на колени и нагнулся над краем пропасти. Огромные сосны, окутанные вечерними сумерками, стояли, словно часовые, вдоль узких речных берегов. Прошла минута – солнце, красное, как раскалённый уголь, спряталось за зубчатый утёс, и все вокруг потухло. Что-то тёмное, грозное надвинулось на долину. Отвесные скалы на западе торчали в небе, точно клыки какого-то чудовища, которое вот-вот бросится на свою жертву и унесёт её вниз, в разверстую пасть пропасти, где лес глухо стонал на ветру. Высокие ели острыми ножами поднимались ввысь, шепча чуть слышно: «Упади на нас!» Горный поток бурлил и клочкотал во тьме, в неизбывном отчаянии кидаясь на каменные стены своей тюрьмы.

– *Padre!* – Артур встал и, вздрогнув, отшатнулся от края бездны – Это похоже на

преисподнюю!

– Нет, сын мой, – тихо проговорил Монтанелли, – это похоже на человеческую душу.

– На души тех, кто бродит во мраке и кого смерть осеняет своим крылом?

– На души тех, с кем ты ежедневно встречаешься на улицах.

Артур, поёживаясь, смотрел вниз, в темноту. Белесый туман плыл среди сосен медля над бушующим потоком, точно печальный призрак, не властный вымолвить ни слова утешения.

– Смотрите! – вдруг сказал Артур. – Люди, что бродили во мраке, увидели свет!

Вечерняя заря зажгла снежные вершины на востоке. Но вот, лишь только её красноватые отблески потухли, Монтанелли повернулся к Артуру и тронул его за плечо:

– Пойдём, carino. Уже стемнело, как бы нам не заблудиться.

– Этот утёс – словно мертвец, – сказал юноша, отводя глаза от поблёскивавшего вдали снежного пика.

Осторожно спустившись между тёмными деревьями, они пошли на ночёвку в шале.

Войдя в комнату, где Артур поджидал его к ужину, Монтанелли увидел, что юноша забыл о своих недавних мрачных видениях и словно преобразился.

– Padre, идите сюда! Посмотрите на эту потешную собачонку! Она танцует на задних лапках.

Он был так же увлечён собакой и её прыжками, как час назад зрелищем альпийского заката. Хозяйка шале, краснощёкая женщина в белом переднике, стояла, уперев в бока полные руки, и улыбалась, глядя на возню Артура с собакой.

– Видно, у него не очень-то много забот, если так заигрался, – сказала она своей дочери на местном наречии. – А какой красавчик!

Артур покраснел, как школьник, а женщина, заметив, что её поняли, ушла, смеясь над его смущением.

За ужином он только и толковал, что о планах дальнейших прогулок в горы, о восхождениях на вершины, о сборе трав. Причудливые образы, вставшие перед ним так недавно, не повлияли, видимо, ни на его настроение, ни на аппетит.

Утром, когда Монтанелли проснулся, Артура уже не было. Он отправился ещё до рассвета в горы помочь Гаспару выгнать коз на пастбище.

Однако не успели подать завтрак, как юноша вбежал в комнату, без шляпы, с большим букетом диких цветов. На плече у него сидела девочка лет трех.

Монтанелли смотрел на него улыбаясь. Какой разительный контраст с тем серьёзным, молчаливым Артуром, которого он знал в Пизе и Ливорно!

– Ах, padre, как там хорошо! Восход солнца в горах! Сколько в этом величия! А какая сильная роса! Взгляните. – Он поднял ногу в мокром, грязном башмаке. – У нас было немного хлеба и сыра, а на пастбище мы выпили козьего молока... Ужасная гадость! Но я опять проголодался, и вот этой маленькой персоне тоже надо поесть... Аннет, хочешь меду?

Он сел, посадил девочку к себе на колени и стал помогать ей разбирать цветы.

– Нет, нет! – запротестовал Монтанелли. – Так ты можешь простудиться. Сбегай переоденься... Иди сюда, Аннет... Где ты подобрал её, Артур?

– В самом конце деревни. Это дочка того человека, которого мы встретили вчера. Он здешний сапожник. Посмотрите, какие у Аннет чудесные глаза! А в кармане у неё живая черепаха, по имени Каролина.

Когда Артур, сменив мокрые чулки, сошёл вниз завтракать, девочка сидела на коленях у padre и без умолку тараторила о черепахе, которую она держала вверх брюшком в своей пухлой ручке, чтобы «monsieur»^[13] мог посмотреть, как шевелятся у неё лапки.

– Поглядите, monsieur! – серьёзным тоном говорила она. – Поглядите, какие у Каролины башмачки!

Монтанелли, забавляя малютку, гладил её по голове, любовался черепахой и рассказывал чудесные сказки. Хозяйка вошла убрать со стола и с изумлением посмотрела на Аннет, которая выворачивала карманы у важного господина в духовном одеянии.

– Бог помогает младенцам распознавать хороших людей, – сказала она. – Аннет боится чужих, а сейчас, смотрите, она совсем не дичится его преподобия. Вот чудо! Аннет, стань скорее на колени и попроси благословения у доброго господина. Это принесёт тебе счастье...

– Я и не подозревал, padre, что вы умеете играть с детьми, – сказал Артур час спустя, когда они проходили по залитому солнцем пастбищу. – Ребёнок просто не отрывал от вас глаз. Знаете, я...

– Что?

– Я только хотел сказать... как жаль, что церковь запрещает священникам жениться. Я не совсем понимаю почему. Ведь воспитание детей – такое серьёзное дело! Как важно, чтобы с самого рождения они были в хороших руках. Мне кажется, чем выше призвание человека, чем чище его жизнь, тем больше он пригоден в роли отца. Padre, я уверен, что, если бы не ваш обет... если б вы женились, ваши дети были бы...

– Замолчи!

Это слово, произнесённое торопливым шёпотом, казалось, углубило наступившее потом молчание.

– Padre, – снова начал Артур, огорчённый мрачным видом Монтанелли, – разве в этом есть что-нибудь дурное? Может быть, я ошибаюсь, но я говорю то, что думаю.

– Ты не совсем ясно отдаёшь себе отчёт в значении своих слов, – мягко ответил Монтанелли. – Пройдёт несколько лет, и ты поймёшь многое. А сейчас давай поговорим о чём-нибудь другом.

Это было первым нарушением того полного согласия, которое установилось между ними за время каникул.

Из Шамони Монтанелли и Артур поднялись на Тэт-Наур и в Мартиньи остановились на отдых, так как дни стояли удручающе жаркие.

После обеда они перешли на защищённую от солнца террасу отеля, с которой открывался чудесный вид. Артур принёс ботанизирку и начал с Монтанелли серьёзную беседу о ботанике. Они говорили по-итальянски.

На террасе сидели двое художников-англичан. Один делал набросок с натуры, другой лениво болтал. Ему не приходило в голову, что иностранцы могут понимать по-английски.

– Брось свою пачкотню, Вилли, – сказал он. – Нарисуй лучше вот этого восхитительного итальянского юношу, восторгающегося папоротниками. Ты посмотри, какие у него брови! Замени лупу в его руках распятием, надень на него римскую тогу вместо коротких штанов и куртки – и перед тобой законченный тип христианина первых веков.

– Какой там христианин! Я сидел возле него за обедом. Он восторгался жареной курицей не меньше, чем этой травой. Что и говорить, юноша очень мил, у него такой чудесный оливковый цвет лица. Но его отец гораздо живописнее.

– Его-кто?

– Его отец, что сидит прямо перед тобой. Неужели ты не заинтересовался им? Какое у него прекрасное лицо!

– Эх ты, безмозглый методист^[14]! Не признал католического священника!

– Священника? А ведь верно! Чёрт возьми! Я и забыл: обет целомудрия и всё такое прочее... Что ж, раз так, будем снисходительны и предположим, что этот юноша – его

племянник.

– Вот ослы! – прошептал Артур, подняв на Монтанелли смеющиеся глаза. – Тем не менее с их стороны очень любезно находить во мне сходство с вами. Мне бы хотелось и в самом деле быть вашим племянником... Padre, что с вами? Как вы побледили!

Монтанелли встал и приложил руку ко лбу.

– У меня закружилась голова, – произнёс он глухим, слабым голосом. – Должно быть, я сегодня слишком долго был на солнце. Пойду прилягу, carino. Это от жары.

* * *

Проведя две недели у Люцернского озера, Артур и Монтанелли возвращались в Италию через Сен-Готардский перевал. Погода благоприятствовала им, и они совершили не одну интересную экскурсию, но та радость, которая сопровождала каждому их шагу в первые дни, исчезла.

Монтанелли преследовала тревожная мысль о необходимости серьёзно поговорить с Артуром, что, казалось, легче всего было сделать во время каникул. В долине Арвы он намеренно избегал касаться той темы, которую они обсуждали в саду, под магнолией. Было бы жестоко, думал Монтанелли, омрачать таким тяжёлым разговором первые радости, которые даёт Артуру альпийская природа. Но с того дня в Мартиньи он повторял себе каждое утро: «Сегодня я поговорю с ним», и каждый вечер: «Нет, лучше завтра». Каникулы уже подходили к концу, а он всё повторял: «Завтра, завтра». Его удерживало смутное, пронизывающее холодком чувство, что отношения их уже не те, – словно какая-то завеса отделила его от Артура. Лишь в последний вечер каникул он внезапно понял, что если говорить, то только сегодня.

Они остались ночевать в Лугано, а на следующее утро должны были выехать в Пизу. Монтанелли хотелось выяснить хотя бы, как далеко его любимец завлечён в роковые зыбучие пески итальянской политики.

– Дождь перестал, carino, – сказал он после захода солнца. – Сейчас самое время посмотреть озеро. Пойдём, мне нужно поговорить с тобой.

Они прошли вдоль берега к тихому, уединённому месту и уселись на низкой каменной стене. Около неё рос куст шиповника, покрытый алыми ягодами. Несколько запоздалых бледных розочек, отягчённых дождевыми каплями, свешивались с верхней ветки. По зелёной глади озера скользила маленькая лодка с лёгким белым парусом, слабо колыхавшимся на влажном ветерке. Лодка казалась лёгкой и хрупкой, словно серебристый, брошенный на воду одуванчик. На Монте-Сальваторе, как золотой глаз, сверкнуло окно одинокой пастушьей хижины. Розы опустили головки, задремав под облачным сентябрьским небом; вода с тихим плеском набегала на прибрежные камни.

– Только сейчас я могу спокойно поговорить с тобой, – начал Монтанелли. – Ты вернёшься к своим занятиям, к своим друзьям, да и я эту зиму буду очень, занят. Мне хочется выяснить наши отношения, и если ты...

Он помолчал минутку, а потом снова медленно заговорил:

– ...и если ты чувствуешь, что можешь доверять мне по-прежнему, то скажи откровенно – не так, как тогда в саду семинарии, – далеко ли ты зашёл...

Артур смотрел на водную рябь, спокойно слушал его и молчал.

– Я хочу знать, если только ты можешь ответить мне, – продолжал Монтанелли, – связал ли ты себя клятвой или как-либо иначе.

– Мне нечего сказать вам, дорогой padre. Я не связал себя ничем, и всё-таки я связан.

– Не понимаю...

– Что толку в клятвах? Не они связывают людей. Если вы чувствуете, что вами овладела идея, – это все. А иначе вас ничто не свяжет.

– Значит, это... это не может измениться? Артур, понимаешь ли ты, что говоришь?

Артур повернулся и посмотрел Монтанелли прямо в глаза:

– Padre, вы спрашивали, доверяю ли я вам. А есть ли у вас доверие ко мне? Ведь если бы мне было что сказать, я бы вам сказал. Но о таких вещах нет смысла говорить. Я не забыл ваших слов и никогда не забуду. Но я должен идти своей дорогой, идти к тому свету, который я вижу впереди.

Монтанелли сорвал розочку с куста, оборвал лепестки и бросил их в воду.

– Ты прав, саріно. Довольно, не будем больше говорить об этом. Все равно словами не поможешь... Что ж... дойдём.

Осень и зима миновали без всяких событий. Артур прилежно занимался, и у него оставалось мало свободного времени. Всё же раз, а то и два раза в неделю он улучал минутку, чтобы заглянуть к Монтанелли. Иногда он заходил к нему с книгой за разъяснением какого-нибудь трудного места, и в таких случаях разговор шёл только об этом. Чувствуя вставшую между ними почти неосызаемую преграду, Монтанелли избегал всего, что могло показаться попыткой с его стороны восстановить прежнюю близость. Посещения Артура доставляли ему теперь больше горечи, чем радости. Трудно было выдерживать постоянное напряжение, казаться спокойным и вести себя так, словно ничто не изменилось. Артур тоже замечал некоторую перемену в обращении padre и, понимая, что она связана с тяжким вопросом о его «новых идеях», избегал всякого упоминания об этой теме, владевшей непрестанно его мыслями.

И всё-таки Артур никогда не любил Монтанелли так горячо, как теперь. От смутного, но неотвязного чувства неудовлетворённости и душевной пустоты, которое он с таким трудом пытался заглушить изучением богословия и соблюдением обрядов католической церкви, при первом же знакомстве его с «Молодой Италией»^[15] не осталось и следа. Исчезла нездоровая мечтательность, порождённая одиночеством и бодрствованием у постели умирающей, не стало сомнений, спасаясь от которых он прибегал к молитве. Вместе с новым увлечением, с новым, более ясным восприятием религии (ибо в студенческом движении Артур видел не столько политическую, сколько религиозную основу) к нему пришло чувство покоя, душевной полноты, умиротворённости и расположения к людям. Весь мир озарился для него новым светом. Он находил новые, достойные любви стороны в людях, неприятных ему раньше, а Монтанелли, который в течение пяти лет был для него идеалом, представлялся ему теперь грядущим пророком новой веры, с новым сиянием на челе. Он страстно вслушивался в проповеди padre, стараясь уловить в них следы внутреннего родства с республиканскими идеями; подолгу размышлял над евангелием и радовался демократическому духу христианства в дни его возникновения.

В один из январских дней Артур зашёл в семинарию вернуть взятую им книгу. Узнав, что отец ректор вышел, он поднялся в кабинет Монтанелли, поставил том на полку и хотел уже идти, как вдруг внимание его привлекла книга, лежавшая на столе. Это было сочинение Данте – «De Monarchia»^[16]. Артур начал читать книгу и скоро так увлёкся, что не услышал, как отворилась и снова затворилась дверь. Он оторвался от чтения только тогда, когда за его спиной раздался голос Монтанелли.

– Вот не ждал тебя сегодня! – сказал padre, взглянув на заголовок книги. – Я только что собирался послать к тебе справиться, не придёшь ли ты вечером.

– Что-нибудь важное? Я занят сегодня, но если...

– Нет, можно и завтра. Мне хотелось видеть тебя – я уезжаю во вторник. Меня вызывают в Рим.

– В Рим? Надолго?

– В письме говорится, что до конца пасхи. Оно из Ватикана^[17]. Я хотел сразу дать тебе знать, но всё время был занят то делами семинарии, то приготовлениями к приезду нового ректора.

– Padre, я надеюсь, вы не покинете семинарии?

– Придётся. Но я, вероятно, ещё приеду в Пизу. По крайней мере на время.

– Но почему вы уходите?

– Видишь ли... Это ещё не объявлено официально, но мне предлагают епископство.

– Padre! Где?

– Для этого мне надо ехать в Рим. Ещё не решено, получу ли я епархию в Апеннинах или останусь викарием здесь.

– А новый ректор уже назначен?

– Да, отец Карди. Он приедет завтра.

– Как все это неожиданно!

– Да... решения Ватикана часто объявляются в самую последнюю минуту.

– Вы знакомы с новым ректором?

– Лично незнаком, но его очень хвалят. Монсеньёр Беллони пишет, что это человек очень образованный.

– Для семинарии ваш уход – большая потеря.

– Не знаю, как семинария, но ты, caro, будешь чувствовать моё отсутствие. Может быть, почти так же, как я твоё.

– Да, это верно. И всё-таки я радуюсь за вас.

– Радуетесь? А я не знаю, радоваться ли мне.

Монтанелли сел к столу, и вид у него был такой усталый, точно он на самом деле не радовался высокому назначению.

– Ты занят сегодня днём, Артур? – начал он после минутной паузы. – Если нет, останься со мной, раз ты не можешь зайти вечером. Мне что-то не по себе, Я хочу как можно дольше побыть с тобой до отъезда.

– Хорошо, только в шесть часов я должен быть...

– На каком-нибудь собрании?

Артур кивнул, и Монтанелли быстро переменял тему разговора.

– Я хотел поговорить о твоих делах, – начал он. – В моё отсутствие тебе будет нужен другой духовник.

– Но когда вы вернётесь, я ведь смогу прийти к вам на исповедь?

– Дорогой мой, что за вопрос! Я говорю только о трех или четырех месяцах, когда меня здесь не будет. Согласен ты взять в духовники кого-нибудь из отцов Санта-Катарины^[18]?

– Согласен.

Они поговорили немного о других делах. Артур поднялся:

– Мне пора. Студенты будут ждать меня.

Мрачная тень снова пробежала по лицу Монтанелли.

– Уже? А я только начал отвлекаться от своих чёрных мыслей. Ну что ж, прощай!

– Прощайте. Завтра я опять приду.

– Приходи пораньше, чтобы я успел повидать тебя наедине. Завтра приезжает отец Карди... Артур, дорогой мой, прошу тебя, будь осторожен, не совершай необдуманных поступков, по крайней мере до моего возвращения. Ты не можешь себе представить, как я боюсь оставлять тебя одного!

– Напрасно, padre. Сейчас все совершенно спокойно, и так будет ещё долгое время.

– Ну, прощай! – отрывисто сказал Монтанелли и склонился над своими бумагами.

* * *

Войдя в комнату, где происходило студенческое собрание, Артур прежде всего увидел подругу своих детских игр, дочь доктора Уоррена. Она сидела у окна в углу и внимательно слушала, что говорил ей высокий молодой ломбардец в поношенном костюме – один из

инициаторов движения. За последние несколько месяцев она сильно изменилась, развилась и теперь стала совсем взрослой девушкой. Только две толстые чёрные косы за спиной ещё напоминали недавнюю школьницу. На ней было чёрное платье; голову она закутала черным шарфом, так как в комнате сквозило. На груди у неё была приколотая кипарисовая веточка – эмблема «Молодой Италии». Ломбардец с горячностью рассказывал ей о нищете калабрийских^[19] крестьян, а она сидела молча и слушала, опершись подбородком на руку и опустив глаза. Артуру показалось, что перед ним предстало грустное видение: Свобода, оплакивающая утраченную Республику. (Джули увидела бы в ней только не в меру вытянувшуюся девчонку с бледным лицом, некрасивым носом и в старом, слишком коротком платье.)

– Вы здесь, Джим! – сказал Артур, подойдя к ней, когда ломбардца отозвали в другой конец комнаты.

Джим – было её детское прозвище, уменьшительное, от редкого имени Джиннифер, данного ей при крещении. Школьные подружки-итальянки звали её Джеммой.

Она удивлённо подняла голову;

– Артур! А я и не знала, что вы входите в организацию.

– И я никак не ожидал встретить вас здесь, Джим! С каких пор вы...

– Да нет, – поспешно заговорила она. – Я ещё не состою в организации. Мне только удалось выполнить два-три маленьких поручения. Я познакомилась с Бини. Вы знаете Карло Бини?

– Да, конечно.

Бини был руководителем ливорнской группы, и его знала вся «Молодая Италия».

– Так вот, Бини завёл со мной разговор об этих делах. Я попросила его взять меня с собой на одно из студенческих собраний. Потом он написал мне во Флоренцию... Вы знаете, что я была на рождество во Флоренции?

– Нет, мне теперь редко пишут из дому.

– Да, понимаю... Так вот, я уехала погостить к Райтам. (Райты были её школьные подружки, переехавшие во Флоренцию.) Тогда Бини написал мне, чтобы я по пути домой заехала в Пизу и пришла сюда... Ну, сейчас начнут...

В докладе говорилось об идеальной республике и о том, что молодёжь обязана готовить себя к ней. Мысли докладчика были несколько туманны, но Артур слушал его с благоговейным восторгом. В этот период своей жизни он принимал все на веру и впитывал новые нравственные идеалы, не задумываясь над ними.

Когда доклад и последовавшие за ним продолжительные прения кончились и студенты стали расходиться, Артур подошёл к Джемме, которая всё ещё сидела в углу.

– Я провожу вас, Джим. Где вы остановились?

– У Марьетты.

– У старой экономки вашего отца?

– Да, она живёт довольно далеко отсюда.

Некоторое время они шли молча. Потом Артур вдруг спросил:

– Сколько вам лет? Семнадцать?

– Минувло семнадцать в октябре.

– Я всегда знал, что вы, когда вырастаете, не станете, как другие девушки, увлекаться балами и тому подобной чепухой. Джим, дорогая, я так часто думал, будете ли вы в наших рядах!

– То же самое я думала о вас.

– Вы говорили, что Бини давал вам какие-то поручения. А я даже не знал, что вы с ним знакомы.

– Я делала это не для Бини, а для другого.

– Для кого?

– Для того, кто разговаривал со мной сегодня, – для Боллы.

– Вы его хорошо знаете?

В голосе Артура прозвучали ревнивые нотки. Ему был неприятен этот человек. Они соперничали в одном деле, которое комитет «Молодой Италии» в конце концов доверил Болле, считая Артура слишком молодым и неопытным.

– Я знаю его довольно хорошо. Он мне очень нравится. Он жил в Ливорно.

– Знаю... Он уехал туда в ноябре.

– Да, в это время там ждали прибытия пароходов^[20]. Как вы думаете, Артур, не надёжнее ли ваш дом для такого рода дел? Никому и в голову не придёт подозревать семейство богатых судовладельцев. Кроме того, вы всех знаете в доках.

– Тише! Не так громко, дорогая! Значит, литература, присланная из Марселя, хранилась у вас?

– Только один день... Но, может быть, мне не следовало говорить вам об этом?

– Почему? Вы ведь знаете, что я член организации. Джемма, дорогая, как я был бы счастлив, если б к нам присоединились вы и... padre!

– Ваш padre? Разве он...

– Нет, убеждения у него иные. Но мне думалось иногда... Я надеялся...

– Артур, но ведь он священник!

– Так что же? В нашей организации есть и священники. Двое из них пишут в газете^[21]. Да и что тут такого? Ведь назначение духовенства – вести мир к высшим идеалам и целям, а разве не к этому мы стремимся? В конце концов это скорее вопрос религии и морали, чем политики. Ведь если люди готовы стать свободными и сознательными гражданами, никто не сможет удержать их в рабстве.

Джемма нахмурилась:

– Мне кажется, Артур, что у вас тут немножко хромает логика. Священник проповедует религиозную догму. Я не вижу, что в этом общего со стремлением освободиться от австрийцев.

– Священник – проповедник христианства, а Христос был величайшим революционером.

– Знаете, я говорила о священниках с моим отцом, и он...

– Джемма, ваш отец протестант.

После минутного молчания она смело взглянула ему в глаза;

– Давайте лучше прекратим этот разговор. Вы всегда становитесь нетерпимы, как только речь заходит о протестантах.

– Вовсе нет. Нетерпимость проявляют обычно протестанты, когда говорят о католиках.

– Я думаю иначе. Однако мы уже слишком много спорили об этом, не стоит начинать снова... Как вам понравилась сегодняшняя лекция?

– Очень понравилась, особенно последняя часть. Как хорошо, что он так решительно говорил о необходимости жить согласно идеалам республики, а не только мечтать о ней! Это соответствует учению Христа: «Царство божие внутри нас».

– А мне как раз не понравилась эта часть. Он так много говорил о том, что мы должны думать, чувствовать, какими должны быть, но не указал никаких практических путей, не говорил о том, что мы должны делать.

– Наступит время, и у нас будет достаточно дела. Нужно терпение. Великие перемены не совершаются в один день.

– Чем сложнее задача, тем больше оснований сейчас же приступить к ней. Вы говорите, что нужно подготовиться к свободе. Но кто был лучше подготовлен к ней, как не ваша мать? Разве не ангельская была у неё душа? А к чему привела вся доброта? Она была рабой до последнего

дня своей жизни. Сколько придинок, сколько оскорблений она вынесла от вашего брата Джеймса и его жены! Не будь у неё такого мягкого сердца и такого терпения, ей бы легче жилось, с ней не посмели бы плохо обращаться. Так и с Италией: тем, кто поднимается на защиту своих интересов, вовсе не нужно терпение.

– Джим, дорогая, Италия была бы уже свободна, если бы гнев и страсть могли её спасти. Не ненависть нужна ей, а любовь.

Кровь прилила к его лицу и вновь отхлынула, когда он произнёс последнее слово. Джемма не заметила этого – она смотрела прямо перед собой. Её брови были сдвинуты, губы крепко сжаты.

– Вам кажется, что я неправа, Артур, – сказала она после небольшой паузы. – Нет, правда на моей стороне. И когда-нибудь вы поймёте это... Вот и дом Марьетты. Зайдёте, может быть?

– Нет, уже поздно. Покойной ночи, дорогая!

Он стоял возле двери, крепко сжимая её руку в своих.

– «Во имя бога и народа...»

И Джемма медленно, торжественно досказала девиз:

– «...ныне и во веки веков».

Потом отняла свою руку и вбежала в дом. Когда дверь за ней захлопнулась, он нагнулся и поднял кипарисовую веточку, упавшую с её груди.

Артур вернулся домой словно на крыльях. Он был счастлив, безоблачно счастлив. На собрании намекали на подготовку к вооружённому восстанию. Джемма была теперь его товарищем, и он любил её. Они вместе будут работать, а может быть, даже вместе умрут в борьбе за грядущую республику. Вот она, весенняя пора их надежд! Padre увидит это и поверит в их дело.

Впрочем, на другой день Артур проснулся в более спокойном настроении. Он вспомнил, что Джемма собирается ехать в Ливорно, а padre – в Рим.

Январь, февраль, март – три долгих месяца до пасхи! Чего доброго, Джемма, вернувшись к своим, подпадёт под протестантское влияние (на языке Артура слово «протестант» и «филистер»^[22] были тождественны по смыслу). Нет, Джемма никогда не будет флиртовать, кокетничать и охотиться за туристами и лысыми судовладельцами, как другие английские девушки в Ливорно: Джемма совсем другая. Но она, вероятно, очень несчастна. Такая молодая, без друзей, и как ей, должно быть, одиноко среди всей этой чопорной публики... О, если бы его мать была жива!

Вечером он зашёл в семинарию и застал Монтанелли за беседой с новым ректором. Вид у него был усталый, недовольный. Увидев Артура, padre не только не обрадовался, как обычно, но ещё более помрачнел.

– Вот тот студент, о котором я вам говорил, – сухо сказал Монтанелли, представляя Артура новому ректору. – Буду вам очень обязан, если вы разрешите ему пользоваться библиотекой и впредь.

Отец Карди – пожилой, благодушного вида священник – сразу же заговорил с Артуром об университете. Свободный, непринуждённый тон его показывал, что он хорошо знаком с жизнью студенчества. Разговор быстро перешёл на слишком строгие порядки в университете – весьма злободневный вопрос.

К великой радости Артура, новый ректор резко критиковал университетское начальство за те бессмысленные ограничения, которыми оно раздражало студентов.

– У меня большой опыт по воспитанию юношества, – сказал он. – Ни в чём не мешать молодёжи без достаточных к тому оснований – вот моё правило. Если с молодёжью хорошо обращаться, уважать её, то редкий юноша доставит старшим большие огорчения. Но ведь и смиренная лошадь станет брыкаться, если постоянно дёргать поводья.

Артур широко открыл глаза. Он не ожидал найти в новом ректоре защитника студенческих интересов. Монтанелли не принимал участия в разговоре, видимо, не интересуясь этим вопросом. Вид у него был такой усталый, такой подавленный, что отец Карди вдруг сказал:

– Боюсь, я вас утомил, отец каноник. Простите меня за болтливость. Я слишком горячо принимаю к сердцу этот вопрос и забываю, что другим он, может быть, надоел.

– Напротив, меня это очень интересует.

Монтанелли никогда не удавалась показная вежливость, и Артура покорило его тон.

Когда отец Карди ушёл, Монтанелли повернулся к Артуру и посмотрел на него с тем задумчивым, озабоченным выражением, которое весь вечер не сходило с его лица.

– Артур, дорогой мой, – начал он тихо, – мне надо поговорить с тобой.

«Должно быть, он получил какое-нибудь неприятное известие», – подумал Артур, встревоженно взглянув на осунувшееся лицо Монтанелли.

Наступила долгая пауза.

– Как тебе нравится новый ректор? – спросил вдруг Монтанелли.

Вопрос был настолько неожиданный, что Артур не сразу нашёлся, что ответить.

– Мне? Очень нравится... Впрочем, я и сам ещё хорошенько не знаю. Трудно распознать человека с первого раза.

Монтанелли сидел, слегка постукивая пальцами по ручке кресла, как он всегда делал, когда его что-нибудь смущало или беспокоило.

– Что касается моей поездки, – снова заговорил он, – то, если ты имеешь что-нибудь против... если ты хочешь, Артур, я напишу в Рим, что не поеду.

– Padre! Но Ватикан...

– Ватикан найдёт кого-нибудь другого. Я пошлю им извинения.

– Но почему? Я не могу понять.

Монтанелли провёл рукой по лбу.

– Я беспокоюсь за тебя. Не могу отделаться от мысли, что... Да и потом в этом нет необходимости...

– А как же с епископством?

– Ах, Артур! Какая мне радость, если я получу епископство и потеряю...

Он запнулся. Артур не знал, что подумать. Ему никогда не приходилось видеть padre в таком состоянии.

– Я ничего не понимаю... – растерянно проговорил он. – Padre, скажите... скажите прямо, что вас волнует?

– Ничего. Меня просто мучит беспредельный страх. Признайся: тебе грозит опасность?

«Он что-нибудь слышал», – подумал Артур, вспоминая толки о подготовке к восстанию. Но, зная, что разглашать эту тайну нельзя, он ответил вопросом:

– Какая же опасность может мне грозить?

– Не спрашивай меня, а отвечай! – Голос Монтанелли от волнения стал почти резким. – Грозит тебе что-нибудь? Я не хочу знать твои тайны. Скажи мне только это.

– Все мы в руках божьих, padre. Всё может случиться. Но у меня нет никаких причин опасаться, что к тому времени, когда вы вернётесь, со мной может что-нибудь произойти.

– Когда я вернусь... Слушай, carino, я предоставляю решать тебе. Не надо мне твоих объяснений. Скажи только; останьтесь – и я откажусь от поездки. Никто от этого ничего не потеряет, а ты, я уверен, будешь при мне в безопасности.

Такая мнительность была настолько чужда Монтанелли, что Артур с тревогой взглянул на него:

– Padre, вы нездоровы. Вам обязательно нужно ехать в Рим, отдохнуть там как следует, избавиться от бессонницы и головных болей...

– Хорошо, – резко прервал его Монтанелли, словно ему надоел этот разговор. – Завтра я еду с первой почтовой каретой.

Артур в недоумении взглянул на него.

– Вы, кажется, хотели мне что-то сказать? – спросил он.

– Нет, нет, больше ничего... Ничего особенного.

В глазах Монтанелли застыло выражение тревоги, почти страха.

* * *

Спустя несколько дней после отъезда Монтанелли Артур зашёл в библиотеку семинарии за книгой и встретился на лестнице с отцом Карди.

– А, мистер Бёртон! – воскликнул ректор. – Вас-то мне и нужно. Пожалуйста, зайдите ко

мне, я рассчитываю на вашу помощь в одном трудном деле.

Он открыл дверь своего кабинета, и Артур вошёл туда с затаённым чувством неприязни. Ему тяжело было видеть, что этот рабочий кабинет, святилище padre, теперь занят другим человеком.

– Я заядлый книжный червь, – сказал ректор. – Первое, за что я принялся на новом месте, – это за просмотр библиотеки. Библиотека здесь прекрасная, но мне не совсем понятно, по какой системе составлялся каталог.

– Он не полон. Значительная часть ценных книг поступила недавно.

– Не уделите ли вы мне полчаса, чтобы объяснить систему расстановки книг?

Они вошли в библиотеку, и Артур дал все нужные объяснения. Когда он собрался уходить и уже взялся за шляпу, ректор с улыбкой остановил его:

– Нет, нет! Я не отпущу вас так скоро. Сегодня суббота – до понедельника занятия можно отложить. Оставайтесь, поужинаем вместе – все равно сейчас уже поздно. Я совсем один и буду рад вашему обществу.

Обращение ректора было так непринуждённо и приветливо, что Артур сразу почувствовал себя с ним совершенно свободно. После нескольких ничего не значащих фраз ректор спросил, давно ли он знает Монтанелли.

– Около семи лет, – ответил Артур. – Он возвратился из Китая, когда мне было двенадцать.

– Ах, да! Там он и приобрёл репутацию выдающегося проповедника-миссионера. И с тех пор отец каноник руководил вашим образованием?

– Padre начал заниматься со мной год спустя, приблизительно в то время, когда я в первый раз исповедовался у него. А когда я поступил в университет, он продолжал помогать мне по тем предметам, которые не входили в университетский курс. Он очень хорошо ко мне относится! Вы и представить себе не можете, как хорошо!

– Охотно верю. Этим человеком нельзя не восхищаться; прекрасная, благороднейшая душа. Мне приходилось встречать миссионеров, бывших с ним в Китае. Они не находили слов, чтобы в должной мере оценить его энергию, его мужество в трудные минуты, его несокрушимую веру. Вы должны благодарить судьбу, что в ваши юные годы вами руководит такой человек. Я понял из его слов, что вы рано лишились родителей.

– Да, мой отец умер, когда я был ещё ребёнком, мать – год тому назад.

– Есть у вас братья, сестры?

– Нет, только сводные братья... Но они были уже взрослыми, когда меня ещё нянчили.

– Вероятно, у вас было одинокое детство, потому-то вы так и цените доброту Монтанелли. Кстати, есть у вас духовник на время его отсутствия?

– Я думал обратиться к отцам Санта-Катарины, если у них не слишком много исповедующихся.

– Хотите исповедоваться у меня?

– Ваше преподобие, конечно, я... я буду очень рад, но только...

– Только ректор духовной семинарии обычно не исповедует мирян? Это верно. Но я знаю, что каноник Монтанелли очень заботится о вас и, если не ошибаюсь, тревожится о вашем благополучии. Я бы тоже тревожился, случись мне расстаться с любимым воспитанником. Ему будет приятно знать, что его коллега печётся о вашей душе. Кроме того, сын мой, скажу вам откровенно: вы мне очень нравитесь, и я буду рад помочь вам всем, чем могу.

– Если так, то я, разумеется, буду вам очень признателен.

– В таком случае, вы придёте ко мне на исповедь в будущем месяце?.. Прекрасно! А кроме того, заходите ко мне, мой мальчик, как только у вас выдастся свободный вечер.

Незадолго до пасхи стало официально известно, что Монтанелли получил епископство в Бризигелле, небольшом округе, расположенном в Этрусских Апеннинах. Монтанелли спокойно и непринуждённо писал об этом Артуру из Рима; очевидно, его мрачное настроение прошло. «Ты должен навещать меня каждые каникулы, – писал он, – а я обещаю приезжать в Пизу. Мы будем видеться с тобой, хоть и не так часто, как мне бы хотелось».

Доктор Уоррен пригласил Артура провести пасхальные праздники в его семье, а не в мрачном кишасе крысами старом особняке, где теперь безраздельно царила Джули. В письмо была вложена нацарапанная неровным детским почерком записочка, в которой Джемма тоже просила его приехать к ним, если это возможно. «Мне нужно переговорить с вами кое о чём», – писала она.

Ещё больше волновали и радовали Артура ходившие между студентами слухи. Все ожидали после пасхи больших событий.

Все это привело Артура в такое восторженное состояние, что все самые невероятные вещи, о которых шептались студенты, казались ему вполне реальными и осуществимыми в течение ближайших двух месяцев.

Он решил поехать домой в четверг на страстной неделе и провести первые дни каникул там, чтобы радость свидания с Джеммой не нарушила в нём того торжественного религиозного настроения, какого церковь требует от своих чад в эти дни. В среду вечером он написал Джемме, что приедет в пасхальный понедельник, и с миром в душе пошёл спать.

Он опустился на колени перед распятием. Завтра утром отец Карди обещал исповедать его, и теперь долгой и усердной молитвой ему надлежало подготовить себя к этой последней перед пасхальным причастием исповеди. Стоя на коленях, со сложенными на груди руками и склонённой головой, он вспоминал день за днём прошедший месяц и пересчитывал свои маленькие грехи – нетерпение, раздражительность, беспечность, чуть-чуть пятнавшие его душевную чистоту. Кроме этого, Артур ничего не мог вспомнить: в счастливые дни много не нагрешешь. Он перекрестился, встал с колен и начал раздеваться.

Когда он расстегнул рубашку, из-под неё выпал клочок бумаги. Это была записка Джеммы, которую он носил целый день на груди. Он поднял её, развернул и поцеловал милые каракули; потом снова сложил листок, вдруг устыдившись своей смешной выходки, и в эту минуту заметил на обороте приписку: «Непременно будьте у нас, и как можно скорее; я хочу познакомить вас с Боллой. Он здесь, и мы каждый день занимаемся вместе».

Горячая краска залила лицо Артура, когда он прочёл эти строки.

«Вечно этот Болла! Что ему снова понадобилось в Ливорно? И с чего это Джемме вздумалось заниматься вместе с ним? Околдовал он её своими контрабандными делами? Уже в январе на собрании легко было понять, что Болла влюблён в неё. Потому-то он и говорил тогда с таким жаром! А теперь он подле неё, ежедневно занимается с ней...»

Порывистым жестом Артур отбросил записку в сторону и снова опустился на колени перед распятием.

И это – душа, готовая принять отпущение грехов, пасхальное причастие, душа, жаждущая мира и с всевышним, и с людьми, и с самим собою. Значит, она способна на низкую ревность и подозрения, способна питать зависть и мелкую злобу, да ещё к товарищу! В порыве горького самоуничижения Артур закрыл лицо руками. Всего пять минут назад он мечтал о мученичестве а теперь сразу пал до таких недостойных, низких мыслей!..

В четверг Артур вошёл в церковь семинарии и застал отца Карди одного. Прочтя перед

исповедью молитву, он сразу заговорил о своём проступке:

– Отец мой, я грешен – грешен в ревности, в злобе, в недостойных мыслях о человеке, который не причинил мне никакого зла.

Отец Карди отлично понимал, с кем имеет дело. Он мягко сказал:

– Вы не все мне открыли, сын мой.

– Отец! Того, к кому я питаю нехристианские чувства, я должен особенно любить и уважать.

– Вы связаны с ним кровными узами?

– Ещё теснее.

– Что же вас связывает, сын мой?

– Узы товарищества.

– Товарищества? В чём?

– В великой и священной работе.

Последовала небольшая пауза.

– И ваша злоба к этому... товарищу, ваша ревность вызвана тем, что он больше вас успел в этой работе?

– Да... отчасти. Я позавидовал его опыту, его авторитету... И затем... я думал... я боялся, что он отнимет у меня сердце девушки... которую я люблю.

– А эта девушка, которую вы любите, дочь святой церкви?

– Нет, она протестантка.

– Еретичка?

Артур горестно стиснул руки.

– Да, еретичка, – повторил он. – Мы вместе воспитывались. Наши матери были друзьями. И я... позавидовал ему, так как понял, что он тоже любит её... и...

– Сын мой, – медленно, серьёзно заговорил отец Карди после минутного молчания, – вы не все мне открыли. У вас на душе есть ещё какая-то тяжесть.

– Отец, я...

Артур запнулся. Исповедник молча ждал.

– Я позавидовал ему потому, что организация... «Молодая Италия», к которой я принадлежу...

– Да?

– Доверила ему одно дело, которое, как я надеялся, будет поручено мне... Я считал себя особенно пригодным для него.

– Какое же это дело?

– Приёмка книг с пароходов... политических книг. Их нужно было взять... и спрятать где-нибудь в городе.

– И эту работу организация поручила вашему сопернику?

– Да, Болле... и я позавидовал ему.

– А он, со своей стороны, ни в чём не подавал вам повода к неприязни? Вы не обвиняете его в небрежном отношении к той миссии, которая была возложена на него?

– Нет, отец, Болла действовал смело и самоотверженно. Он истинный патриот, и мне бы следовало питать к нему любовь и уважение.

Отец Карди задумался.

– Сын мой, если душу вашу озарил новый свет, если в ней родилась мечта о великой работе на благо ваших братьев, если вы надеетесь облегчить бремя усталых и угнетённых, то подумайте, как вы относитесь к этому самому драгоценному дару господню. Все блага – дело его рук. И рождение ваше в новую жизнь – от него же. Если вы обрели путь к жертве, нашли

дорогу, которая ведёт к миру, если вы соединились с любимыми товарищами, чтобы принести освобождение тем, кто втайне льёт слёзы и скорбит, то постарайтесь, чтобы ваша душа была свободна от зависти и страстей, а ваше сердце было алтарём, где неугасимо горит священный огонь. Помните, что это – святое и великое дело, и сердце, которое проникнется им, должно быть очищено от себялюбия. Это призвание, так же как и призвание служителя церкви, не должно зависеть от любви к женщине, от скоропреходящих страстей. Оно во имя бога и народа, ныне и во веки веков.

– О-о! – Артур всплеснул руками.

Он чуть не разрыдался, услышав знакомый девиз.

– Отец мой, вы даёте нам благословение церкви! Христос с нами!

– Сын мой, – торжественно ответил священник, – Христос изгнал меня из храма, ибо дом его – домом молитвы наречется, а они его сделали вертепом разбойников!

После долгого молчания Артур с дрожью в голосе прошептал:

– И Италия будет храмом его, когда их изгонят...

Он замолчал. В ответ раздался мягкий голос:

– «Земля и все её богатства – мои», – сказал господь.

В тот день Артуру захотелось совершить длинную прогулку. Он поручил свои вещи товарищу студенту, а сам отправился в Ливорно пешком.

День был сырой и облачный, но не холодный, и равнина, по которой он шёл, казалась ему прекрасной, как никогда. Он испытывал наслаждение, ощущая мягкую влажную траву под ногами, всматриваясь в робкие глазки придорожных весенних цветов. У опушки леса птица свивала гнездо в кусте жёлтой акации и при его появлении с испуганным криком взвилась в воздух, затрепетав тёмными крылышками.

Артур пытался сосредоточиться на благочестивых размышлениях, каких требовал канун великой пятницы. Но два образа – Монтанелли и Джеммы – всё время мешали его намерениям, так что в конце концов он отказался от попытки настроить себя на благочестивый лад и предоставил своей фантазии свободно нестись к величию и славе грядущего восстания и к той роли, которую он предназначал в нём двум своим кумирам. Padre был в его воображении вождём, апостолом, пророком. Перед его священным гневом исчезнут все тёмные силы, и у его ног юные защитники свободы должны будут сызнова учиться старой вере и старым истинам в их новом, не изведанном доселе значении.

А Джемма? Джемма будет сражаться на баррикадах. Джемма рождена, чтобы стать героиней. Это верный товарищ. Это та чистая и бесстрашная девушка, о которой мечтало столько поэтов. Джемма станет рядом с ним, плечом к плечу, и они с радостью встретят крылатый вихрь смерти. Они умрут вместе в час победы, ибо победа не может не прийти. Он ничего не скажет ей о своей любви, ни словом не обмолвится о том, что могло бы нарушить её душевный мир и омрачить её товарищеские чувства. Она святыня, беспорочная жертва, которой суждено быть сожжённой на алтаре за свободу народа. И разве он посмеет войти в святая святых души, не знающей иной любви, кроме любви к богу и Италии?

Бог и Италия... Капли дождя упали на его голову, когда он входил в большой мрачный особняк на Дворцовой улице.

На лестнице его встретил дворецкий Джули, безукоризненно одетый, спокойный и, как всегда, вежливо недоброжелательный.

– Добрый вечер, Гиббонс. Братья дома?

– Мистер Томас и миссис Бёртон дома. Они в гостиной.

Артур с тяжёлым чувством вошёл в комнаты. Какой тоскливый дом! Поток жизни нёсся мимо, не задевая его. В нём ничто не менялось: все те же люди, все те же фамильные портреты, всё та же дорогая безвкусная обстановка и безобразные блюда на стенах, все то же мещанское чванство богатством; все тот же безжизненный отпечаток, лежащий на всём... Даже цветы в бронзовых жардиньерках казались искусственными, вырезанными из жести, словно в тёплые весенние дни в них никогда не бродил молодой сок.

Джули сидела в гостиной, бывшей центром её существования, и ожидала гостей к обеду. Вечерний туалет, застывшая улыбка, белокурые локоны и комнатная собачка на коленях – ни дать ни взять картинка из модного журнала!

– Здравствуй, Артур! – сказала она сухо, протянув ему на секунду кончики пальцев и перенеся их тотчас же к более приятной на ощупь шелковистой шерсти собачки. – Ты, надеюсь, здоров и хорошо занимаешься?

Артур произнёс первую банальную фразу, которая пришла ему в голову, и погрузился в тягостное молчание. Не внёс оживления и приход чванливого Джеймса в обществе пожилого чопорного агента какой-то пароходной компании. И когда Гиббонс доложил, что обед подан,

Артур встал с лёгким вздохом облегчения.

– Я не буду сегодня обедать, Джули. Прошу извинить меня, но я пойду к себе.

– Ты слишком строго соблюдаешь пост, друг мой, – сказал Томас. – Я уверен, что это кончится плохо.

– О нет! Спокойной ночи.

В коридоре Артур встретил горничную и попросил разбудить его в шесть часов утра.

– Синьорино^[23] пойдёт в церковь?

– Да. Спокойной ночи, Тереза.

Он вошёл в свою комнату. Она принадлежала раньше его матери, и альков против окна был превращён в молельню во время её долгой болезни. Большое распятие на чёрном пьедестале занимало середину алькова. Перед ним висела лампада. В этой комнате мать умерла. Над постелью висел её портрет, на столе стояла китайская ваза с букетом фиалок – её любимых цветов. Минул ровно год со дня смерти синьоры Глэдис, но слуги-итальянцы не забыли её.

Артур вынул из чемодана тщательно завернутый портрет в рамке. Это был сделанный карандашом портрет Монтанелли, за несколько дней до того присланный из Рима. Он стал развёртывать своё сокровище, но в эту минуту в комнату с подносом в руках вошёл мальчик – слуга Джули. Старая кухарка-итальянка, служившая Глэдис до появления в доме новой, строгой хозяйки, устала этот поднос всякими вкусными вещами, которые, как она полагала, дорогой синьорино мог бы съесть, не нарушая церковных обетов. Артур от всего отказался, за исключением кусочка хлеба; и слуга, племянник Гиббонса, недавно приехавший из Англии, многозначительно ухмыльнулся, уходя с подносом из комнаты. Он уже успел примкнуть к протестантскому лагерю на кухне.

Артур вошёл в альков и опустился на колени перед распятием, напрягая все силы, чтобы настроить себя на молитву и набожные размышления. Но ему долго не удавалось это. Он и в самом деле, как сказал Томас, слишком усердствовал в соблюдении поста. Лишения, которым он себя подвергал, действовали как крепкое вино. По его спине пробежала лёгкая дрожь, распятие поплыло перед глазами, словно в тумане. Он произнёс длинную молитву и только после этого мог сосредоточиться на тайне искупления. Наконец крайняя физическая усталость одержала верх над нервным возбуждением, и он заснул со спокойной душой, свободной от тревожных и тяжёлых дум.

Артур крепко спал, когда в дверь его комнаты кто-то постучал нетерпеливо и громко.

«А, Тереза», – подумал он, лениво поворачиваясь на другой бок.

Постучали второй раз. Он вздрогнул и проснулся.

– Синьорино! Синьорино! – крикнул мужской голос. – Вставайте, ради бога!

Артур вскочил с кровати:

– Что случилось? Кто там?

– Это я, Джиан Баттиста. Заклинаю вас именем пресвятой девы! Вставайте скорее!

Артур торопливо оделся и отпер дверь. В недоумении смотрел он на бледное, искажённое ужасом лицо кучера, но, услышав звук шагов и лязг металла в коридоре, понял все.

– За мной? – спросил он спокойно.

– За вами! Торопитесь, синьорино! Что нужно спрятать? Я могу...

– Мне нечего прятать. Братья знают?

В коридоре, из-за угла, показался мундир.

– Синьора разбудили. Весь дом проснулся. Какое горе, какое ужасное горе! И ещё в страстную пятницу! Угодники божий, жальтесь над нами!

Джиан Баттиста разрыдался. Артур сделал несколько шагов навстречу жандармам, которые, громя саблями, входили в комнату в сопровождении дрожащих слуг, одетых во что попало.

Артура окружили. Странную процессию замыкали хозяин и хозяйка дома. Он – в туфлях и в халате, она – в длинном пеньюаре и с папильотками.

«Как будто наступает второй потоп и звери, спасаясь, бегут в ковчег! Вот, например, какая забавная пара!» – мелькнуло у Артура при виде этих нелепых фигур, и он едва удержался от смеха, чувствуя всю неуместность его в такую серьёзную минуту.

– Ave, Maria, Regina Coeli ^[24]... – прошептал он и отвернулся, чтобы не видеть папильоток Джули, вводивших его в искушение.

– Будьте добры объяснить мне, – сказал мистер Бёртон, подходя к жандармскому офицеру, – что значит это насильственное вторжение в частный дом? Я должен предупредить вас, что мне придётся обратиться к английскому послу, если вы не дадите удовлетворительных объяснений.

– Думаю, что объяснение удовлетворит и вас, и английского посла, – сухо сказал офицер.

Он развернул приказ об аресте студента философского факультета Артура Бёртона и вручил его Джеймсу, холодно прибавив:

– Если вам понадобятся дальнейшие объяснения, советую лично обратиться к начальнику полиции.

Джули вырвала бумагу из рук мужа, быстро пробежала её глазами и накинулась на Артура с той грубостью, на какую способна только пришедшая в бешенство благовоспитанная леди.

– Ты опозорил нашу семью! – кричала она. – Теперь вся городская чернь будет глазеть на нас. Вот куда тебя привело твоё благочестие – в тюрьму! Впрочем, чего же было и ждать от сына католички...

– Сударыня, с арестованными на иностранном языке говорить не полагается, – прервал её офицер.

Но его слова потонули в потоке обвинений, которыми сыпала по-английски Джули:

– Этого надо было ожидать! Пост, молитвы, душеспасительные размышления – и вот что за этим скрывалось! Я так и думала.

Доктор Уоррен сравнил как-то Джули с салатом, который повар слишком сдобрил уксусом. От её тонкого, пронзительного голоса у Артура стало кисло во рту, и он сразу вспомнил это сравнение.

– Зачем так говорить! – сказал он. – Вам нечего опасаться неприятностей. Все знают, что вы тут совершенно ни при чём... Я полагаю, – прибавил он, обращаясь к жандармам, – вы хотите осмотреть мои вещи? Мне нечего скрывать.

Пока жандармы обыскивали комнату, выдвигали ящики, читали его письма, просматривали университетские записи, Артур сидел на кровати. Он был несколько взволнован, но тревоги не чувствовал. Обыск его не беспокоил: он всегда сжигал письма, которые могли кого-нибудь скомпрометировать, и теперь, кроме нескольких рукописных стихотворений, полуреволюционных, полумистических, да двух-трех номеров «Молодой Италии», жандармы не нашли ничего, что могло бы вознаградить их за труды.

После долгого сопротивления Джули уступила уговорам своего шурина и пошла спать, проплыв мимо Артура с презрительно-надменным видом. Джеймс покорно последовал за ней.

Когда они вышли, Томас, который всё это время шагал взад и вперёд по комнате, стараясь казаться равнодушным, подошёл к офицеру и попросил у него разрешения переговорить с арестованным. Тот кивнул вместо ответа, и Томас, подойдя к Артуру, пробормотал хриплым голосом:

– Ужасно неприятная история! Я очень огорчён.

Артур взглянул на него глазами, ясными, как солнечное утро.

– Вы всегда были добры ко мне, – сказал он. – Вам нечего беспокоиться. Мне ничто не угрожает.

– Послушай, Артур! – Томас дёрнул себя за ус и решил говорить напрямик. – Эта история имеет какое-нибудь отношение к денежным делам?.. Если так, то я...

– К денежным делам? Нет, конечно. При чём тут...

– Значит, политика? Я так и думал. Ну что же делать... Не падай духом и не обращай внимания на Джули, ты ведь знаешь, какой у неё язык. Так вот, если нужна будет моя помощь – деньги или ещё что-нибудь, – дай мне знать. Хорошо?

Артур молча протянул ему руку, и Томас вышел, стараясь придать своему тупому лицу как можно более равнодушное выражение.

Тем временем жандармы закончили обыск, и офицер предложил Артуру надеть пальто. Артур хотел уже выйти из комнаты и вдруг остановился на пороге: ему было тяжело прощаться с молельной матери в присутствии жандармов.

– Вы не могли бы выйти на минуту? – спросил он. – Убежать я всё равно не могу, а прятать мне нечего.

– К сожалению, арестованных запрещено оставлять одних.

– Хорошо, пусть так.

Он вошёл в альков, преклонил колена и, поцеловав распятие, прошептал:

– Господи, дай мне силы быть верным до конца!

Офицер стоял у стола и рассматривал портрет Монтанелли.

– Это ваш родственник? – спросил он.

– Нет, это мой духовный отец, новый епископ Бризигеллы.

На лестнице его ожидали слуги-итальянцы, встревоженные и опечаленные. Артура, как и его мать, любили в доме, и теперь слуги теснились вокруг него, горестно целовали ему руки и платье. Джиан Баттиста стоял тут же, роняя слезы на седые усы. Никто из Бертонов не пришёл проститься. Их равнодушие ещё более подчёркивало преданность и любовь слуг, и Артур едва не заплакал, пожимая протянутые ему руки:

– Прощай, Джиан Баттиста, поцелуй своих малышей! Прощайте, Тереза! Молитесь за меня, и да хранит вас бог! Прощайте, прощайте...

Он быстро сбежал с лестницы.

Прошла минута, и карета отъехала, провожаемая маленькой группой безмолвных мужчин и рыдающих женщин.

Артур был заключён в огромную средневековую крепость, стоявшую у самой гавани. Тюремная жизнь оказалась довольно сносной. Камера у Артура была сырая, тёмная, но он вырос в старом особняке на Виа-Борра, и, следовательно, духота, смрад и крысы были ему не в диковинку. Кормили в тюрьме скудно и плохо, но Джеймс вскоре добился разрешения посылать брату всё необходимое из дома. Артура держали в одиночной камере, и хотя надзор был не так строг, как он ожидал, всё-таки узнать причину своего ареста ему так и не удалось. Тем не менее его не покидало то душевное спокойствие, с каким он вошёл в крепость. Ему не разрешали читать, и всё время он проводил в молитве и благочестивых размышлениях, терпеливо ожидая дальнейших событий.

Однажды утром часовой отпер дверь камеры и сказал:

– Пожалуйста!

После двух-трех вопросов, на которые был только один ответ: «Разговаривать воспрещается», Артур покорился и пошёл за солдатом по лабиринту пропитанных сыростью дворов, коридоров и лестниц. Наконец его ввели в большую светлую комнату, где за длинным столом, заваленным бумагами, лениво переговариваясь, сидели трое военных. Когда он вошёл, они сейчас же Приняли важный, деловой вид, и старший из них, уже пожилой щеголеватый полковник с седыми бакенбардами, указал ему на стул по другую сторону стола и приступил к предварительному допросу.

Артур ожидал угроз, оскорблений, брани и приготовился отвечать с выдержкой и достоинством. Но ему пришлось приятно разочароваться. Полковник держался чопорно, покажённому сухо, но с безукоризненной вежливостью. Последовали обычные вопросы: имя, возраст, национальность, общественное положение; ответы записывались один за другим.

Артур уже начал чувствовать скуку и нетерпение, как вдруг полковник сказал:

– Ну, а теперь, мистер Бёртон, что вам известно о «Молодой Италии»?

– Мне известно, что это политическое общество, которое издаёт газету в Марселе и распространяет её в Италии с целью подготовить народ к восстанию и изгнать австрийскую армию из пределов страны.

– Вы читали эту газету?

– Да. Я интересовался этим вопросом.

– А когда вы читали её, приходило ли вам в голову, что вы совершаете противозаконный акт?

– Конечно.

– Где вы достали экземпляры, найденные в вашей комнате?

– Этого я не могу вам сказать.

– Мистер Бёртон, здесь нельзя говорить «не могу». Вы обязаны отвечать на все мои вопросы.

– В таком случае – не хочу, поскольку «не могу» вам не нравится.

– Если вы будете говорить со мной таким тоном, вам придётся пожалеть об этом, – заметил полковник.

Не дождавшись ответа, он продолжал:

– Могу ещё прибавить, что, по имеющимся у нас сведениям, ваша связь с этим обществом была гораздо ближе – она заключалась не только в чтении запрещённой литературы. Вам же будет лучше, если вы откровенно признаётесь во всём. Так или иначе, мы узнаем правду, и вы убедитесь, что выгораживать себя и заператься бесполезно.

– У меня нет никакого желания выгораживать себя. Что вы хотите знать?

– Прежде всего скажите, каким образом вы, иностранец, могли впутаться в подобного рода дела?

– Я много думал об этих вопросах, много читал и пришёл к определённым выводам.

– Кто убедил вас присоединиться к этому обществу?

– Никто. Это было моим личным желанием.

– Вы меня дурачите! – резко сказал полковник. Терпение, очевидно, начинало изменять ему. – К политическим обществам не присоединяются без влияния со стороны. Кому вы говорили о том, что хотите стать членом этой организации?

Молчание.

– Будьте любезны ответить.

– На такие вопросы я не стану отвечать.

В голосе Артура слышались угрюмые нотки. Какое-то странное раздражение овладело им. Он уже знал об арестах, произведённых в Ливорно и Пизе, хотя и не представлял себе истинных масштабов разгрома. Но и того, что дошло до него, было достаточно, чтобы вызвать в нём лихорадочную тревогу за участь Джеммы и остальных друзей.

Притворная вежливость офицера, этот словесный турнир, эта скучная игра в коварные вопросы и уклончивые ответы беспокоили и злили его, а тяжёлые шаги часового за дверью действовали ему на нервы.

– Между прочим, когда вы виделись в последний раз с Джиованни Боллой? – вдруг спросил полковник. – Перед вашим отъездом из Пизы?

– Это имя мне не знакомо.

– Как! Джиованни Болла? Вы его прекрасно знаете. Молодой человек высокого роста, бритый. Ведь он ваш товарищ по университету.

– Я знаком далеко не со всеми студентами.

– Боллу вы должны знать. Посмотрите: вот его почерк. Вы видите, он вас прекрасно знает.

И полковник небрежно передал ему бумагу, на которой сверху стояло: «Протокол», а внизу была подпись: «Джиованни Болла». Наскоро пробегая её, Артур наткнулся на своё имя. Он с изумлением поднял глаза.

– Вы хотите, чтобы я прочёл это? – спросил он.

– Да, конечно. Это касается вас.

Артур начал читать, а офицеры молча наблюдали за выражением его лица. Документ состоял из показаний, данных в ответ на целый ряд вопросов. Очевидно, Болла тоже арестован! Первые показания были самые обычные. Затем следовал краткий отчёт о связях Боллы с обществом, о распространении в Ливорно запрещённой литературы и о студенческих собраниях. А дальше Артур прочёл: «В числе примкнувших к нам был один молодой англичанин, по имени Артур Бёртон, из семьи богатых ливорнских судовладельцев».

Кровь хлынула в лицо Артуру. Болла выдал его! Болла, который принял на себя высокую обязанность руководителя, Болла, который завербовал Джемму... и был влюблён в неё! Он положил бумагу на стол и опустил глаза.

– Надеюсь, этот маленький документ освежил вашу память? – вежливо осведомился полковник.

Артур покачал головой.

– Я не знаю этого имени, – сухо повторил он. – Тут, вероятно, какая-то ошибка.

– Ошибка? Вздор! Знаете, мистер Бёртон, рыцарство и донкихотство – прекрасные вещи, но не надо доводить их до крайности. Это ошибка, в которую постоянно впадает молодёжь. Подумайте: стоит ли компрометировать себя и портить свою будущность из-за таких пустяков?

Вы шадите человека, который вас же выдал. Как видите, он не отличался особенной щепетильностью, когда давал показания о вас.

Что-то вроде насмешки послышалось в голосе полковника. Артур вздрогнул; внезапная догадка блеснула у него в голове.

– Это ложь! Вы совершили подлог! Я вижу это по вашему лицу! – крикнул он. – Вы хотите уличить кого-нибудь из арестованных или строите ловушку мне! Обманщик, лгун, подлец...

– Молчать! – закричал полковник, в бешенстве вскакивая со стула.

Его коллеги были уже на ногах.

– Капитан Томмасы, – сказал полковник, обращаясь к одному из них, – вызовите стражу и прикажите посадить этого молодого человека в карцер на несколько дней. Я вижу, он нуждается в хорошем уроке, его нужно образумить.

Карцер был тёмной, мокрой, грязной дырой в подземелье. Вместо того, чтобы «образумить» Артура, он довёл его до последней степени раздражения. Богатый дом, где он вырос, воспитал в нём крайнюю требовательность ко всему, что касалось чистоплотности, и оскорблённый полковник вполне мог бы удовлетвориться первым впечатлением, которое произвели на Артура липкие, покрытые плесенью стены, заваленный кучами мусора и всяких нечистот пол и ужасное зловоние, распространявшееся от сточных труб и прогнившего дерева. Артура втолкнули в эту конуру и захлопнули за ним дверь; он осторожно шагнул вперёд и, вытянув руки, содрогаясь от отвращения, когда пальцы его касались скользких стен, на ощупь отыскал в потёмках место на полу, где было меньше грязи.

Он провёл целый день в непроглядном мраке и в полной тишине; ночь не принесла никаких перемен. Лишённый внешних впечатлений, он постепенно терял представление о времени. И, когда на следующее утро в замке щёлкнул ключ и перепуганные крысы с писком прошмыгнули мимо его ног, он вскочил в ужасе. Сердце его отчаянно билось, в ушах стоял шум, словно он был лишён света и звуков долгие месяцы, а не несколько часов.

Дверь отворилась, пропуская в камеру слабый свет фонаря, показавшийся Артуру ослепительным. Старший надзиратель принёс кусок хлеба и кружку воды. Артур шагнул вперёд. Он был уверен, что его выпустят отсюда. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, надзиратель сунул ему хлеб и воду, повернулся и молча вышел, захлопнув за собой дверь.

Артур топнул ногой. Впервые в жизни он почувствовал ярость. С каждым часом он все больше и больше утрачивал представление о месте и времени. Темнота казалась ему безграничной, без начала и конца. Жизнь как будто остановилась.

На третий день вечером, когда в карцере снова появился надзиратель, теперь уже в сопровождении конвоира, Артур растерянно посмотрел на них, защитив глаза от непривычного света и тщетно стараясь подсчитать, сколько часов, дней или недель он пробыл в этой могиле.

– Пожалуйста, – холодным, деловым тоном произнёс надзиратель.

Артур машинально пошёл за ним неуверенными шагами, спотыкаясь и пошатываясь, как пьяный. Он отстранил руку надзирателя, хотевшего помочь ему подняться по крутой, узкой лестнице, которая вела во двор, но, ступив на верхнюю ступеньку, вдруг почувствовал дурноту, пошатнулся и упал бы навзничь, если бы надзиратель не поддержал его за плечи.

* * *

– Ничего, оправится, – произнёс чей-то весёлый голос. – Это с каждым бывает, кто выходит оттуда на воздух.

Артур с мучительным трудом перевёл дыхание, когда ему брызнули водой в лицо. Темнота,

казалось, отвалилась от него, – с шумом распадаясь на куски.

Он сразу очнулся и, оттолкнув руку надзирателя, почти твёрдым шагом прошёл коридор и лестницу. Они остановились перед дверью; когда дверь отворилась, Артур вошёл в освещённую комнату, где его допрашивали в первый раз. Не сразу узнав её, он недоумевающим взглядом окинул стол, заваленный бумагами, и офицеров, сидящих на прежних местах.

– А, мистер Бёртон! – сказал полковник. – Надеюсь, теперь мы будем сговорчивее. Ну, как вам понравился карцер? Не правда ли, он не так роскошен, как гостиная вашего брата?

Артур поднял глаза на улыбающееся лицо полковника. Им овладело безумное желание броситься на этого щёголя с седыми бакенбардами и вгрызться ему в горло. Очевидно, это отразилось на его лице, потому что полковник сейчас же прибавил уже совершенно другим тоном:

– Сядьте, мистер Бёртон, и выпейте воды, – я вижу, вы взволнованы.

Артур оттолкнул предложенный ему стакан и, облокотившись о стол, положил руку на лоб, силясь собраться с мыслями. Полковник внимательно наблюдал за ним, подмечая опытным глазом и дрожь в руках, и трясущиеся губы, и взмокшие волосы, и тусклый взгляд – всё, что говорило о физической слабости и нервном переутомлении.

– Мистер Бёртон, – снова начал полковник после нескольких минут молчания, – мы вернёмся к тому, на чём остановились в прошлый раз. Тогда у нас с вами произошла маленькая неприятность, но теперь – я сразу же должен сказать вам это – у меня единственное желание: быть снисходительным. Если вы будете вести себя должным образом, с вами обойдутся без излишней строгости.

– Чего вы хотите от меня?

Артур произнёс это совсем несвойственным ему резким, мрачным тоном.

– Мне нужно только, чтобы вы сказали откровенно и честно, что вам известно об этом обществе и его членах. Прежде всего, как давно вы знакомы с Боллой?

– Я его никогда не встречал. Мне о нём ровно ничего не известно.

– Неужели? Хорошо, мы скоро вернёмся к этому. Может быть, вы знаете молодого человека, по имени Карло Бини?

– Никогда не слыхал о таком.

– Это уже совсем странно. Ну, а что вы можете сказать о Франческо Нери?

– Впервые слышу это имя.

– Но ведь вот письмо, адресованное ему и написанное вашей рукой! Взгляните.

Артур бросил небрежный взгляд на письмо и отложил его в сторону.

– Оно вам знакомо?

– Нет.

– Вы отрицаете, что это ваш почерк?

– Я ничего не отрицаю. Я не помню такого письма.

– Может быть, вы вспомните вот это?

Ему передали второе письмо. Он узнал в нём то, которое писал осенью одному товарищу студенту.

– Нет.

– И не знаете лица, которому оно адресовано?

– Не знаю.

– У вас удивительно короткая память.

– Это мой давнишний недостаток.

– Вот как! А я слышал от одного из университетских профессоров, что вас отнюдь не считают неспособным. Скорее, наоборот.

– Вы судите о способностях, вероятно, с полицейской точки зрения. Профессора университета употребляют это слово в несколько ином смысле.

Нотка нарастающего раздражения явственно слышалась в ответах Артура. Голод, спёртый воздух и бессонные ночи подорвали его силы. У него ныла каждая косточка, а голос полковника действовал ему на нервы, точно царапанье грифеля по доске.

– Мистер Бёртон, – строго сказал полковник, откинувшись на спинку стула, – вы опять забываетесь. Я предостерегаю вас ещё раз, что подобный тон не доведёт до добра. Вы уже познакомились с карцером и вряд ли вам захочется попасть в него вторично. Скажу вам прямо: если мягкость на вас не подействует, я применю к вам строгие меры. Помните, у меня есть доказательства – веские доказательства, – что некоторые из названных мною молодых людей занимались тайной доставкой запрещённой литературы через здешний порт и что вы были в сношениях с ними. Так вот, намерены ли вы сказать добровольно, что вы знаете обо всём этом?

Артур ещё ниже опустил голову. Слепая ярость шевелилась в нём, точно живое существо. И мысль, что он может потерять самообладание, испугала его больше, чем угрозы. Он в первый раз ясно осознал, что джентльменская сдержанность и христианское смирение могут изменить ему, и испугался самого себя.

– Я жду ответа, – сказал полковник.

– Мне нечего вам отвечать.

– Так вы решительно отказываетесь говорить?

– Я ничего не скажу.

– В таком случае, придётся распорядиться, чтобы вас вернули в карцер и держали там до тех пор, пока ваше решение не переменится. Если вы не образумитесь и в дальнейшем, я прикажу надеть на вас кандалы.

Артур поднял голову. По телу его пробежала дрожь.

– Вы можете делать всё, что вам угодно, – сказал он тихо. – Но допустит ли английский посол, чтобы так обращались с британским подданным без всяких доказательств его виновности?

Наконец Артура увели в прежнюю камеру, где он повалился на койку и проспал до следующего утра. Кандалов на него не надели и в страшный карцер не перевели, но вражда между ним и полковником росла с каждым допросом.

Напрасно Артур молил бога о том, чтобы он даровал ему силы побороть в себе злобу, напрасно размышлял он целые ночи о терпении, кротости Христа. Как только его приводили в длинную, почти пустую комнату, где стоял все тот же стол, покрытый зелёным сукном, как только он видел перед собой нафабранные усы полковника, ненависть снова овладевала им, толкала его на злые, презрительные ответы. Ещё не прошло и месяца, как он сидел в тюрьме, а их обоюдное раздражение достигло такой степени, что они не могли взглянуть друг на друга без гнева.

Постоянное напряжение этой борьбы начинало заметно сказываться на нервах Артура. Зная, как зорко за ним наблюдают, и вспоминая страшные рассказы о том, что арестованных опаивают незаметно для них белладонной, чтобы подслушать их бред, он почти перестал есть и спать. Когда ночью мимо его пробежала крыса, он вскакивал в холодном поту, дрожа от ужаса при мысли, что кто-то прячется в камере и подслушивает, не говорит ли он во сне.

Жандармы явно старались поймать его на слове и уличить Боллу. И страх попасть нечаянно в ловушку был настолько велик, что Артур действительно мог совершить серьёзный промах. Денно и ночью имя Боллы звучало у него в ушах, не сходило с языка и во время молитвы; он шептал его вместо имени «Мария», перебирая чётки. Но хуже всего было то, что религиозность с каждым днём как бы уходила от него вместе со всем внешним миром. С лихорадочным

упорством Артур цеплялся за эту последнюю поддержку, проводя долгие часы в молитвах и покаянных размышлениях. Но мысли его все чаще и чаще возвращались к Болле, и слова молитв он повторял машинально.

Огромным утешением для Артура был старший тюремный надзиратель. Этот толстенный лысый старичок сначала изо всех сил старался напустить на себя строгость. Но добродушие, сквозившее в каждой морщинке его пухлого лица, одержало верх над чувством долга, и скоро он стал передавать записки из одной камеры в другую.

Как-то днём в середине мая надзиратель вошёл к нему с такой мрачной, унылой физиономией, что Артур с удивлением посмотрел на него.

– В чём дело, Энрико? – воскликнул он. – Что с вами сегодня случилось?

– Ничего! – грубо ответил Энрико и, подойдя к койке, рванул с неё плед Артура.

– Зачем вы берёте мой плед? Разве меня переводят в другую камеру?

– Нет, вас выпускают.

– Выпускают? Сегодня? Совсем выпускают? Энрико!

Артур в волнении схватил старика за руку, но тот сердито вырвал её.

– Энрико, что с вами? Почему вы не отвечаете? Скажите, нас всех выпускают?

В ответ послышалось только презрительное фырканье.

– Полно! – Артур с улыбкой снова взял надзирателя за руку. – Не злитесь на меня, я всё равно не обижусь. Скажите лучше, как с остальными?

– С какими это остальными? – буркнул Энрико, вдруг бросая рубашку Артура, которую он складывал. – Уж не с Боллой ли?

– С Боллой, разумеется, и со всеми другими. Энрико, да что с вами?

– Вряд ли беднягу скоро выпустят, если его предал свой же товарищ! – И негодующий Энрико снова взялся за рубашку.

– Предал товарищ? Какой ужас! – Артур широко открыл глаза.

Энрико быстро повернулся к нему:

– А разве не вы это сделали?

– Я? Вы в своём уме, Энрико? Я?

– По крайней мере так ему сказали на допросе. Мне очень приятно знать, что предатель не вы. Вас я всегда считал порядочным молодым человеком. Идёмте!

Энрико вышел в коридор, Артур последовал за ним. И вдруг его словно озарило:

– Болле сказали, что его выдал я! Ну конечно! А мне, Энрико, говорили, что меня выдал Болла. Но Болла ведь не так глуп, чтобы поверить этому вздору.

– Так это действительно неправда? – Энрико остановился около лестницы и окинул Артура испытующим взглядом.

Артур только пожал плечами:

– Конечно, ложь!

– Вот как! Рад это слышать, сынок, обязательно передам Болле ваши слова. Но, знаете, ему сказали, что вы донесли на него... ну, словом, из ревности. Будто вы оба полюбили одну девушку.

– Это ложь! – произнёс Артур быстрым, прерывистым шёпотом. Им овладел внезапный, парализующий все силы страх. «Полюбили одну девушку!.. Ревность!» Как они узнали это? Как они узнали?

– Подождите минутку, сынок! – Энрико остановился в коридоре перед комнатой следователя и прошептал: – Я верю вам. Но скажите мне вот ещё что. Я знаю, вы католик. Не говорили ли вы чего-нибудь на исповеди?

– Это ложь! – чуть не задохнувшись, крикнул Артур в третий раз.

Энрико пожал плечами и пошёл вперёд.

– Конечно, вам лучше знать. Но не вы первый попадаетесь на эту удочку. Сейчас в Пизе подняли большой шум из-за какого-то священника, которого изобличили ваши друзья. Они опубликовали листовку с предупреждением, что это провокатор.

Он отворил дверь в комнату следователя и, видя, что Артур замер на месте, устремив прямо перед собой неподвижный взгляд, легонько подтолкнул его вперёд.

– Добрый день, мистер Бёртон, – сказал полковник, показывая в любезной улыбке все зубы. – Мне приятно поздравить вас. Из Флоренции прибыл приказ о вашем освобождении. Будьте добры подписать эту бумагу.

Артур подошёл к нему.

– Я хочу знать, – сказал он глухим голосом, – кто меня выдал.

Полковник с улыбкой поднял брови:

– Не догадываетесь? Подумайте немного.

Артур покачал головой. Полковник воздел руки, выражая этим своё изумление:

– Неужели не догадываетесь? Да вы же, вы сами, мистер Бёртон! Кто же ещё мог знать о ваших любовных делах?

Артур молча отвернулся. На стене висело большое деревянное распятие, и глаза юноши медленно поднялись к лицу Христа, но в них была не мольба, а только удивление перед этим покладистым и нерадивым богом, который не поразил громом священника, нарушившего тайну исповеди.

– Будьте добры расписаться в получении ваших документов, – любезно сказал полковник, – и я не буду задерживать вас. Вам, разумеется, хочется скорее добраться до дома, а я тоже очень занят – все воюсь с делом этого сумасброда Боллы, который подверг вашу христианскую кротость такому жестокому испытанию. Его, вероятно, ждёт суровый приговор... Всего хорошего!

Артур расписался, взял свои бумаги и вышел, не проронив ни слова. До высоких тюремных ворот он шёл следом за Энрико, а потом, даже не попрощавшись в нем, один спустился к каналу, где его ждал перевозчик. В ту минуту, когда он поднимался по каменным ступенькам на улицу, навстречу ему бросилась девушка в лёгком платье и соломенной шляпе:

– Артур! Я так счастлива, так счастлива!

Артур, весь дрожа, спрятал руки за спину.

– Джим! – проговорил он наконец не своим голосом. – Джим!

– Я ждала здесь целых полчаса. Сказали, что вас выпустят в четыре. Артур, отчего вы так смотрите на меня? Что-нибудь случилось? Что с вами? Подождите!

Он отвернулся и медленно пошёл по улице, как бы забыв о Джемме. Испуганная этим, она догнала его и схватила за локоть:

– Артур!

Он остановился и растерянно взглянул на неё. Джемма взяла его под руку, и они пошли рядом, не говоря ни слова.

– Слушайте, дорогой, – начала она мягко, – стоит ли так расстраиваться из-за этого глупого недоразумения? Я знаю, вам пришлось нелегко, но все понимают...

– Из-за какого недоразумения? – спросил он тем же глухим голосом.

– Я говорю о письме Боллы.

При этом имени лицо Артура болезненно исказилось.

– Вы о нём ничего не знали? – продолжала она. – Но ведь вам, наверно, сказали об этом. Болла, должно быть, совсем сумасшедший, если он мог вообразить такую нелепость.

– Какую нелепость?

– Так вы ничего не знаете? Он написал, что вы рассказали о пароходах и подвели его под арест. Какая нелепость! Это ясно каждому. Поверили только те, кто совершенно вас не знает. Потому-то я и пришла сюда: мне хотелось сказать вам, что в нашей группе не верят ни одному слову в этом письме.

– Джемма! Но это... это правда!

Она медленно отступила от него, широко раскрыв потемневшие от ужаса глаза. Лицо её стало таким же белым, как шарф на шее. Ледяная волна молчания встала перед ними, словно стеной отгородив их от шума и движения улицы.

– Да, – прошептал он наконец. – Пароходы... я говорил о них и называл имя Боллы. Боже мой! Боже мой! Что мне делать?

И вдруг он пришёл в себя и осознал, кто стоит перед ним, в смертельном ужасе глядя на него. Она, наверно, думает...

– Джемма, вы меня не поняли! – крикнул Артур, шагнув к ней.

Она отшатнулась от него, пронзительно крикнув:

– Не прикасайтесь ко мне!

Артур с неожиданной силой схватил её за руку:

– Выслушайте, ради бога!.. Я не виноват... я...

– Оставьте меня! Оставьте!

Она вырвала свои пальцы из его рук и ударила его по щеке. Глаза Артура застлал туман. Одно мгновение он ничего не видел перед собой, кроме бледного, полного отчаянья лица Джеммы и её руки, которую она вытирала о платье. Затем туман рассеялся... Он осмотрелся и увидел, что стоит один.

Давно уже стемнело, когда Артур позвонил у двери особняка на Виа-Бора. Он помнил, что скитался по городу, но где, почему, сколько времени это продолжалось? Лакей Джули, зевая, открыл ему дверь и многозначительно ухмыльнулся при виде его осунувшегося, словно окаменевшего лица. Лакею показалось очень забавным, что молодой хозяин возвращается из тюрьмы, точно пьяный, беспутный бродяга. Артур поднялся по лестнице. В первом этаже он столкнулся с Гиббонсом, который шёл ему навстречу с видом надменным и неодобрительным. Артур пробормотал: «Добрый вечер», и хотел проскользнуть мимо. Но трудно было миновать Гиббонса, когда Гиббонс этого не хотел.

– Господ нет дома, сэр, – сказал он, окидывая критическим оком грязное платье и растрёпанные волосы Артура. – Они ушли в гости и раньше двенадцати не возвратятся.

Артур посмотрел на часы. Было только девять! Да! Времени у него достаточно, больше чем достаточно...

– Миссис Бёртон приказала спросить, не хотите ли вы ужинать, сэр. Она надеется увидеть вас, прежде чем вы ляжете спать, так как ей нужно сегодня же переговорить с вами.

– Благодарю вас, ужинать я не хочу. Передайте миссис Бёртон, что я не буду ложиться.

Он вошёл в свою комнату. В ней ничего не изменилось со дня его ареста. Портрет Монтанелли по-прежнему лежал на столе, распятие стояло в алькове. Артур на мгновение остановился на пороге, прислушиваясь. В доме тихо, никто не сможет помешать ему. Он осторожно вошёл в комнату и запер за собой дверь.

Итак, всему конец. Не о чём больше раздумывать, не из-за чего волноваться. Отделаться от ненужных, назойливых мыслей – и все. Но как это глупо, бессмысленно!

Ему не надо было решать – лишить себя жизни или нет; он даже не особенно думал об этом: такой конец казался бесспорным и неизбежным. Он ещё не знал, какую смерть избрать себе. Всё сводилось к тому, чтобы сделать это быстро – и забыться. Под руками у него не было никакого оружия, даже перочинного ножа не оказалось. Но это не имело значения: достаточно полотенца или простыни, разорванной на куски.

Он увидел над окном большой гвоздь. Вот и хорошо. Но выдержит ли гвоздь тяжесть его тела? Он подставил к окну стул. Нет! Гвоздь ненадёжный. Он слез со стула, достал из ящика молоток, ударил им несколько раз по гвоздю и хотел уже сдёрнуть с постели простыню, как вдруг вспомнил, что не прочёл молитвы. Ведь нужно помолиться перед смертью, так поступает каждый христианин. На отход души есть даже специальные молитвы.

Он вошёл в альков и опустился на колени перед распятием.

– Отче всемогущий и милостивый... – громко произнёс он и остановился, не прибавив больше ни слова. Мир стал таким тусклым, что он не знал, за что молиться, от чего оберегать себя молитвами. Да разве Христу ведомы такие страдания? Ведь его только предали, как Боллу, а ловушек ему никто не расставлял, и сам он не был предателем!

Артур поднялся, перекрестившись по старой привычке. Потом подошёл к столу и увидел письмо Монтанелли, написанное карандашом:

Дорогой мой мальчик! Я в отчаянии, что не могу повидаться с тобой в день твоего освобождения. Меня позвали к умирающему. Вернусь поздно ночью. Приходи ко мне завтра пораньше. Очень спешу.

Артур со вздохом положил письмо. Padre будет тяжело перенести это.

А как смеялись и болтали люди на улицах!.. Ничто не изменилось с того дня, когда он был полон жизни. Ни одна из повседневных мелочей не стала иной оттого, что человеческая душа, живая человеческая душа, искалечена насмерть. Всё это было и раньше. Струилась вода фонтанов, чирикали воробьи под навесами крыш; так они чирикали вчера, так они будут чирикать завтра. А он... он мёртв.

Артур опустил на край кровати, скрестил руки на её спинке и положил на них голову. Времени ещё много – а у него так болит голова, болит самый мозг... и все это так глупо, так бессмысленно...

У наружной двери резко прозвенел звонок. Артур вскочил, задыхаясь от ужаса, и поднёс руки к горлу. Они вернулись, а он сидит тут и дремлет! Драгоценное время упущено, и теперь ему придётся увидеть их лица, услышать жестокие, издевательские слова. Если бы под руками был нож!

Он с отчаянием оглядел комнату. В шифоньерке стояла рабочая корзинка его матери. Там должны быть ножницы. Он вскрыет вену. Нет, простыня и гвоздь вернее... только бы хватило времени.

Он сдёргнул с постели простыню и с лихорадочной быстротой начал отрывать от неё полосу. На лестнице раздались шаги. Нет, полоса слишком широка: не затянется – ведь нужно сделать петлю. Он спешил – шаги приближались. Кровь стучала у него в висках, гулко била в уши. Скорей, скорей! О боже, только бы пять минут!

В дверь постучали. Обрывок простыни выпал у него из рук, и он замер, затаил дыхание, прислушиваясь. Кто-то тронул снаружи ручку двери; послышался голос Джули:

– Артур!

Он встал, тяжело дыша.

– Артур, открой дверь, мы ждём.

Он схватил разорванную простыню, сунул её в ящик комода и торопливо оправил постель.

– Артур. – Это был голос Джеймса, Он с нетерпением дёргал ручку. – Ты спишь?

Артур бросил взгляд по сторонам, убедился, что всё в порядке, и отпер дверь.

– Мне кажется, Артур, ты мог бы исполнить мою просьбу и дождаться нашего прихода! – сказала взбешённая Джули, влетая в комнату. – По-твоему, так и следует, чтобы мы полчаса стояли за дверью?

– Четыре минуты, моя дорогая, – кротко поправил жену Джеймс, входя следом за её розовым атласным шлейфом. – Я полагаю, Артур, что было бы куда приличнее...

– Что вам нужно? – прервал его юноша.

Он стоял, держась за дверную ручку, и, словно затравленный зверь, переводил взгляд с брата на Джули. Но Джеймс был слишком туп, а Джули слишком разгневана, чтобы заметить этот взгляд.

Мистер Бёртон подставил жене стул и сел сам, аккуратно подтянув на коленях новые брюки.

– Мы с Джули, – начал он, – считаем своим долгом серьёзно поговорить с тобой...

– Сейчас я не могу выслушать вас. Мне... мне нехорошо. У меня болит голова... Вам придётся подождать.

Артур выговорил это странным, глухим голосом, то и дело запинаясь.

Джеймс с удивлением взглянул на него.

– Что с тобой? – спросил он тревожно, вспомнив, что Артур пришёл из очага заразы. – Надеюсь, ты не болен? По-моему, у тебя лихорадка.

– Пустяки! – резко оборвала его Джули. – Обычное комедиантство. Просто ему стыдно

смотреть нам в глаза... Поди сюда, Артур, и сядь.

Артур медленно прошёл по комнате и опустился на край кровати.

– Ну? – произнёс он устало.

Мистер Бёртон откашлялся, пригладил и без того гладкую бороду и начал заранее подготовленную речь:

– Я считаю своим долгом... своим тяжким долгом поговорить с тобой о твоём весьма странном поведении и о твоих связях с... нарушителями закона, с бунтовщиками, с людьми сомнительной репутации. Я убеждён, что тобой руководило скорее легкомыслие, чем испорченность...

Он остановился.

– Ну? – снова сказал Артур.

– Так вот, я не хочу быть чрезмерно строгим, – продолжал Джеймс, невольно смягчаясь при виде той усталой безнадёжности, которая была во взгляде Артура. – Я готов допустить, что тебя совратили дурные товарищи, и охотно принимаю во внимание твою молодость, неопытность, легкомыслие и... впечатлительность, которую, боюсь, ты унаследовал от матери.

Артур медленно перевёл глаза на портрет матери, но продолжал молчать.

– Ты, конечно, поймёшь, – опять начал Джеймс, – что я не могу держать в своём доме человека, который обесчестил наше имя, пользовавшееся таким уважением.

– Ну? – повторил ещё раз Артур.

– Как! – крикнула Джули, с треском складывая свой веер и бросая его на колени. – Тебе нечего больше сказать, кроме этого «ну»?!

– Вы поступите так, как сочтёте нужным, – медленно ответил Артур. – Мне всё равно.

– Тебе все равно? – повторил Джеймс, поражённый этим ответом, а его жена со смехом поднялась со стула.

– Так тебе все равно!.. Ну, Джеймс, я надеюсь, теперь ты понимаешь, что благодарности нам ждать не приходится. Я предчувствовала, к чему приведёт снисходительность к католическим авантюристам и к их...

– Тише, тише! Не надо об этом, милая.

– Глупости, Джеймс! Мы слишком долго сентиментальничали! И с кем – с каким-то незаконнорождённым ребёнком, втершимся в нашу семью! Пусть знает, кто была его мать! Почему мы должны заботиться о сыне католического попа? Вот – читай!

Она вынула из кармана помятый листок бумаги и швырнула его через стол Артуру. Он развернул листок и узнал почерк матери. Как показывала дата, письмо было написано за четыре месяца до его рождения. Это было признание, обращённое к мужу. Внизу стояли две подписи.

Артур медленно переводил глаза со строки на строку, пока не дошёл до конца страницы, где после нетвёрдых букв, написанных рукой его матери, стояла знакомая уверенная подпись: «Лоренцо Монтанелли». Несколько минут он смотрел на неё. Потом, не сказав ни слова, свернул листок и положил его на стол.

Джеймс поднялся и взял жену за руку:

– Ну, Джули, довольно, иди вниз. Уже поздно, а мне нужно переговорить с Артуром о делах, для тебя неинтересных.

Джули взглянула на мужа, потом на Артура, который молчал, опустив глаза.

– Он точно потерял рассудок, – пробормотала она.

Когда Джули, подобрав шлейф, вышла из комнаты, Джеймс затворил за ней дверь и вернулся к столу.

Артур сидел, как и раньше, не двигаясь и не говоря ни слова.

– Артур, – начал Джеймс более мягко, так как Джули уже не могла слышать его, – очень

жаль, что всё так вышло. Ты мог бы и не знать этого. Но ничего не поделаешь. Мне приятно видеть, что ты держишься с таким самообладанием. Джули немного разволновалась... Женщины вообще... Но, оставим это, Я не хочу быть чрезмерно строгим...

Он замолчал, проверяя, какое впечатление произвела на Артура его мягкость, но Артур оставался по-прежнему неподвижным.

– Конечно, дорогой мой, это весьма печальная история, – продолжал Джеймс после паузы, – и самое лучшее не говорить о ней. Мой отец был настолько великодушен, что не развёлся с твоей матерью, когда она призналась ему в своём падении. Он только потребовал, чтобы человек, совративший её, сейчас же оставил Италию. Как ты знаешь, он отправился миссионером^[25] в Китай. Лично я был против того, чтобы ты встречался с ним, когда он вернулся. Но мой отец разрешил ему заниматься с тобой, поставив единственным условием, чтобы он не пытался видеться с твоей матерью. Надо отдать им должное – они до конца оставались верны этому условию. Все это очень прискорбно, но...

Артур поднял голову. Его лицо было безжизненно, это была восковая маска.

– Не кажется ли в-вам, – проговорил он тихо и почему-то заикаясь, – что все это у-ди-вительно забавно?

– Забавно? – Джеймс вместе со стулом отодвинулся от стола и, даже забыв рассердиться, о изумлённым видом посмотрел на Артура. – Забавно? Артур! Ты сошёл с ума!

Артур вдруг запрокинул голову и разразился неистовым хохотом.

– Артур! – воскликнул судовладелец, с достоинством поднимаясь со стула. – Твоё легкомыслие меня изумляет.

Вместо ответа послышался новый взрыв хохота, настолько безудержного, что Джеймс начал сомневаться, не было ли тут чего-нибудь большего, чем простое легкомыслие.

– Точно истеричная девица, – пробормотал он и, презрительно передёрнув плечами, нетерпеливо зашагал назад и вперёд по комнате. – Право, Артур, ты хуже Джули. Перестань смеяться! Не могу же я сидеть здесь целую ночь!

С таким же успехом он мог бы обратиться к распятию и попросить его сойти с пьедестала. Артур был глух к увещаниям. Он смеялся, смеялся, смеялся без конца.

– Это дико, – проговорил Джеймс, остановившись. – Ты, очевидно, слишком взволнован и не можешь рассуждать здраво. В таком случае, я не стану говорить с тобой о делах. Зайди ко мне утром после завтрака. А сейчас ложись лучше спать. Спокойной ночи!

Джеймс вышел, хлопнув дверью.

– Теперь предстоит сцена внизу, – бормотал он, спускаясь по лестнице. – И, полагаю, с истерикой.

* * *

Безумный смех замер на губах Артура. Он схватил со стола молоток и кинулся к распятию. После первого же удара он пришёл в себя. Перед ним стоял пустой пьедестал, молоток был ещё у него в руках. Обломки разбитого распятия валялись на полу. Артур швырнул молоток в сторону.

– Только и всего! – сказал он и отвернулся. – Какой я идиот!

Задышавшись, он опустился на стул и сжал руками виски. Потом встал, подошёл к умывальнику и вылил себе на голову кувшин холодной воды. Немного успокоившись, он вернулся на прежнее место и задумался.

Из-за этих-то лживых, рабских душонок, из-за этих немых и бездушных богов он вытерпел

все муки стыда, гнева и отчаяния! Приготовил петлю, думал повеситься, потому что один служитель церкви оказался лжецом. Как будто не все они лгут! Довольно, с этим покончено! Теперь он станет умнее. Нужно только стряхнуть с себя эту грязь и начать новую жизнь. В доках немало торговых судов; разве трудно спрятаться на одном из них и уехать куда глаза глядят – в Канаду, в Австралию, в Южную Африку! Неважно, куда ехать, лишь бы подальше отсюда. Не понравится в одном месте – можно будет перебраться в другое.

Он вынул кошелек. Только тридцать три паоло ^[26]. Но у него есть ещё дорогие часы. Их можно будет продать. И вообще это неважно: лишь бы продержаться первое время. Но эти люди начнут искать его, станут расспрашивать о нём в доках. Нет, надо навести их на ложный след. Пусть думают, что он умер. И тогда он свободен, совершенно свободен. Артур тихо засмеялся, представив себе, как Бертоны будут разыскивать его тело. Какая комедия!

Он взял листок бумаги и написал первое, что пришло в голову:

Я верил в вас, как в бога. Но бог – это глиняный идол, которого можно разбить молотком, а вы лгали мне всю жизнь.

Он сложил листок, адресовал его Монтанелли и, взяв другой, написал:

Ищите моё тело в Дарсене.

Потом надел шляпу и вышел из комнаты. Проходя мимо портрета матери, он посмотрел на него, усмехнулся и пожал плечами. Она ведь тоже лгала ему!

Он неслышно прошёл по коридору, отодвинул засов у двери и очутился на широкой мраморной лестнице, отзывающейся эхом на каждый шорох. Она зияла у него под ногами, словно чёрная яма.

Он перешёл двор, стараясь ступать как можно тише, чтобы не разбудить Джиана Баттисту, который спал в нижнем этаже. В деревянном сарае, стоявшем в конце двора, было решётчатое окошко. Оно смотрело на канал и приходилось над землёй на уровне примерно четырех футов. Артур вспомнил, что ржавая решётка с одной стороны поломана. Лёгким ударом можно будет расширить отверстие настолько, чтобы пролезть в него.

Однако решётка оказалась прочной. Он исцарапал себе руки и порвал рукав. Но это пустяки. Он оглядел улицу – на ней никого не было. Чёрный безмолвный канал уродливой щелью тянулся между отвесными скользкими стенами. Беспросветной ямой мог оказаться неведомый мир, но вряд ли в нём будет столько пошлости и грязи, сколько остаётся позади. Не о чём пожалеть, не на что оглянуться. Жалкий мирок, полный низкой лжи и грубого обмана, – стоячее болото, такое мелкое, что в нём нельзя даже утонуть.

Артур вышел на набережную, потом свернул на маленькую площадь у дворца Медичи ^[27]. Здесь Джемма подбежала к нему, с такой живостью протянув ему руки. Вот мокрые каменные ступеньки, что ведут к воде. А вот и крепость хмурится по ту сторону грязного канала. Он и не подозревал до сих пор, что она такая приземистая, нескладная.

По узким улицам он добрался до Дарсены, снял шляпу и бросил её в воду. Шляпу, конечно, найдут, когда будут искать труп. Он шёл по берегу, с трудом соображая, что же делать дальше. Нужно пробраться на какое-нибудь судно. Сделать это нелегко. Единственное, что можно придумать, – это выйти к громадному старому молу Медичи. В дальнем конце его есть захудалая таверна. Может быть, посчастливится встретить там какого-нибудь матроса и подкупить его.

Ворота дока были заперты. Как же быть, как миновать таможенных чиновников? С такими деньгами нечего и думать дать взятку за пропуск ночью, да ещё без паспорта. К тому же его

могут узнать.

Когда он проходил мимо бронзового памятника Четырех Мавров ^[28], из старого дома на противоположной стороне вышел какой-то человек. Он приближался к мосту. Артур скользнул в густую тень памятника и, прижавшись к нему в темноте, осторожно выглянул из-за пьедестала.

Была весенняя ночь, тёплая и звёздная. Вода плескалась о каменный мол и с тихим, похожим на смех журчанием подбегала к ступенькам. Где-то вблизи, медленно качаясь, скрипела цепь. Громадный подъёмный кран уныло торчал в темноте. Под блещущим звёздами небом, подёрнутым кое-где жемчужными облаками, чернели силуэты четырех закованных рабов, тщетно взывающих к жестокой судьбе.

Человек брёл по берегу нетвёрдыми шагами, распевая во всё горло уличную английскую песню. Это был, очевидно, матрос, возвращавшийся из таверны после попойки. Кругом никого не было. Когда он подошёл поближе, Артур вышел на середину дороги. Матрос, выругавшись, оборвал свою песню и остановился.

– Мне нужно с вами поговорить, – сказал Артур по-итальянски. – Вы понимаете меня?

Матрос покачал головой.

– Ни слова не разбираю из вашей тарабарщины. – И затем, перейдя вдруг на ломаный французский, сердито спросил: – Что вам от меня нужно? Что вы стали поперёк дороги?

– Отойдёте на минутку в сторону. Мне нужно с вами поговорить.

– Ещё чего! Отойти в сторону! При вас нож?

– Нет, нет, что вы! Разве вы не видите, что мне нужна ваша помощь? Я вам заплачу.

– Ишь ты, а разodelся-то каким франтом! – проворчал матрос по-английски и, отойдя в тень, прислонился к ограде памятника. – Ну? – заговорил он опять на своём ужасном французском языке. – Что же вам нужно?

– Мне нужно уехать отсюда.

– Вот оно что! Зайцем! Хотите, чтобы я вас спрятал? Натворили каких-нибудь дел? Зарезали кого-нибудь? Иностранцы все такие. Куда же вы собираетесь бежать? Уж, верно, не в полицейский участок?

Он засмеялся пьяным смехом и подмигнул Артуру.

– С какого вы судна?

– С «Карлотты». Ходит из Ливорно в Буэнос-Айрес. В одну сторону перевозит масло, в другую – кожи. Вон она! – И матрос ткнул пальцем в сторону мола. – Отвратительная старая посудина.

– Буэнос-Айрес! Спрячьте меня где-нибудь на вашем судне.

– А сколько дадите?

– Не очень много. У меня всего несколько паоло.

– Нет. Меньше пятидесяти не возьму. И то дёшево для такого франта, как вы.

– Какой там франт! Если вам приглянулось моё платье, можете поменяться со мной. Не могу же я вам дать больше того, что у меня есть.

– А вы, наверно, при часах? Давайте-ка их сюда.

Артур вынул дамские золотые часы с эмалью тонкой работы и с инициалами «Г.Б.» на задней крышке. Это были часы его матери. Но какое это имело значение теперь?

– А! – воскликнул матрос, быстро оглядывая их. – Краденые, конечно? Дайте посмотреть!

Артур отдёрнул руку.

– Нет, – сказал он. – Я отдам вам эти часы, когда мы будем на судне, не раньше.

– Оказывается, вы не дурак! И всё-таки держу пари – первый раз попали в беду. Ведь верно?

– Это моё дело. Смотрите: сторож!

Они присели за памятником и переждали, пока сторож пройдёт. Потом матрос поднялся,

велел Артуру следовать за собой и пошёл вперёд, глупо посмеиваясь. Артур молча шагал сзади.

Матрос вывел его снова на маленькую, неправильной формы площадь у дворца Медичи, остановился в тёмном углу и пробубнил, полагая, очевидно, что это и есть осторожный шёпот.

– Подождите тут, а то вас солдаты увидят.

– Что вы хотите делать?

– Раздобуду кое-какое платье. Не брать же вас на борт с окровавленным рукавом.

Артур взглянул на свой рукав, разорванный о решётку окна. В него впиталась кровь с поцарапанной руки. Очевидно, этот человек считает его убийцей. Ну что ж! Не так уж теперь важно, что о нём думают!

Матрос вскоре вернулся. Вид у него был торжествующий, он нёс под мышкой узел.

– Переоденьтесь, – прошептал он, – только поскорее. Мне надо возвращаться на корабль, а старьёвщик торговался, задержал меня на полчаса.

Артур стал переодеваться, с дрожью отвращения касаясь поношенного платья. По счастью, оно оказалось более или менее чистым. Когда он вышел на свет, матрос посмотрел на него и с пьяной важностью кивнул головой в знак одобрения.

– Сойдёт, – сказал он. – Пошли! Только тише!

Захватив скинутое платье, Артур пошёл следом за матросом через лабиринт извилистых каналов и тёмных, узких переулков тех средневековых трущоб, которые жители Ливорно называют «Новой Венецией». Среди убогих лачуг и грязных дворов кое-где одиноко высились мрачные старые дворцы, тщетно пытавшиеся сохранить свою древнюю величавость. В некоторых переулках были притоны воров, убийц и контрабандистов; в других ютилась беднота.

Матрос остановился у маленького мостика и, осмотревшись по сторонам, спустился по каменным ступенькам к узкой пристани. Под мостом покачивалась старая, грязная лодка. Он грубо приказал Артуру прыгнуть в неё и лечь на дно, а сам сел на вёсла и начал грести к выходу в гавань. Артур лежал, не шевелясь, на мокрых, скользких досках, под одеждой, которую набросил на него матрос, и украдкой смотрел на знакомые дома и улицы.

Лодка прошла под мостом и очутилась в той части канала, над которой стояла крепость. Массивные стены, широкие в основании и переходящие вверху в узкие, мрачные башни, вздымались над водой. Какими могучими, какими грозными казались они ему несколько часов назад! А теперь... Он тихо засмеялся, лёжа на дне лодки.

– Молчите, – буркнул матрос, – не поднимайтесь. Мы у таможни.

Артур укрылся с головой. Лодка остановилась перед скованными цепью мачтами, которые лежали поперёк канала, загораживая узкий проход между таможней и крепостью. Из таможни вышел сонный чиновник с фонарём и, зевая, нагнулся над водой:

– Предъявите пропуск.

Матрос сунул ему свои документы. Артур, стараясь не дышать, прислушивался к их разговору.

– Нечего сказать, самое время возвращаться на судно, – ворчал чиновник. – С кутежа, наверно? Что у вас в лодке?

– Старое платье. Купил по дешёвке.

С этими словами он подал для осмотра жилет Артура. Чиновник опустил фонарь и нагнулся, напрягая зрение:

– Ладно. Можете ехать.

Он поднял перекладину, и лодка тихо поплыла дальше, покачиваясь на тёмной воде. Выждав немного, Артур сел и сбросил укрывавшее его платье.

– Вот он, мой корабль, – шёпотом проговорил матрос. – Идите следом за мной и, главное, молчите.

Он вскарабкался на палубу громоздкого тёмного чудовища, поругивая тихонько «неуклюжую сухопутную публику», хотя Артур, всегда отличавшийся ловкостью, меньше чем кто-либо заслуживал такой упрёк. Поднявшись на корабль, они осторожно пробрались меж тёмных снастей и блоков и наконец подошли к трюму. Матрос тихонько приподнял люк.

– Полезайте вниз! – прошептал он. – Я сейчас вернусь.

В трюме было не только сыро и темно, но и невыносимо душно. Артур невольно попятился, задыхаясь от запаха сырых кож и прогорклого масла. Но тут ему припомнился карцер, и, пожав плечами, он спустился по ступенькам. Видимо, жизнь повсюду одинакова: грязь, мерзость, постыдные тайны, тёмные закоулки. Но жизнь есть жизнь – и надо брать от неё всё, что можно.

Скоро матрос вернулся, неся что-то в руках, – что именно, Артур не разглядел.

– Теперь давайте деньги и часы. Скорее!

Артур воспользовался темнотой и оставил себе несколько монет.

– Принесите мне чего-нибудь поесть, – сказал он. – Я очень голоден.

– Принёс. Вот, держите.

Матрос передал ему кувшин, несколько твёрдых, как камень, сухарей и кусок солонины.

– Теперь вот что. Завтра поутру придут для осмотра таможенные чиновники. Спрячьтесь в пустой бочке. Лежите смирно, как мышь, пока мы не выйдем в открытое море. Я скажу, когда можно будет вылезть. А попадётесь на глаза капитану – пеняйте на себя. Ну, все! Питиё не прольёте? Спокойной ночи.

Люк закрылся. Артур осторожно поставил кувшин с драгоценной водой и, присев у пустой бочки, принялся за солонину и сухари. Потом свернулся на грязном полу и в первый раз с младенческих лет заснул, не помолившись. В темноте вокруг него бегали крысы. Но ни их неугомонный писк, ни покачивание корабля, ни тошнотворный запах масла, ни ожидание неминуемой морской болезни – ничто не могло потревожить сон Артура. Все это не беспокоило его больше, как не беспокоили его теперь и разбитые, развенчанные идола, которым он ещё вчера поклонялся.

Часть вторая.
Тринадцать лет спустя



В один из июльских вечеров 1846 года во Флоренции, в доме профессора Фабрицци, собралось несколько человек, чтобы обсудить план предстоящей политической работы.

Некоторые из них принадлежали к партии Мадзини и не мирились на меньшем, чем демократическая республика и объединённая Италия. Другие были сторонники конституционной монархии и либералы разных оттенков. Но все сходились в одном – в недовольстве тосканской цензурой. Профессор Фабрицци созвал собрание в надежде, что, может быть, хоть этот вопрос представители различных партий смогут обсудить без особых препирательств.

Прошло только две недели с тех пор, как папа Пий IX, взойдя на престол, даровал столь нашумевшую амнистию политическим преступникам в Папской области^[29], но волна либерального восторга, вызванная этим событием, уже катилась по всей Италии. В Тоскане папская амнистия оказала воздействие даже на правительство. Профессор Фабрицци и ещё кое-кто из лидеров политических партий во Флоренции сочли момент наиболее благоприятным, для того чтобы добиться проведения реформы законов о печати.

– Конечно, – заметил драматург Лега, когда ему сказали об этом, – невозможно приступить к изданию газеты до изменения нынешних законов о печати. Надо задержать первый номер. Но, может быть, нам удастся провести через цензуру несколько памфлетов^[30]. Чем раньше мы это сделаем, тем скорее добьёмся изменения закона.

Сидя в кабинете Фабрицци, он излагал свою точку зрения относительно той позиции, какую должны были, по его мнению, занять теперь писатели-либералы.

– Само собой разумеется, что мы обязаны использовать момент, – заговорил тягучим голосом один из присутствующих, седовласый адвокат. – В другой раз уже не будет таких благоприятных условий для проведения серьёзных реформ. Но едва ли памфлеты окажут благотворное действие. Они только ожесточат и напугают правительство и уж ни в коем случае не расположат его в нашу пользу. А ведь именно этого мы и добиваемся. Если власти составят о нас представление как об опасных агитаторах, нам нечего будет рассчитывать на содействие с их стороны.

– В таком случае, что же вы предлагаете?

– Петицию^[31].

– Великому герцогу^[32]?

– Да, петицию о расширении свободы печати.

Сидевший у окна брюнет с живым, умным лицом засмеялся, оглянувшись на него.

– Много вы добьётесь петициями! – сказал он. – Мне казалось, что дело Ренци^[33] излечило вас от подобных иллюзий.

– Синьор! Я не меньше вас огорчён тем, что нам не удалось помешать выдаче Ренци. Мне не хочется обижать присутствующих, но всё-таки я не могу не отметить, что мы потерпели неудачу в этом деле главным образом вследствие нетерпеливости и горячности кое-кого из нас. Я, конечно, не решился бы...

– Нерешительность – отличительная черта всех пьемонтцев, – резко прервал его брюнет. – Не знаю, где вы обнаружили нетерпеливость и горячность. Уж не в тех ли осторожных петициях, которые мы посылали одну за другой? Может быть, это называется горячностью в Тоскане и Пьемонте, но никак не у нас в Неаполе.

– К счастью, – заметил пьемонтец, – неаполитанская горячность присуща только Неаполю.

– Перестаньте, господа! – вмешался профессор. – Хороши по-своему и неаполитанские

нравы и пьемонтские. Но сейчас мы в Тоскане, а тосканский обычай велит не отвлекаться от сути дела. Грассини голосует за петицию, Галли – против. А что скажете вы, доктор Риккардо?

– Я не вижу ничего плохого в петиции, и если Грассини составит её, я подпишусь с большим удовольствием, Но мне всё-таки думается, что одними петициями многого не достигнешь. Почему бы нам не прибегнуть и к петициям, и к памфлетам?

– Да просто потому, что памфлеты вооружают правительство против нас и оно не обратит внимания на наши петиции, – сказал Грассини.

– Оно и без того не обратит на них внимания. – Неаполитанец встал и подошёл к столу. – Вы на ложном пути, господа! Уговаривать правительство бесполезно. Нужно поднять народ.

– Это легче сказать, чем сделать. С чего вы начнёте?

– Смешно задавать Галли такие вопросы. Конечно, он начнёт с того, что хватит цензора по голове.

– Вовсе нет, – спокойно сказал Галли. – Вы думаете, если уж перед вами южанин, значит, у него те найдётся других аргументов, кроме ножа?

– Что же вы предлагаете?.. Тише, господа, тише! Галли хочет внести предложение.

Все те, кто до сих пор спорил в разных углах группами по два, по три человека, собрались вокруг стола послушать Галли. Но он протестующе поднял руки:

– Нет, господа, это не предложение, а просто мне пришла в голову одна мысль. Я считаю, что во всех этих ликованиях по поводу нового папы кроется опасность. Он взял новый политический курс, даровал амнистию^[34], и многие выводят отсюда, что нам всем – всем без исключения, всей Италии – следует броситься в объятия святого отца и предоставить ему вести нас в землю обетованную. Лично я восхищаюсь папой не меньше других. Амнистия – блестящий ход!

– Его святейшество, конечно, сочтёт себя польщённым... – презрительно начал Грассини.

– Перестаньте, Грассини! Дайте ему высказаться! – прервал его, в свою очередь, Риккардо. – Удивительная вещь! Вы с Галли никак не можете удержаться от пререканий. Как кошка с собакой... Продолжайте, Галли!

– Я вот что хотел сказать, – снова начал неаполитанец. – Святой отец действует, несомненно, с наилучшими намерениями. Другой вопрос – насколько широко удастся ему провести реформы. Теперь всё идёт гладко. Реакционеры по всей Италии месяц-другой будут сидеть спокойно, пока не спадёт волна ликования, поднятая амнистией. Но маловероятно, чтобы они без борьбы выпустили власть из своих рук. Моё личное мнение таково, что в середине зимы иезуиты, грегорианцы^[35], санфедисты^[36] и вся остальная клика начнут строить новые козни и интриги и отправят на тот свет всех, кого нельзя подкупить.

– Это очень похоже на правду.

– Так вот, будем ли мы смиренно посылать одну петицию за другой и дожидаться, пока Ламбручини^[37] и его свора не убедят великого герцога отдать нас во власть иезуитов да ещё призвать австрийских гусар наблюдать за порядком на улицах, или мы предупредим их и воспользуемся временным замешательством, чтобы первыми нанести удар?

– Скажите нам прежде всего, о каком ударе вы говорите.

– Я предложил бы начать организованную пропаганду и агитацию против иезуитов^[38].

– Но ведь фактически это будет объявлением войны.

– Да. Мы будем разоблачать их интриги, раскрывать их тайны и обратимся к народу с призывом объединиться на борьбу с иезуитами.

– Но ведь здесь некого изобличать!

– Некого? Подождите месяца три, и вы увидите, сколько здесь будет этих иезуитов. Тогда от

них не отделаешься.

– Да. Но ведь вы знаете, для того чтобы восстановить городское население против иезуитов, придётся говорить открыто. А если так, каким образом вы избежите цензуры?

– Я не буду её избегать. Я просто перестану с ней считаться.

– Значит, вы будете выпускать памфлеты анонимно? Все это очень хорошо, но мы уже имели дело с подпольными типографиями и знаем, как...

– Нет! Я предлагаю печатать памфлеты открыто, за нашей подписью и с указанием наших адресов. Пусть преследуют, если у них хватит смелости.

– Совершенно безумный проект! – воскликнул Грассини. – Это значит – из молодечества класть голову в львиную пасть.

– Ну, вам бояться нечего! – отрезал Галли. – Мы не просим вас сидеть в тюрьме за наши грехи.

– Воздержитесь от резкостей, Галли! – сказал Риккардо. – Тут речь идёт не о боязни. Мы так же, как я вы, готовы сесть в тюрьму, если только это поможет нашему делу. Но подвергать себя опасности по пустякам – чистое ребячество. Я лично хотел бы внести поправку к высказанному предложению.

– Какую?

– Мне кажется, можно выработать такой способ борьбы с иезуитами, который избавит нас от столкновений с цензурой.

– Не понимаю, как вы это устроите.

– Надо облечь наши высказывания в такую форму, так их завуалировать, чтобы...

– ...Не понял цензор? Но неужели вы рассчитываете, что какой-нибудь невежественный ремесленник или рабочий докопается до истинного смысла ваших писаний? Это ни с чем не сообразно.

– Мартини, что вы скажете? – спросил профессор, обращаясь к сидевшему возле него широкоплечему человеку с большой тёмной бородой.

– Я подожду высказывать своё мнение. Надо проделать ряд опытов, тогда будет видно.

– А вы, Саккони?

– Мне бы хотелось услышать, что скажет синьора Болла. Её соображения всегда так ценны.

Все обернулись в сторону единственной в комнате женщины, которая сидела на диване, опершись подбородком на руку, и молча слушала прения. У неё были задумчивые чёрные глаза, но сейчас в них мелькнул насмешливый огонёк.

– Боюсь, что мы с вами разойдёмся во мнениях, – сказала она.

– Обычная история, – вставил Риккардо, – но хуже всего то, что вы всегда оказываетесь правы.

– Я совершенно согласна, что нам необходимо так или иначе бороться с иезуитами. Не удастся одним оружием, надо прибегнуть к другому. Но бросить им вызов – недостаточно, уклончивая тактика затруднительна. Ну, а петиции – просто детские игрушки.

– Надеюсь, синьора, – с чрезвычайно серьёзным видом сказал Грассини, – вы не предложите нам таких методов, как убийство?

Мартини дёрнул себя за ус, а Галли, не стесняясь, рассмеялся. Даже серьёзная молодая женщина не могла удержаться от улыбки.

– Поверьте, – сказала она, – если бы я была настолько кровожадна, то во всяком случае у меня хватило бы здравого смысла молчать об этом – я не ребёнок. Самое смертоносное оружие, какое я знаю, – это смех. Если нам удастся жестоко высмеять иезуитов, заставить народ хохотать над ними и их притязаниями – мы одержим победу без кровопролития.

– Думаю, что вы правы, – сказал Фабрицци. – Но не понимаю, как вы это осуществите.

– Почему вам кажется, что нам не удастся это осуществить? – спросил Мартини. – Сатира скорее пройдёт через цензуру, чем серьёзная статья. Если придётся писать иносказательно, то неискушённому читателю легче будет раскусить двойной смысл безобидной на первый взгляд шутки, чем содержание научного или экономического очерка.

– Итак, синьора, вы того мнения, что нам следует издавать сатирические памфлеты или сатирическую газету? Могу смело сказать: последнее цензура никогда не пропустит.

– Я имею в виду нечто иное. По-моему, было бы очень полезно выпускать и продавать по дешёвой цене или даже распространять бесплатно небольшие сатирические листки в стихах или в прозе. Если бы нам удалось найти хорошего художника, который понял бы нашу идею, мы могли бы выпускать эти листки с иллюстрациями.

– Великолепная идея, если только она выполнима. Раз уж браться за такое дело, надо делать его хорошо. Нам нужен первоклассный сатирик. А где его взять?

– Вы отлично знаете, – прибавил Лега, – что большинство из нас – серьёзные писатели. Как я ни уважаю всех присутствующих, но боюсь, что в качестве юмористов мы будем напоминать слона, танцующего тарантеллу.

– Я отнюдь не говорю, что мы должны взяться за работу, которая нам не по плечу. Надо найти талантливую сатирика, а такой, вероятно, есть в Италии, и изыскать необходимые средства. Разумеется, мы должны знать этого человека и быть уверены, что он будет работать в нужном нам направлении.

– Но где его достать? Я могу пересчитать по пальцам всех более или менее талантливых сатириков, но их не привлечёшь. Джустини^[39] не согласится – он и так слишком занят. Есть один или два подходящих писателя в Ломбардии, но они пишут на миланском диалекте^[40].

– И кроме того, – сказал Грассини, – на тосканский народ можно воздействовать более почтенными средствами. Мы обнаружим по меньшей мере отсутствие политического такта, если будем трактовать серьёзный вопрос о гражданской и религиозной свободе в шуточной форме. Флоренция не город фабрик и наживы, как Лондон, и не притон для сибаритов^[41], как Париж. Это город с великим прошлым...

– Таковы были и Афины, – с улыбкой перебила его синьора Болла. – Но граждане Афин были слишком вялы, и понадобился Овод^[42], чтобы пробудить их.

Риккардо ударил рукой по столу:

– Овод! Как это мы не вспомнили о нём? Вот человек, который нам нужен!

– Кто это?

– Овод – Феличе Риварес. Не помните? Он из группы Муратори, которая пришла сюда с гор года три назад^[43].

– Вы знаете эту группу? Впрочем, вспоминаю! Вы провожали их в Париж.

– Да, я доехал с Риваресом до Ливорно и оттуда отправил его в Марсель. Ему не хотелось оставаться в Тоскане. Он заявил, что после неудачного восстания остаётся только смеяться и что поэтому лучше уехать в Париж. Он, очевидно, согласен с синьором Грассини, что Тоскана неподходящее место для смеха. Но если мы его пригласим, он вернётся, узнав, что теперь есть возможность действовать в Италии. Я в этом почти уверен.

– Как вы его называли?

– Риварес. Он, кажется, бразилец. Во всяком случае, жил в Бразилии. Я, пожалуй, не встречал более остроумного человека. В то время в Ливорно нам было, конечно, не до веселья – один Ламбертини чего стоил! Сердце разрывалось на него глядя... Но мы не могли удержаться от смеха, когда Риварес заходил в комнату, – сплошной фейерверк остроумия! На лице у него, помнится, большой шрам от сабельного удара. Станный он человек... Но я уверен, что его

шутки удержали тогда многих из этих несчастных от полного отчаяния.

– Не он ли пишет политические фельетоны во французских газетах под псевдонимом Le Taon^[44]?

– Да. По большей части коротенькие статейки и юмористические фельетоны. Апеннинские контрабандисты прозвали Ривареса Оводом за его злой язык, и с тех пор он взял себе этот псевдоним.

– Мне кое-что известно об этом субъекте, – как всегда, солидно и неторопливо вмешался в разговор Грассини, – и не могу сказать, чтобы то, что я о нём слышал, располагало в его пользу. Овод несомненно наделён блестящим умом, но человек он поверхностный, и мне кажется – таланты его переоценили. Весьма вероятно, что у него нет недостатка в мужестве. Но его репутация в Париже и в Вене далеко не безупречна. Это человек, жизнь которого изобиловала сомнительными похождениями, человек, неизвестно откуда взявшийся. Говорят, что экспедиция Дюпре подобрала его из милости где-то в джунглях Южной Америки в ужасном состоянии, почти одичалого. Насколько мне известно, он никогда не мог объяснить, чем было вызвано такое падение. А что касается событий в Апеннинах, то в этом неудачном восстании принимал участие всякий сброд – это ни для кого не секрет. Все знают, что казнённые в Болонье были самыми настоящими преступниками. Да и нравственный облик многих из скрывшихся не поддаётся описанию. Правда, некоторые из участников – люди весьма достойные.

– И находятся в тесной дружбе со многими из здесь присутствующих! – оборвал Грассини Риккардо, и в его голосе прозвучали негодующие нотки. – Щепетильность и строгость весьма похвальные качества, но не следует забывать, Грассини, что эти «настоящие преступники» пожертвовали жизнью ради своих убеждений, а это побольше, чем сделали мы с вами.

– В следующий раз, – добавил Галли, – когда кто-нибудь будет передавать вам старые парижские сплетни, скажите ему от моего имени, что относительно экспедиции Дюпре они ошибаются. Я лично знаком с помощником Дюпре, Мартелем, и слышал от него всю историю. Верно, что они нашли Ривареса в тех местах. Он сражался за Аргентинскую республику^[45], был взят в плен и бежал. Потом, переодетый, скитался по стране, пробираясь обратно в Буэнос-Айрес. Версия, будто экспедиция подобрала его из милости, – чистейший вымысел. Их переводчик заболел и должен был вернуться обратно, а сами французы не знали местных наречий. Ривареса взяли в переводчики, и он провёл с экспедицией целых три года, исследуя притоки Амазонки. По словам Мартеля, им никогда не удалось бы довести до конца свою работу, если бы не Риварес.

– Кто бы он ни был, – вмешался Фабрицци, – но должно же быть что-то выдающееся в человеке, который сумел обворожить таких опытных людей, как Мартель и Дюпре. Как вы думаете, синьора?

– Я о нём ровно ничего не знаю. Я была в Англии, когда эти беглецы проезжали Тоскану. Но если о Риваресе отзываются с самой лучшей стороны те, кому пришлось в течение трех лет странствовать с ним, а также товарищи, участвовавшие в восстании, то этого, я думаю, вполне достаточно, чтобы не обращать внимания на бульварные сплетни.

– О его товарищах и говорить нечего, – сказал Риккардо. – Ривареса обожали поголовно все от Муратори и Замбеккари до самых диких горцев. Кроме того, он личный друг Орсини^[46]. Правда, в Париже о нём рассказывают всякие небылицы, но ведь если человек не хочет иметь врагов, он не должен быть политическим сатириком.

– Я не совсем уверен, но, кажется, я видел его как-то, когда эти политические эмигранты были здесь, – сказал Лега. – Он ведь не то горбат, не то хромает.

Профессор выдвинул ящик письменного стола, достал кипу бумаг и стал их перелистывать.

– У меня есть где-то полицейское описание его примет, – сказал он. – Вы помните, когда им удалось бежать и скрыться в горах, повсюду были разосланы их приметы, а кардинал... как же зовут этого негодяя?... да, кардинал Спинола^[47]! Так вот, он даже предлагал награду за их головы. В связи с этим рассказывают одну очень интересную историю. Риварес надел старый солдатский мундир и бродил по стране под видом раненого карабинера, отыскивающего свою часть. Во время этих странствований он наткнулся на отряд, посланный Спинолой на его же розыски, и целый день ехал с солдатами в одной повозке и рассказывал душераздирающие истории о том, как бунтовщики взяли его в плен, затащили в свой притон в горах и подвергли ужасным пыткам. Солдаты показали ему бумагу с описанием его примет, и он наговорил им всякого вздору о «дьяволе», которого прозвали Оводом. Потом ночью, когда все улеглись спать, Риварес вылил им в порошок ведро воды и дал тягу, набив карманы провизией и патронами... А, вот, нашёл! – сказал Фабрици, оборвав свой рассказ. – «Феличе Риварес, по прозвищу Овод. Возраст – около тридцати лет. Место рождения неизвестно, но по некоторым данным – Южная Америка. Профессия – журналист. Небольшого роста. Волосы чёрные. Борода чёрная. Смуглый. Глаза синие. Лоб высокий. Нос, рот, подбородок...» Да, вот ещё: «Особые приметы: прихрамывает на правую ногу, левая рука скрючена, недостаёт двух пальцев. Шрам на лице. Заикается». Затем добавлено: «Очень искусный стрелок – при аресте следует соблюдать осторожность».

– Удивительная вещь! Как он их обманул с таким списком примет?

– Выручила его, несомненно, только смелость. Малейшее подозрение, и он бы погиб. Ему удаётся выходить из любых положений благодаря умению принимать невинный, внушающий доверие вид... Ну, так вот, господа, что же вы обо всём этом думаете? Оказывается, Ривареса многие из вас хорошо знают. Что ж, давайте напишем ему, что мы будем рады его помощи.

– Сначала надо всё-таки познакомить его с нашим планом, – заговорил Фабрици, – и узнать, согласен ли он с ним.

– Ну, поскольку речь идёт о борьбе с иезуитами, Риварес согласится. Я не знаю более непримиримого антиклерикала. В этом отношении он просто бешеный.

– Итак, вы напишете ему, Риккардо?

– Конечно. Сейчас припомню, где он теперь. Кажется, в Швейцарии. Удивительно непоседливое существо: вечно кочует. Ну, а что касается памфлетов...

Вновь началась оживлённая дискуссия. Когда наконец все стали расходиться, Мартини подошёл к синьоре Болле:

– Я провожу вас, Джемма.

– Спасибо. Мне нужно переговорить с вами о делах.

– Опять что-нибудь с адресами? – спросил он вполголоса.

– Ничего серьёзного. Но всё-таки, мне кажется, надо что-то предпринять. На этой неделе на почте задержали два письма. И то и другое совершенно невинные, да и задержка эта, может быть, простая случайность. Однако рисковать нельзя. Если полиция взяла под сомнение хоть один из наших адресов, их надо немедленно изменить.

– Я приду к вам завтра. Не стоит сейчас говорить о делах – у вас усталый вид.

– Я не устала.

– Так, стало быть, опять расстроены чем-нибудь?

– Нет, так, ничего особенного.

– Кэтти, миссис Болла дома?

– Да, сударь, она одевается. Пожалуйста в гостиную, она сейчас сойдёт вниз.

Кэтти встретила гостя с истинно девонширским^[48] радушием. Мартини был её любимцем. Он говорил по-английски – конечно, как иностранец, но всё-таки вполне прилично, – не имел привычки засиживаться до часу ночи и, не обращая внимания на усталость хозяйки, разглагольствовать громогласно о политике, как это часто делали другие. А главное – Мартини приезжал в Девоншир поддержать миссис Боллу в самое тяжёлое для неё время, когда у неё умер ребёнок и умирал муж. С той поры этот неловкий, молчаливый человек стал для Кэтти таким же членом семьи, как и ленивый чёрный кот Папш, который сейчас примостился у него на коленях. А кот, в свою очередь, смотрел на Мартини, как на весьма полезную вещь в доме. Этот гость не наступал ему на хвост, не пускал табачного дыма в глаза, подобно прочим, весьма навязчивым двуногим существам, позволял удобно свернуться у него на коленях и мурлыкать, а за столом всегда помнил, что коту вовсе не интересно только смотреть, как люди едят рыбу. Дружба между ними завязалась уже давно. Когда Папш был ещё котёнком, Мартини взял его под своё покровительство и привёз из Англии в Италию в корзинке, так как больной хозяйке было не до него. И с тех пор кот имел много случаев убедиться, что этот неуклюжий, похожий на медведя человек – верный друг ему.

– Как вы оба уютно устроились! – сказала, входя в комнату, Джемма. – Можно подумать, что вы рассчитываете провести так весь вечер!

Мартини бережно снял кота с колен.

– Я пришёл пораньше, – сказал он, – в надежде, что вы дадите мне чашку чаю, прежде чем мы тронемся в путь. У Грассини будет, вероятно, очень много народу и плохой ужин. В этих фешенебельных домах всегда плохо кормят.

– Ну вот! – сказала Джемма, смеясь. – У вас такой же злой язык, как у Галли. Бедный Грассини и так обременён грехами. Зачем ставить ему в вину ещё и то, что его жена – плохая хозяйка? Ну, а чай сию минуту будет готов. Кэтти испекла специально для вас девонширский кекс.

– Кэтти – добрая душа, не правда ли, Папш? Кстати, то же можно сказать и о вас – я боялся, что вы забудете мою просьбу и наденете другое платье.

– Я ведь вам обещала, хотя в такой тёплый вечер в нём, пожалуй, будет жарко.

– Нет, в Фьезоле^[49] много прохладнее. А вам белый кашемир очень идёт. Я принёс цветы специально к этому вашему наряду.

– Какие чудесные розы! Просто прелесть! Но лучше поставить их в воду, я не люблю прикалывать цветы к платью.

– Ну вот, что за предрассудок!

– Право же, нет. Просто, я думаю, им будет грустно провести вечер с такой скучной особой, как я.

– Увы! Нам всем придётся поскучать на этом вечере. Воображаю, какие там будут невыносимо нудные разговоры!

– Почему?

– Отчасти потому, что все, к чему ни прикоснётся Грассини, становится таким же нудным, как и он сам.

– Стыдно злословить о человеке, в гости к которому идёшь.

– Вы правы, как всегда, мадонна^[50]. Тогда скажем так: будет скучно, потому что

большинство интересных людей не придёт.

– Почему?

– Не знаю. Уехали из города, больны или ещё что-нибудь. Будут, конечно, два-три посланника, несколько учёных немцев и русских князей, обычная разношёрстная толпа туристов, кое-кто из литературного мира и несколько французских офицеров. И больше никого, насколько мне известно, за исключением, впрочем, нового сатирика. Он выступает в качестве главной приманки.

– Новый сатирик? Как! Риварес? Но мне казалось, что Грассини относится к нему весьма неодобительно.

– Да, это так. Но если о человеке много говорят, Грассини, конечно, пожелает, чтобы новый лев был выставлен напоказ прежде всего в его доме. Да, будьте уверены, Риварес не подозревает, как к нему относится Грассини. А мог бы догадаться – он человек сообразительный.

– Я и не знала, что он уже здесь!

– Только вчера приехал... А вот и чай. Не вставайте, я подам чайник.

Нигде Мартини не чувствовал себя так хорошо, как в этой маленькой гостиной. Дружеское обращение Джеммы, то, что она совершенно не подозревала своей власти над ним, её простота и сердечность – все это озаряло светом его далеко не радостную жизнь. И всякий раз, когда Мартини становилось особенно грустно, он приходил сюда по окончании работы, сидел, большей частью молча, и смотрел, как она склоняется над шитьём или разливает чай. Джемма ни о чём его не расспрашивала, не выражала ему своего сочувствия. И всё-таки он уходил от неё ободрённый и успокоенный, чувствуя, что «теперь можно протянуть ещё недельку-другую». Она, сама того не зная, обладала редким даром приносить утешение, и, когда два года назад лучшие друзья Мартини были изменнически преданы в Калабрии^[51] и перестреляны, – быть может, только непоколебимая твёрдость её духа и спасла его от полного отчаяния.

В воскресные дни он иногда приходил по утрам «поговорить о делах», то есть о работе партии Мадзини, деятельными и преданными членами которой были они оба. Тогда Джемма преображалась: она была проникательна, хладнокровна, логична, неизменно пунктуальна и беспристрастна. Те, кто знал Джемму только по партийной работе, считали её опытным и дисциплинированным товарищем, вполне достойным доверия, смелым и во всех отношениях ценным членом партии, но не признавали за ней яркой индивидуальности. «Она прирождённый конспиратор, стоящий десятка таких, как мы, но больше о ней ничего не скажешь», – говорил Галли. «Мадонна Джемма», которую так хорошо знал Мартини, открывала себя далеко не всем.

– Ну, так что же представляет собой ваш новый сатирик? – спросила она, открывая буфет и глядя через плечо на Мартини. – Вот вам, Чезаре, ячменный сахар и глазированные фрукты. И почему это, кстати сказать, революционеры так любят сладкое?

– Другие тоже любят, только считают ниже своего достоинства сознаваться в этом... Новый сатирик – типичный дамский кумир, но вам он, конечно, не понравится. Своего рода профессиональный остряк, который с томным видом бродит по свету в сопровождении хорошенькой танцовщицы.

– Танцовщица существует на самом деле или вы просто не в духе и тоже решили стать профессиональным остряком?

– Боже сохрани! Танцовщица – существо вполне реальное и должна нравиться любителям жгучих брюнеток. У меня лично вкусы другие. Риккардо говорит, что она венгерская цыганка. Риварес вывез её из какого-то провинциального театра в Галиции. И, по-видимому, наш Овод порядочный наглец – он как ни в чём не бывало вводит её в общество, точно это его престарелая тётка.

– Ну что ж, такая порядочность делает ему честь. Ведь другого дома, другого круга

знакомств у этой женщины нет.

– В свете к подобным вещам относятся несколько иначе, не так, как вы, мадонна. Вряд ли там кто-нибудь сочтёт для себя большой честью знакомство с чьей-то любовницей.

– А откуда известно, любовница она или нет? Не с его же слов!

– Тут не может быть никаких сомнений – достаточно одного взгляда на неё. Но я думаю, что даже у Ривареса не хватит смелости ввести эту особу в дом Грассини.

– Да её там и не приняли бы. Синьора Грассини не потерпит такого нарушения приличий. Но меня интересует сам Риварес, а не его частная жизнь. Фабрицци говорил, что ему уже написали и он согласился приехать и начать здесь кампанию против иезуитов. Больше я ничего о нём не слышала. Последнюю неделю была такая уйма работы.

– Я очень мало могу прибавить к тому, что вы знаете. С оплатой, по-видимому, не оказалось никаких затруднений, как мы одно время опасались. Он, кажется, не нуждается и готов работать безвозмездно.

– Значит, у него есть средства?

– Должно быть. Хотя это очень странно. Вы помните, у Фабрицци рассказывали, в каком состоянии его подобрала экспедиция Дюпре. Но, говорят, у него есть пай в бразильских рудниках, а кроме того, он имел огромный успех как фельетонист в Париже, в Вене и в Лондоне. Он, кажется, владеет в совершенстве по крайней мере пятью-шестью языками, и ему ничто не помешает, живя здесь, продолжать сотрудничать в иностранных газетах. Ведь ругань по адресу иезуитов не отнимет у него так уж много времени.

– Это верно... Однако нам пора идти, Чезаре. Розы я всё-таки приколю. Подождите минутку.

Она поднялась наверх и скоро вернулась с приколотыми к лифу розами и в чёрной испанской мантилье. Мартини окинул её взглядом художника и сказал:

– Вы настоящая царица, мадонна моя, великая и мудрая царица Савская^[52]!

– Такое сравнение меня вовсе не радует, – возразила Джемма со смехом. – Если бы вы знали, сколько я положила трудов, чтобы иметь вид светской дамы! Как – же можно конспиратору походить на царицу Савскую? Это привлечёт ко мне внимание шпииков.

– Всё равно, сколько ни старайтесь, вам не удастся стать похожей на светскую пустышку. Но это неважно. Вы слишком красивы, чтобы шпиики, глядя на вас, угадали ваши политические убеждения. Так что вам не нужно глупо хихикать в веер, подобно синьоре Грассини.

– Довольно, Чезаре, оставьте в покое эту бедную женщину. Подсластите свой язык ячменным сахаром... Готово? Ну, теперь пойдёмте.

Мартини был прав, когда предсказывал, что вечер будет многолюдный и скучный. Литераторы вежливо болтали о пустяках, и, видимо, безнадежно скучали, а разношёрстная толпа туристов и русских князей переходила из комнаты в комнату, вопрошая всех, где же тут знаменитости, и силясь поддерживать умный разговор.

Грассини принимал гостей с вежливостью, так же тщательно отполированной, как и его ботинки. Когда он увидал Джемму, его холодное лицо оживилось. В сущности Грассини не любил Джемму и в глубине души даже побаивался её, но он понимал, что без этой женщины его салон проиграл бы в значительной степени. Дела Грассини шли хорошо, ему удалось выдвинуться на своём поприще, и теперь, став человеком богатым и известным, он задался целью сделать свой дом центром интеллигентного либерального общества. Грассини с горечью сознавал, что увядшая разряженная куколка, на которой он так опрометчиво женился в молодости, не годится в хозяйки большого литературного салона. Когда появлялась Джемма, он мог быть уверен, что вечер пройдёт удачно. Спокойные и изящные манеры этой женщины вносили в общество непринуждённость, и одно её присутствие стирало тот налёт вульгарности,

который, как ему казалось, отличал его дом.

Синьора Грассини встретила Джемму очень приветливо.

— Как вы сегодня очаровательны! — громким шёпотом сказала она, окидывая белое кашемировое платье враждебно-критическим взглядом.

Синьора Грассини всем сердцем ненавидела свою гостью именно за то, за что Мартини любил её: за спокойную силу характера, за прямоту, за здравый ум, даже за выражение лица. А если синьора Грассини ненавидела женщину, она была с ней подчёркнуто нежна. Джемма хорошо знала цену всем этим комплиментам и нежностям, и пропускала их мимо ушей. Такие «выезды в свет» были для неё утомительной и неприятной обязанностью, которую должен выполнять каждый конспиратор, если он не хочет привлечь внимание полиции. Она считала эту работу не менее утомительной, чем работу шифровальщика, и, зная, насколько важно для отвлечения подозрений иметь репутацию светской женщины, изучала модные журналы так же тщательно, как ключи к шифрам.

Скусающие литературные львы несколько оживились, лишь только доложили о Джемме. Она пользовалась популярностью в их среде, и журналисты радикального направления сейчас же потянулись к ней. Но Джемма была слишком опытным конспиратором, чтобы отдать им все своё внимание. С радикалами можно встречаться каждый день, поэтому теперь она мягко указала им их настоящее дело, заметив с улыбкой, что не стоит тратить время на неё, когда здесь так много туристов, — говорить нужно с ними. Сама же усердно занялась членом английского парламента, сочувствие которого было очень важно для республиканской партии. Он был известный финансист, и Джемма сначала спросила его мнение о каком-то техническом вопросе, связанном с австрийской валютой, а потом ловко навела разговор на состояние ломбардо-венецианского бюджета. Англичанин, ожидавший обычной светской болтовни, покосился на Джемму, испугавшись, очевидно, что попал в когти к синему чулку. Но, убедившись, что разговаривать с этой женщиной не менее приятно, чем смотреть на неё, он покорился и стал так глубокомысленно обсуждать итальянский бюджет, словно перед ним был сам Меттерних [\[53\]](#). Когда Грассини подвёл к Джемме француза, который пожелал узнать у синьоры Боллы историю возникновения «Молодой Италии», изумлённый член парламента уверился, что Италия действительно имеет больше оснований для недовольства, чем он предполагал.

В конце вечера Джемма незаметно выскользнула из гостиной на террасу; ей хотелось посидеть одной у высоких камелий и олеандров. От духоты и бесконечного потока гостей у неё разболелась голова.

В конце террасы в больших кадках, скрытых бордюром из лилий и других цветущих растений, стояли пальмы и высокие папоротники. Всё это вместе образовывало сплошную ширму, за которой оставался свободный уголок с прекрасным видом на долину. Ветви гранатового дерева, усыпанные поздними цветами, свисали над узким проходом между растениями.

В этот-то уголок и пробралась Джемма, надеясь, что никто не догадается, где она. Ей хотелось отдохнуть в тишине и уединении и избавиться от головной боли. Ночь была тёплая, безмятежно тихая, но после душной гостиной воздух показался Джемме прохладным, и она накинула на голову мантилью.

Звуки приближающихся шагов и чьи-то голоса заставили её очнуться от дремоты, которая начала ею овладевать. Она подалась дальше в тень, надеясь остаться незамеченной и выиграть ещё несколько драгоценных минут тишины, прежде чем вернуться к праздной болтовне в гостиной. Но, к её величайшей досаде, шаги затихли как раз у плотной ширмы растений. Тонкий, писклявый голосок синьоры Грассини умолк. Послышался мужской голос, мягкий и музыкальный; однако странная манера его обладателя растягивать слова немного резала слух.

Что это было – просто рисовка или приём, рассчитанный на то, чтобы скрыть какой-то недостаток речи? Так или иначе – впечатление получалось неприятное.

– Англичанка? – проговорил этот голос. – Но фамилия у неё итальянская. Как вы сказали – Болла?

– Да. Она вдова несчастного Джiovанни Боллы – помните, он умер в Англии года четыре назад. Ах да, я все забываю: вы ведёте кочующий образ жизни, и от вас нельзя требовать, чтобы вы знали всех страдальцев нашей несчастной родины. Их так много!

Синьора Грассини вздохнула. Она всегда беседовала с иностранцами в таком тоне. Роль патриотки, скорбящей о бедствиях Италии, представляла эффектное сочетание с её институтскими манерами и наивным выражением лица.

– Умер в Англии... – повторил мужской голос. – Значит, он был эмигрантом? Я когда-то слышал это имя. Не входил ли Болла в организацию «Молодая Италия» в первые годы её существования?

– Да, Боллу в числе других несчастных юношей арестовали в тридцать третьем году. Припоминаете это печальное дело? Его освободили через несколько месяцев, а потом, спустя два-три года, был подписан новый приказ о его аресте, и он бежал в Англию. Затем до нас дошли слухи, что он женился там. В высшей степени романтическая история, но бедный Болла всегда был романтиком.

– Умер в Англии, вы говорите?

– Да, от чахотки. Не вынес ужасного английского климата. А перед самой его смертью жена лишилась и единственного сына: он умер от скарлатины. Не правда ли, какая грустная история? Мы все так любим милую Джемму! Она, бедняжка, немного чопорна, как все англичанки. Но перенести столько несчастий! Поневоле станешь печальной и...

Джемма встала и раздвинула ветви гранатового дерева. Слушать, как посторонние люди болтают о пережитых ею горестях, было невыносимо, и она вышла на свет, не скрывая своего недовольствия.

– А вот и она сама! – как ни в чём не бывало воскликнула хозяйка. – Джемма, дорогая, а я-то недоумевала, куда вы пропали! Синьор Феличе Риварес хочет познакомиться с вами.

«Так вот он, Овод!»-подумала Джемма, с любопытством вглядываясь в него.

Риварес учтиво поклонился и окинул её взглядом, который показался ей пронизывающим и даже дерзким.

– Вы выбрали себе в-восхитительный уголок, – сказал он, глядя на плотную ширму зелени. – И какой отсюда п-прекрасный вид!

– Да, уголок чудесный. Я пришла сюда подышать свежим воздухом.

– В такую чудную ночь сидеть в комнатах просто грешно, – проговорила хозяйка, поднимая глаза к звёздам. (У неё были красивые ресницы, и она любила показывать их.) – Взгляните, синьор: ну разве не рай наша милая Италия? Если б она была только свободна! Страна-рабыня! Страна с такими цветами, с таким небом!

– И с такими патриотками! – томно протянул Овод.

Джемма взглянула на него почти с испугом: такая дерзость не могла пройти незамеченной. Но она не учла, насколько падка синьора Грассини на комплименты, а та, бедняжка, со вздохом потупила глазки:

– Ах, синьор, женщина так мало может сделать! Но как знать, может быть, мне и удастся доказать когда-нибудь, что я имею право называть себя итальянкой... А сейчас мне нужно вернуться к своим обязанностям. Французский посол просил меня познакомить его воспитанницу со всеми знаменитостями. Вы должны тоже представиться ей. Она прелестная девушка. Джемма, дорогая, я привела синьора Ривареса, чтобы показать ему, какой отсюда

открывается чудесный вид. Оставляю его на ваше попечение. Я уверена, что вы позаботитесь о нём и познакомите его со всеми... А вот и обворожительный русский князь! Вы с ним не встречались? Говорят, это фаворит императора Николая. Он командует гарнизоном какого-то польского города с таким названием, что и не выговоришь. *Quelle nuit magnifique! N'estce pas, mon prince?*^[54]

Она порхнула, щебеча, к господину с бычьей шеей, тяжёлой челюстью и множеством орденов на мундире, и вскоре её жалобные причитания о «нашем несчастном отечестве», пересыпанные возгласами «charmant»^[55] и «mon prince»^[56], замерли вдали.

Джемма молча стояла под гранатовым деревом. Её возмутила дерзость Овода, и она пожалела бедную, глупенькую женщину. Он проводил удаляющуюся пару таким взглядом, что Джемму просто зло взяло: насмехаться над этим жалким существом было невеликодушно.

– Вот вам итальянский и русский патриотизм, – сказал Овод, с улыбкой поворачиваясь к ней. – Идут под ручку, такие довольные друг другом! Какой вам больше нравится?

Джемма нахмурилась и промолчала.

– Конечно, это д-дело вкуса, – продолжал Риварес, – но, по-моему, русская разновидность патриотизма лучше – в ней чувствуется такая добротность! Если б Россия полагалась на цветы и небеса вместо пороха и пушек, вряд ли «mon prince» удержался бы в своей п-польской крепости.

– Высказывать свои взгляды можно, – холодно проговорила Джемма, – но зачем попутно высмеивать хозяйку дома!

– Да, правда, я забыл, как в-высоко ставят в Италии долг гостеприимства. Удивительно гостеприимный народ эти итальянцы! Я уверен, что австрийцы тоже это находят. Не хотите ли сесть?

Прихрамывая, он прошёл по террасе и принёс Джемме стул, а сам стал против неё, облокотившись о балюстраду. Свет из окна падал ему прямо в лицо, и теперь его можно было рассмотреть как следует.

Джемма была разочарована. Она ожидала увидеть лицо если не очень приятное, то во всяком случае запоминающееся, с властным взглядом. Но в этом человеке прежде всего бросалась в глаза склонность к франтовству и почти нескрываемая надменность. Он был смугл, как мулат, и, несмотря на хромоту, проворен, как кошка.

Всем своим обликом он напоминал чёрного ягуара. Лоб и левая щека у него были обезображены длинным кривым шрамом – по-видимому, от удара саблей. Джемма заметила, что, когда он начинал заикаться, левую сторону лица подёргивала нервная судорога. Не будь этих недостатков, он был бы, пожалуй, своеобразно красив, но в общем лицо его не отличалось привлекательностью.

Овод снова заговорил своим мягким, певучим голосом, точно мурлыкая.

«Вот так говорил бы ягуар, будь он в хорошем настроении и имей он дар речи», – подумала Джемма, раздражаясь все больше и больше.

– Я слышал, – сказал он, – что вы интересуетесь радикальной прессой и даже сами сотрудничаете в газетах.

– Пишу иногда. У меня мало свободного времени.

– Ах да, это понятно: синьора Грассини говорила мне, что вы заняты и другими важными делами.

Джемма подняла брови. Очевидно, синьора Грассини по своей глупости наболтала лишнего этому ненадёжному человеку, который теперь уже окончательно не нравился Джемме.

– Да, это правда, я очень занята, но синьора Грассини преувеличивает значение моей работы, – сухо ответила она. – Все это по большей части совсем несложные дела.

– Ну что ж, было бы очень плохо, если бы все мы только и делали, что оплакивали Италию.

Мне кажется, общество нашего хозяина и его супруги может привести каждого в легкомысленное настроение. Это необходимо в целях самозащиты. Да, да! Я знаю, что вы хотите сказать. Правильно, правильно! Но их ходульный патриотизм меня просто смешит!.. Вы хотите вернуться в комнаты?.. Зачем? Здесь так хорошо!

– Нет, нужно идти. Ах, моя мантилья... Благодарю вас.

Риварес поднял мантилью, выпрямившись, посмотрел на Джемму глазами невинными и синими, как незабудки у ручья.

– Я знаю, вы сердитесь на меня за то, что я смеюсь над этой раскрашенной куколкой, – проговорил он тоном кающегося грешника, – Но разве можно не смеяться над ней?

– Если вы меня спрашиваете, я вам скажу: по-моему, невеликодушно и... нечестно высмеивать умственное убожество человека. Это всё равно, что смеяться над калекой или...

Он вдруг болезненно перевёл дыхание и, отшатнувшись от Джеммы, взглянул на свою хромую ногу и искалеченную руку, но через секунду овладел собой и разразился хохотом:

– Сравнение не слишком удачное, синьора: мы, калеки, не кичимся своим уродством, как эта женщина кичится своей глупостью, и признаем, что физические изъяны ничуть не лучше изъянов моральных... Здесь ступенька – обопритесь о мою руку.

Джемма молча шла рядом с ним; его неожиданная чувствительность смутила её и сбила с толку.

Как только Риварес распахнул перед ней двери зала, она поняла, что в их отсутствие здесь что-то случилось. На лицах мужчин было написано и негодование и растерянность; дамы толпились у дверей, напустив на себя непринуждённый вид, будто ничего и не произошло, но их щёки пылали румянцем. Хозяин то и дело поправлял очки, тщетно пытаясь скрыть свою ярость, а туристы, собравшись кучкой, бросали любопытные взгляды в дальний конец зала. Очевидно, там и происходило то, что казалось им таким забавным, а всем прочим – оскорбительным. Одна синьора Грассини ничего не замечала. Кокетливо играя веером, она болтала с секретарём голландского посольства, который слушал её ухмыляясь.

Джемма остановилась в дверях и посмотрела на своего спутника – уловил ли он это всеобщее замешательство? Овод перевёл взгляд с пребывающей в блаженном неведении хозяйки на диван в глубине зала, и по его лицу скользнуло выражение злого торжества. Джемма догадалась сразу: он явился сюда со своей любовницей, выдав её за нечто другое, и провёл лишь одну синьору Грассини.

Цыганка сидела, откинувшись на спинку дивана, окружённая молодыми людьми и кавалерийскими офицерами, которые любезничали с ней, не скрывая иронических улыбочек. Восточная яркость её роскошного жёлто-красного платья и обилие драгоценностей резко выделялись в этом флорентийском литературном салоне – словно какая-то тропическая птица залетела в стаю скворцов и ворон. Эта женщина сама явно чувствовала себя здесь не в своей тарелке и поглядывала на оскорблённых её присутствием дам с презрительно-злой гримасой. Увидев Овода, она вскочила с дивана, подошла к нему и быстро заговорила на ломаном французском языке:

– Мосье Риварес, я вас всюду искала! Граф Салтыков спрашивает, приедете ли вы к нему завтра вечером на виллу? Будут танцы.

– Очень сожалею, но вынужден отказаться. К тому же танцевать я не могу... Синьора Болла, разрешите мне представить вам мадам Зиту Рени.

Цыганка бросила на Джемму почти вызывающий взгляд и сухо поклонилась. Мартини сказал правду: она была, несомненно, красива, но в этой красоте чувствовалось что-то грубое, неодухотворенное. Её свободные, грациозные движения радовали глаз, а лоб был низкий, очертания тонких ноздрей неприятные, чуть ли не хищные. Присутствие цыганки только

усилило неловкость, которую Джемма ощущала наедине с Оводом, и она почувствовала какое-то странное облегчение, когда спустя минуту к ней подошёл хозяин и попросил её занять туристов в соседней комнате.

* * *

– Ну, что вы скажете об Оводе, мадонна? – спросил Мартини Джемму, когда они поздней ночью возвращались во Флоренцию. – Вот наглец! Как он посмел так одурачить бедную синьору Грассини!

– Вы о танцовщице?

– Ну разумеется! Ведь он сказал, что эта танцовщица будет звездой сезона. А синьора Грассини готова на все ради знаменитостей!

– Да, такой поступок не делает ему чести. Он поставил хозяев в неловкое положение и, кроме того, не пощадил и эту женщину. Я уверена, что она чувствовала себя ужасно.

– Вы, кажется, говорили с ним? Какое впечатление он на вас произвёл?

– Знаете, Чезаре, я только и думала, как бы поскорее избавиться от него! Первый раз в жизни встречаю такого утомительного собеседника. Через десять минут у меня начало стучать в висках. Это какой-то демон, не знающий покоя!

– Я так и подумал, что он вам не понравится. Этот человек скользок, как угорь. Я ему не доверяю.

Овод снял дом за Римскими воротами, недалеко от Зиты. Он был, очевидно, большой сибарит. Обстановка его квартиры, правда, не поражала роскошью, но во всех мелочах сказывались любовь к изящному и прихотливый, тонкий вкус, что очень удивляло Галли и Риккардо. От человека, прожившего не один год на берегах Амазонки, они ждали большей простоты привычек и недоумевали, глядя на его дорогие галстуки, множество ботинок и букеты цветов, постоянно стоявшие у него на письменном столе. Но в общем они с ним ладили. Овод дружелюбно и радушно принимал гостей, особенно членов местной организации партии Мадзини. Но Джемма, по-видимому, представляла исключение из этого правила: он невзлюбил её с первой же встречи и всячески избегал её общества, а в двух-трех случаях даже был резок с ней, чем сильно восстановил против себя Мартини. Овод и Мартини с самого начала не понравились друг другу; у них были настолько разные характеры, что ничего, кроме неприязни, они друг к другу чувствовать не могли. Но у Мартини эта неприязнь скоро перешла в открытую вражду.

– Меня мало интересует, как он ко мне относится, – раздражённо сказал однажды Мартини. – Я сам его не люблю, так что никто из нас не в обиде. Но его отношение к вам непростительно. Я бы потребовал у него объяснений по этому поводу, но боюсь скандала: не ссориться же с ним после того, как мы сами его сюда пригласили.

– Не сердитесь, Чезаре. Это все неважно. Да к тому же я сама виновата не меньше Овода.

– В чём же вы виноваты?

– В том, что он меня так невзлюбил. Когда мы встретились с ним в первый раз на вечере у Грассини, я сказала ему грубость.

– Вы сказали грубость? Не верю, мадонна!

– Конечно, это вышло нечаянно, и я сама была очень огорчена. Я сказала, что нехорошо смеяться над калеками, а он услышал в этом намёк на себя. Мне и в голову не приходило считать его калекой: он вовсе не так уж изуродован.

– Разумеется. Только одно плечо выше другого да левая рука порядком искалечена, но он не горбун и не кривоногий. Немного прихрамывает, но об этом и говорить не стоит.

– Я помню, как он тогда вздрогнул и побледнел. С моей стороны это была, конечно, ужасная бестактность, но всё-таки странно, что он так чувствителен. Вероятно, ему часто приходилось страдать от подобных насмешек.

– Гораздо легче себе представить, как он сам насмехается над другими. При всём изяществе своих манер он по натуре человек грубый, и это противно.

– Вы несправедливы, Чезаре. Мне Риварес тоже не нравится, но зачем же преувеличивать его недостатки? Правда, у него аффектированная и раздражающая манера держаться – виной этому, очевидно, избалованность. Правда и то, что вечное острословие страшно утомительно. Но я не думаю, чтобы он делал все это с какой-нибудь дурной целью.

– Какая у него может быть цель, я не знаю, но в человеке, который вечно все высмеивает, есть что-то нечистоплотное. Противно было слушать, как на одном собрании у Фабрицци он глумился над последними реформами в Риме^[57]. Ему, должно быть, во всём хочется найти какой-то гадкий мотив.

Джемма вздохнула.

– В этом пункте я, пожалуй, скорее соглашусь с ним, чем с вами, – сказала она. – Вы все легко предаётесь радужным надеждам, вы склонны думать, что, если папский престол займёт добродушный господин средних лет, всё остальное приложится: он откроет двери тюрем,

раздаст свои благословения направо и налево – и через каких-нибудь три месяца наступит золотой век. Вы будто не понимаете, что папа при всём своём желании не сможет водворить на земле справедливость. Дело здесь не в поступках того или другого человека, а в неверном принципе.

– Какой же это неверный принцип? Светская власть папы?

– Почему? Это частность. Дурно то, что одному человеку даётся право казнить и миловать. На такой ложной основе нельзя строить отношения между людьми.

Мартини умоляюще воздел руки.

– Пощадите, мадонна! – сказал он смеясь. – Эти парадоксы мне не по силам. Бьюсь об заклад, что в семнадцатом веке ваши предки были левеллеры^[58]! Кроме того, я пришёл не спорить, а показать вам вот эту рукопись.

Мартини вынул из кармана несколько листков бумаги.

– Новый памфлет?

– Ещё одна нелепица, которую этот Риварес представил ко вчерашнему заседанию комитета. Чувствую я, что скоро у нас с ним дойдёт до драки.

– Да в чём же дело? Право, Чезаре, вы предубеждены против него. Риварес, может быть, неприятный человек, но он не дурак.

– Я не отрицаю, что памфлет написан неглупо, но прочтите лучше сами.

В памфлете высмеивались бурные восторги, которые все ещё вызывал в Италии новый папа. Написан он был язвительно и злобно, как всё, что выходило из-под пера Овода; но как ни раздражал Джемму его стиль, в глубине души она не могла не признать справедливости такой критики.

– Я вполне согласна с вами, что это злопыхательство отвратительно, – сказала она, положив рукопись на стол. – Но ведь это все правда – вот что хуже всего!

– Джемма!

– Да, это так. Называйте этого человека скользким угрем, но правда на его стороне. Бесплезно убеждать себя, что памфлет не попадает в цель. Попадает!

– Вы, пожалуй, скажете, что его надо напечатать?

– А это другой вопрос. Я не думаю, что его следует печатать в таком виде. Он оскорбит и оттолкнёт от нас решительно всех и не принесёт никакой пользы. Но если Риварес переделает его немного, выбросив нападки личного характера, тогда это будет действительно ценная вещь. Политическая часть памфлета превосходна. Я никак не ожидала, что Риварес может писать так хорошо. Он говорит именно то, что следует, то, чего не решаемся сказать мы. Как великолепно написана, например, вся та часть, где он сравнивает Италию с пьяницей, проливающим слезы миленья на плече у вора, который обшаривает его карманы!

– Джемма! Да ведь это самое худшее место во всём памфлете! Я не выношу такого огульного облаивания всех и вся.

– Я тоже. Но не в этом дело. У Ривареса очень неприятный стиль, да и сам он человек непривлекательный, но когда он говорит, что мы одурманиваем себя торжественными процессиями, братскими лобызаниями и призывами к любви и миру и что иезуиты и санфедисты сумеют обратить все это в свою пользу, он тысячу раз прав. Жаль, что я не попала на вчерашнее заседание комитета. На чём же вы в конце концов остановились?

– Да вот за этим я и пришёл: вас просят сходить к Риваресу и убедить его, чтобы он смягчил свой памфлет.

– Сходить к нему? Но я его почти не знаю. И кроме того, он ненавидит меня. Почему же непременно я должна идти, а не кто-нибудь другой?

– Да просто потому, что всем другим сегодня некогда. А кроме того, вы самая

благоразумная из нас: вы не заведёте бесполезных пререканий и не поссоритесь с ним.

– От этого я воздержусь, конечно. Ну хорошо, если хотите, я схожу к нему, но предупреждаю: надежды на успех мало.

– А я уверен, что вы сумеете уломать его. И скажите ему, что комитет восхищается памфлетом как литературным произведением. Он сразу подбодрится от такой похвалы, и притом это совершенная правда.

* * *

Овод сидел у письменного стола, заставленного цветами, и рассеянно смотрел на пол, держа на коленях развёрнутое письмо. Лохматая шотландская овчарка, лежавшая на ковре у его ног, подняла голову и зарычала, когда Джемма постучалась в дверь. Овод поспешно встал и отвесил гостю сухой, церемонный поклон. Лицо его вдруг словно окаменело, утратив всякое выражение.

– Вы слишком любезны, – сказал он ледяным тоном. – Если бы мне дали знать, что вы хотите меня видеть, я бы сейчас же явился к вам.

Чувствуя, что он мысленно проклинает её, Джемма сразу приступила к делу. Овод опять поклонился и подвинул ей кресло.

– Я пришла к вам по поручению комитета, – начала она. – Там возникли некоторые разногласия насчёт вашего памфлета.

– Я так и думал. – Он улыбнулся и, сев против неё, передвинул на столе большую вазу с хризантемами так, чтобы заслонить от света лицо.

– Большинство членов, правда, в восторге от памфлета как от литературного произведения, но они находят, что в теперешнем виде печатать его неудобно. Резкость тона может оскорбить людей, чья помощь и поддержка так важны для партии.

Овод вынул из вазы хризантему и начал медленно обрывать один за другим её белые лепестки. Взгляд Джеммы случайно остановился на его правой руке, и тревожное чувство овладело ею – словно она уже видела когда-то раньше эти тонкие пальцы.

– Как литературное произведение памфлет мой ничего не стоит, – проговорил он ледяным тоном, – и с этой точки зрения им могут восторгаться только те, кто ничего не смыслит в литературе. А что он оскорбителен – так ведь я этого и хотел.

– Я понимаю. Но дело в том, что ваши удары могут попасть не в тех, в кого нужно.

Овод пожал плечами и прикусил оторванный лепесток.

– По-моему, вы ошибаетесь, – сказал он. – Вопрос стоит так: для чего пригласил меня ваш комитет? Кажется, для того, чтобы вывести иезуитов на чистую воду и высмеять их. Эту обязанность я и выполняю по мере своих способностей.

– Могу вас уверить, что никто не сомневается ни в ваших способностях, ни в вашей доброй воле. Но комитет боится, как бы памфлет не оскорбил либеральную партию и не лишил нас моральной поддержки рабочих. Ваш памфлет направлен против санфедистов, но многие из читателей подумают, что вы имеете в виду церковь и нового папу, а это по тактическим соображениям комитет считает нежелательным.

– Теперь я начинаю понимать. Пока я нападаю на тех господ из духовенства, с которыми партия в дурных отношениях, мне разрешается говорить всю правду. Но как только я коснусь священников – любимцев комитета, тогда оказывается – «правду всегда гонят из дому, как сторожевую собаку, а святой отец пусть нежится у камина и...»^[59]. Да шут был прав, но из меня шута не получится. Конечно, я подчинюсь решению комитета, но всё же мне думается, что он

обращает внимание на мелочи и проглядел самое главное: м-монсеньёра^[60] М-монтан-нелли.

– Монтанелли? – повторила Джемма. – Я вас не понимаю... Вы говорите о епископе Бризигеллы?

– Да. Новый папа только что назначил его кардиналом. Вот – я получил письмо. Не хотите ли послушать? Пишет один из моих друзей, живущих по ту сторону границы.

– Какой границы. Папской области?

– Да. Вот что он пишет.

Овод снова взял письмо, которое было у него в руках, когда вошла Джемма, и начал читать, сильно заикаясь:

– «В-вы скоро б-будете иметь удовольствие встретиться с одним из наших злейших врагов, к-кардиналом Л-лоренцо М-монтанелли, епископом Бриз-зигеллы. Он...»

Овод оборвал чтение и минуту молчал. Затем продолжал медленно, невыносимо растягивая слова, но уже не заикаясь:

– «Он намеревается посетить Тоскану в будущем месяце. Приедет туда с особо важной миссией „примирения“. Будет проповедовать сначала во Флоренции, где проживёт недели три, поедет в Сиену и в Пизу и, наконец, через Пистойю^[61] возвратится в Романью^[62]. Он открыто примкнул к либеральному направлению в церковных кругах. Личный друг папы и кардинала Феретти^[63]. При папе Григории был в немилости, и его держали вдали, в каком-то захолустье в Апеннинах. Теперь Монтанелли быстро выдвинулся. В сущности, он, конечно, пляшет под дудку иезуитов, как и всякий санфедист. Возложенная на него миссия тоже подсказана отцами иезуитами. Он один из самых блестящих проповедников католической церкви и приносит не меньше вреда, чем Ламбручини. Его задача – поддерживать как можно дольше всеобщие восторги по поводу избрания нового папы и занять таким образом внимание общества, пока великий герцог не подпишет подготавливаемый агентами иезуитов декрет. В чём состоит этот декрет, мне не удалось узнать». Теперь дальше: «Понимает ли Монтанелли, с какой целью его посылают в Тоскану, или он просто игрушка в руках иезуитов, разобрать трудно. Он или необыкновенно умный негодяй, или величайший осел. Но самое странное то, что, насколько мне известно, Монтанелли не берет взяток и у него нет любовницы, – случай беспрецедентный!»

Овод отложил письмо в сторону и сидел, глядя на Джемму полузакрытыми глазами в ожидании, что она скажет.

– Вы уверены, что ваш корреспондент точно передаёт факты? – спросила она после паузы.

– Относительно безупречности личной жизни монсеньёра М-монтанелли? Нет. Но ведь он и сам в этом не уверен. Помните его оговорку «насколько мне известно»?..

– Я не об этом, – холодно перебила его Джемма. – Меня интересует то, что написано о возложенной на Монтанелли миссии.

– Да, в этом я вполне могу положиться на своего корреспондента. Это мой старый друг, один из товарищей по сорок третьему году. А теперь он занимает положение, которое даёт ему исключительные возможности разузнавать о такого рода вещах.

«Какой-нибудь чиновник в Ватикане, – промелькнуло в голове у Джеммы. – Так вот какие у него связи! Я, впрочем, так и думала».

– Письмо это, конечно, частного характера, – продолжал Овод, – и вы понимаете, что содержание его никому, кроме членов вашего комитета, не должно быть известно.

– Само собой разумеется. Но вернёмся к памфлету. Могу ли я сказать товарищам, что вы согласны сделать кое-какие поправки, немного смягчить тон, или...

– А вы не думаете, синьора, что поправки могут не только ослабить силу сатиры, но и уничтожить красоту «литературного шедевра»?

– Вы спрашиваете о моём личном мнении, а я пришла говорить с вами от имени комитета.

Он спрятал письмо в карман и, наклонившись вперёд, смотрел на неё внимательным пытливым взглядом, совершенно изменившим выражение его лица.

– Вы думаете, что...

– Если вас интересует, что думаю я лично, извольте: я не согласна с большинством в обоих пунктах. Я вовсе не восхищаюсь памфлетом с литературной точки зрения, но нахожу, что он правильно освещает факты и поможет нам разрешить наши тактические задачи.

– То есть?

– Я вполне согласна с вами, что Италия тянется к блуждающим огонькам и что все эти восторги и ликования заведут её в бездонную трясику. Меня бы порадовало, если бы это было сказано открыто и смело, хотя бы с риском оскорбить и оттолкнуть некоторых из наших союзников. Но как член организации, большинство которой держится противоположного взгляда, я не могу настаивать на своём личном мнении. И, разумеется, я тоже считаю, что если уж говорить, то говорить беспристрастно и спокойно, а не таким тоном, как в этом памфлете.

– Вы подождёте минутку, пока я просмотрю рукопись?

Он взял памфлет, пробежал его от начала до конца и недовольно нахмурился:

– Да, вы правы. Это кафешантанная дешёвка, а не политическая сатира. Но что поделаешь? Напиши я в благопристойном тоне, публика не поймёт. Если не будет злословия, покажется скучно.

– А вы не думаете, что злословие тоже нагоняет скуку, если оно преподносится в слишком больших дозах?

Он посмотрел на неё быстрым пронизывающим взглядом и расхохотался:

– Вы, синьора, по-видимому, из категории тех ужасных людей, которые всегда правы. Но если я не устою против искушения и предамся злословию, то стану в конце концов таким же нудным, как синьора Грассини. Небо, какая судьба! Нет, не хмурьтесь! Я знаю, что вы меня не любите, и возвращаюсь к делу. Положение, следовательно, таково. Если я выброшу все личные нападки и оставлю самую существенную часть как она есть, комитет выразит сожаление, что не сможет напечатать этот памфлет под свою ответственность; если же я пожертвую правдой и направлю все удары на отдельных врагов партии, комитет будет превозносить моё произведение, а мы с вами будем знать, что его не стоит печатать. Вопрос чисто метафизический. Что лучше: попасть в печать, не стоя того, или, вполне заслуживая опубликования, остаться под спудом? Что скажет на это синьора?

– Я не думаю, чтобы вопрос стоял именно так. Если вы отбросите личности, комитет согласится напечатать памфлет, хотя, конечно, многие будут против него. И, мне кажется, он принесёт пользу. Но вы должны смягчить тон. Уж если преподносить читателю такую пилюлю, так не надо отпугивать его с самого начала резкостью формы.

Овод пожал плечами и покорно вздохнул:

– Я подчиняюсь, синьора, но с одним условием. Сейчас вы лишаете меня права смеяться, но в недалёком будущем я им воспользуюсь. Когда его преосвященство, безгрешный кардинал, появится во Флоренции, тогда ни вы, ни ваш комитет не должны мешать мне злословить, сколько я захочу. Это уж моё право!

Он говорил самым небрежным и холодным тоном и, то и дело вынимая хризантемы из вазы, рассматривал на свет прозрачные лепестки. «Как у него дрожит рука! – думала Джемма, глядя на колеблющиеся цветы. – Неужели он пьёт?»

– Вам лучше поговорить об этом с другими членами комитета, – сказала она, вставая. – Я не могу предугадать, как они решат.

– А как бы решили вы? – Он тоже поднялся и стоял, прижимая цветы к лицу.

Джемма колебалась. Вопрос этот смутил её, всколыхнул горькие воспоминания.

– Я, право, не знаю, – сказала она наконец. – В прежние годы мне приходилось не раз слышать о монсеньёре Монтанелли. Он был тогда каноником и ректором духовной семинарии в том городе, где я жила в детстве. Мне много рассказывал о нём один... человек, который знал его очень близко. Я никогда не слышала о Монтанелли ничего дурного и считала его замечательной личностью. Но это было давно, с тех пор он мог измениться. Бесконтрольная власть развращает людей.

Овод поднял голову и, посмотрев ей прямо в глаза, сказал:

– Во всяком случае, если монсеньёр Монтанелли сам и не подлец, то он орудие в руках подлецов. Но для меня и для моих друзей за границей это всё равно. Камень, лежащий на дороге, может иметь самые лучшие намерения, но всё-таки его надо убрать... Позвольте, синьора. – Он позвонил, подошёл, прихрамывая, к двери и открыл её. – Вы очень добры, синьора, что зашли ко мне. Послать за коляской?.. Нет? До свидания... Бианка, проводите, пожалуйста, синьору.

Джемма вышла на улицу в тревожном раздумье.

«Мои друзья за границей». Кто они? И какими средствами думает он убрать с дороги камень? Если только сатирой, то почему его глаза так угрожающе вспыхнули?

Монсеньёр Монтанелли приехал во Флоренцию в первых числах октября. Его приезд вызвал в городе заметное волнение. Он был знаменитый проповедник и представитель нового течения в католических кругах. Все ждали, что Монтанелли скажет слова любви и мира, которые уврачуют все скорби Италии. Назначение кардинала Гицци государственным секретарём Папской области вместо ненавистного всем Ламбручини довело всеобщий восторг до предела. И Монтанелли был как раз человеком, способным поддержать это восторженное настроение. Безупречность его жизни была настолько редким явлением среди высших католических сановников, что одно это привлекало к нему симпатии народа, привыкшего считать вымогательства, подкупы и бесчестные интриги почти необходимым условием карьеры служителей церкви. Кроме того, у него был действительно замечательный талант проповедника, а красивый голос и большое личное обаяние неизменно служили ему залогом успеха.

Грассини, как всегда, выбивался из сил, чтобы залучить к себе новую знаменитость. Но сделать это было не так-то легко: на все приглашения Монтанелли отвечал вежливым, но решительным отказом, ссылаясь на плохое здоровье и недосуг.

– Вот всеядные животные эти супруги Грассини! – с презрением сказал Мартини Джемме, проходя с нею через площадь Синьории ясным и прохладным воскресным утром. – Вы заметили, какой поклон он отвесил коляске кардинала? Им всё равно, что за человек, лишь бы о нём говорили. В жизни своей не видел таких охотников за знаменитостями. Ещё недавно, в августе, – Овод, а теперь – Монтанелли. Надеюсь, что его преосвященство чувствует себя польщённым таким вниманием. Он делит его с целой оравой авантюристов.

Они слушали проповедь Монтанелли в кафедральном соборе. Громадный храм был так переполнен народом, жаждавшим послушать знаменитого проповедника, что, боясь, как бы у Джеммы не разболелась голова, Мартини убедил её уйти до конца службы. Обрадовавшись первому солнечному утру после проливных дождей, он предложил ей погулять по зелёным склонам холмов у Сан-Никколо.

– Нет, – сказала она, – я охотно пройду, если у вас есть время, но только не в ту сторону. Пойдёмте лучше к мосту; там будет проезжать Монтанелли на обратном пути из собора, а мне, как и Грассини, хочется посмотреть на знаменитость.

– Но вы ведь только что его видели.

– Издали. В соборе была такая давка... а когда он подъезжал, мы стояли сзади. Надо подойти поближе к мосту, тогда разглядим его как следует. Он остановился на Лунг-Арно.

– Но почему вам вдруг так захотелось увидеть Монтанелли? Вы раньше никогда не интересовались знаменитыми проповедниками.

– Меня и теперь интересует не проповедник, а человек. Хочу посмотреть, очень ли он изменился с тех пор, как я видела его в последний раз.

– А когда это было?

– Через два дня после смерти Артура.

Мартини с тревогой взглянул на неё. Они шли к мосту, и Джемма смотрела на воду тем ничего не видящим взглядом, который всегда так пугал его.

– Джемма, дорогая, – сказал он минуту спустя, – неужели эта печальная история будет преследовать вас всю жизнь? Все мы делаем ошибки в семнадцать лет.

– Но не каждый из нас в семнадцать лет убивает своего лучшего друга, – ответила она усталым голосом и облокотилась о каменный парапет.

Мартини замолчал: он боялся говорить с ней, когда на неё находило такое настроение.

– Как увижу воду, так сразу вспоминаю об этом, – продолжала Джемма, медленно поднимая глаза, и затем добавила с нервной дрожью: – Пойдёмте, Чезаре, здесь холодно.

Они молча перешли мост и свернули на набережную. Через несколько минут Джемма снова заговорила:

– Какой красивый голос у этого человека! В нём есть то, чего нет ни в каком другом человеческом голосе. В этом, я думаю, секрет его обаяния.

– Да, голос чудесный, – подхватил Мартини, пользуясь возможностью отвлечь её от страшных воспоминаний, навеянных видом реки. – Да и помимо голоса, это лучший из всех проповедников, каких мне приходилось слышать. Но я думаю, что секрет обаяния Монтанелли кроется глубже: в безупречной жизни, так отличающей его от остальных сановников церкви. Едва ли кто укажет другое высокое духовное лицо во всей Италии, кроме разве самого папы, с такой незапятнанной репутацией. Помню, в прошлом году, когда я ездил в Романью, мне пришлось побывать в епархии Монтанелли, и я видел, как суровые горцы ожидали его под дождём, чтобы только взглянуть на него или коснуться его одежды. Они чтут Монтанелли почти как святого, а это очень много значит: ведь в Романье ненавидят всех, кто носит сутану. Я сказал одному старику крестьянину, типичнейшему контрабандисту, что народ, как видно, очень предан своему епископу, и он мне ответил: «Попов мы не любим, все они лгуны. Мы любим монсеньёра Монтанелли. Он не лжёт нам, и он справедлив».

– Любопытно, – сказала Джемма, скорее размышляя вслух, чем обращаясь к Мартини, – известно ли ему, что о нём думают в народе?

– Наверно, известно. А вы полагаете, что это неправда?

– Да, неправда.

– Откуда вы знаете?

– Он сам мне сказал.

– Он? Монтанелли? Джемма, когда это было?

Она откинула волосы со лба и повернулась к нему. Они снова остановились. Мартини облокотился о парапет, а Джемма медленно чертила зонтиком по камням.

– Чезаре, мы с вами старые друзья, но я никогда не рассказывала вам, что в действительности произошло с Артуром.

– И не надо рассказывать, дорогая, – поспешно остановил её Мартини. – Я все знаю.

– От Джиованни?

– Да. Он рассказал мне об Артуре незадолго до своей смерти, как-то ночью, когда я сидел у его постели... Джемма, дорогая, раз мы начали этот разговор, то лучше уж сказать вам всю правду... Он говорил, что вас постоянно мучит воспоминание об этой трагедии, и просил меня быть вам другом и стараться отвлекать вас от тяжёлых мыслей. И я делал, что мог, хотя, кажется, безуспешно.

– Я знаю, – ответила она тихо, подняв на него глаза. – Плохо бы мне пришлось без вашей дружбы... А о монсеньёре Монтанелли Джиованни вам тогда ничего не говорил?

– Нет. Я и не знала, что Монтанелли имеет какое-то отношение к этой истории. Он рассказал мне только о доносе и...

– И о том, что я ударила Артура и он утопился? Хорошо, так теперь я расскажу вам о Монтанелли.

Они повернули назад к мосту, через который должна была проехать коляска кардинала. Джемма начала рассказывать, не отводя глаз от воды:

– Монтанелли был тогда каноником и ректором духовной семинарии в Пизе. Он давал Артуру уроки философии и, когда Артур поступил в университет, продолжал заниматься с ним. Они очень любили друг друга и были похожи скорее на влюблённых, чем на учителя и ученика.

Артур боготворил землю, по которой ступал Монтанелли, и я помню, как он сказал мне однажды, что утопится, если лишится своего padre. Так он всегда называл Монтанелли, Ну, про донос вы знаете... На следующий день мой отец и Бертоны – сводные братья Артура, отвратительнейшие люди – целый день пробыли на реке, отыскивая труп, а я сидела у себя в комнате и думала о том, что я сделала...

Несколько секунд Джемма молчала.

– Поздно вечером ко мне зашёл отец и сказал: «Джемма, дитя моё, сойди вниз; там пришёл какой-то человек: ему нужно видеть тебя». Мы спустились в приёмную. Там сидел студент, один из членов нашей группы. Бледный, весь дрожа, он рассказал мне о втором письме Джиованни, в котором было написано всё, что заключённые узнали от одного надзирателя о Карди, который выманил у Артура признание на исповеди. Помню, студент мне сказал: «Одно только утешение: теперь мы верим, что Артур не был виновен». Отец держал меня за руки, старался успокоить. Тогда он ещё не знал о пощёчине. Я вернулась к себе в комнату и провела всю ночь без сна. Утром отец и Бертоны снова отправились в гавань. У них ещё оставалась надежда найти тело.

– Но ведь его не нашли.

– Не нашли. Должно быть, унесло в море, но они не оставляли поисков. Я была у себя в комнате, и вдруг приходит служанка и говорит: «Сейчас заходил какой-то священник и, узнав, что ваш отец в гавани, ушёл». Я догадалась, что это Монтанелли, выбежала чёрным ходом и догнала его у садовой калитки. Когда я сказала ему: «Отец Монтанелли, мне нужно с вами поговорить», он остановился и молча посмотрел на меня. Ах, Чезаре, если бы вы видели тогда его лицо! Оно стояло у меня перед глазами долгие месяцы! Я сказала ему: «Я дочь доктора Уоррена. Это я убила Артура». И призналась ему во всём, а он стоял неподвижно, словно окаменев, и слушал меня. Когда я кончила, он сказал: «Успокойтесь, дитя моё: не вы убили Артура, а я. Я обманывал его и он узнал об этом». Сказал – и быстро вышел из сада, не прибавив больше ни слова.

– А потом?

– Я не знаю, что было с ним потом. Слышала только в тот же вечер, что он упал на улице в припадке, – это было недалеко от гавани, и его внесли в один из ближайших домов. Больше я ничего не знаю. Мой отец сделал для меня всё, что мог. Когда я рассказала ему обо всём, он сейчас же бросил практику и увёз меня в Англию, где ничто не могло напоминать мне о прошлом... Он боялся, как бы я тоже не бросилась в воду, и, кажется, я действительно была близка к этому. А потом, когда обнаружилось, что отец болен раком, мне пришлось взять себя в руки – ведь, кроме меня, ухаживать за ним было некому. После его смерти малыши остались у меня на руках, пока мой старший брат не взял их к себе. Потом приехал Джиованни. Знаете, первое время мы просто боялись встречаться: между нами стояло это страшное воспоминание. Он горько упрекал себя за то, что и на нём лежит тяжкая вина – письмо, которое он написал из тюрьмы. Но я думаю, что именно общее горе и сблизило нас.

Мартини улыбнулся и покачал головой.

– Может быть, с вашей стороны так и было, – сказал он, – но для Джиованни все решилось с первой же встречи. Я помню, как он вернулся в Милан после своей поездки в Ливорно. Он просто бредил вами и так много говорил об англичанке Джемме, что чуть не уморил меня. Я думал, что возненавижу вас... А вот и кардинал!

Карета проехала по мосту и остановилась у большого дома на набережной, Монтанелли сидел, откинувшись на подушки. Он, видимо, был очень утомлён и не заметил восторженной толпы, собравшейся у дверей, чтобы взглянуть на него. Вдохновение, озарявшее это лицо в соборе, угасло, и теперь, при ярком солнечном свете, на нём были видны следы забот и усталости. Когда он вышел из кареты и тяжёлой, старческой походкой поднялся по ступенькам,

Джемма повернулась и медленно зашагала к мосту. На её лице словно отразился потухший, безнадежный взгляд Монтанелли. Мартини молча шёл рядом с ней.

– Меня часто занимала мысль, – заговорила она снова, – в чём он мог обманывать Артура? И мне иногда приходило в голову...

– Да?

– Может быть, это нелепость... но между ними такое поразительное сходство...

– Между кем?

– Между Артуром и Монтанелли. И не я одна это замечала. Кроме того, в отношениях между членами этой семьи было что-то загадочное. Миссис Бёртон, мать Артура, была одной из самых милых женщин, каких я знала. Такое же одухотворённое лицо, как у Артура; да и характером, мне кажется, они были похожи. Но она всегда казалась испуганной, точно уличённая преступница. Жена её пасынка обращалась с ней так, как порядочные люди не обращаются даже с собакой. А сам Артур был совсем не похож на всех этих вульгарных Бертонов... В детстве, конечно, многое принимаешь как должное, но потом мне часто приходило в голову, что Артур – не Бёртон.

– Возможно, он узнал что-нибудь о матери, и это было причиной его самоубийства, а совсем не предательство Карди, – сказал Мартини, пытаясь хоть как-нибудь утешить Джемму.

Но она покачала головой:

– Если бы вы видели, Чезаре, какое у него было лицо, когда я его ударила, вы бы не стали так говорить. Догадки о Монтанелли, может быть, и верны – в них нет ничего неправдоподобного... Но что я сделала, то сделала.

Несколько минут они шли молча.

– Дорогая, – заговорил наконец Мартини, – если бы у вас была хоть малейшая возможность изменить то, что сделано, тогда стоило бы задумываться над старыми ошибками. Но раз их нельзя исправить – пусть мёртвые оплакивают мёртвых. История эта ужасна. Впрочем, бедный юноша, пожалуй, счастливее многих из оставшихся в живых, которые сидят теперь по тюрьмам или томятся в изгнании. Вот о ком надо думать. Мы не вправе отдавать все наши помыслы мертвецам. Вспомните, что говорил ваш любимый Шелли^[64]: «Что было – смерти, будущее – мне». Берите его, пока оно ваше, и думайте не о том дурном, что вами когда-то сделано, а о том хорошем, что вы ещё можете сделать.

Забывшись, Мартини взял Джемму за руку и сейчас же отпустил её, услышав позади холодный мурлыкающий голос.

– Монсеньёр Монтанелли, – томно протянул этот голос, – обладает всеми теми добродетелями, почтеннейший доктор, о которых вы говорите. Он даже слишком хорош для нашего грешного мира, и его следовало бы вежливо препроводить в другой. Я уверен, что он произвёл бы там такую же сенсацию, как и здесь. На небесах, вероятно, немало духов, никогда ещё не выдавших такой диковинки, как честный кардинал, А духи – большие охотники до новинок...

– Откуда вы это знаете? – послышался голос Риккардо, в котором звучала нота плохо сдерживаемого раздражения.

– Из священного писания, мой дорогой. Если верить евангелию, то даже самый почтенный дух имел склонность к весьма причудливым сочетаниям. А честность и к-кардинал, по-моему, весьма причудливое сочетание, такое же неприятное на вкус, как раки с мёдом... А! Синьор Мартини и синьора Болла! Как хорошо после дождя, не правда ли? Вы тоже слушали н-нового Савонаролу^[65]?

Мартини быстро обернулся. Овод, с сигарой во рту и с оранжерейным цветком в петлице, протягивал ему свою узкую руку, обтянутую лайковой перчаткой. Теперь, когда солнце весело

играло на его элегантных ботинках и освещало его улыбающееся лицо, он показался Мартини не таким безобразным, но ещё более самодовольным. Они пожали друг другу руку: один приветливо, другой угрюмо. В эту минуту Риккардо вдруг воскликнул:

– Вам дурно, синьора Болла!

По лицу Джеммы, прикрытому полями шляпы, разлилась мертвенная бледность; ленты, завязанные у горла, вздрагивали в такт биению сердца.

– Я поеду домой, – сказала она слабым голосом.

Подозвали коляску, и Мартини сел с Джеммой, чтобы проводить её до дому. Поправляя плащ Джеммы, свесившийся на колесо, Овод вдруг поднял на неё глаза, и Мартини заметил, что она отшатнулась от него с выражением ужаса на лице.

– Что с вами, Джемма? – спросил он по-английски, как только они отъехали. – Что вам сказал этот негодяй?

– Ничего, Чезаре. Он тут ни при чём... Я... испугалась.

– Испугались?

– Да!.. Мне почудилось...

Джемма прикрыла глаза рукой, и Мартини молча ждал, когда она снова придёт в себя. И наконец лицо её порозовело.

– Вы были совершенно правы, – повернувшись к нему, сказала Джемма своим обычным голосом, – оглядываться на страшное прошлое бесполезно. Это так расшатывает нервы, что начинаешь воображать бог знает что. Никогда не будем больше говорить об этом, Чезаре, а то я во всяком встречном начну видеть сходство с Артуром. Это точно галлюцинация, какой-то кошмар среди бела дня. Представьте: сейчас, когда этот противный фат подошёл к нам, мне показалось, что я вижу Артура.

Овод, несомненно, умел наживать личных врагов. В августе он приехал во Флоренцию, а к концу октября уже три четверти комитета, пригласившего его, были о нём такого же мнения, как и Мартини. Даже его поклонники были недовольны свирепыми нападками на Монтанелли, и сам Галли, который сначала готов был защищать каждое слово остроумного сатирика, начинал смущённо признавать, что кардинала Монтанелли лучше было бы оставить в покое: «Честных кардиналов не так уж много, с ними надо обращаться повежливее».

Единственный, кто оставался, по-видимому, равнодушным к этому граду карикатур и пасквилей, был сам Монтанелли. Не стоило даже тратить труда, говорил Мартини, на то, чтобы высмеивать человека, который относится к этому так благодушно. Рассказывали, будто, принимая у себя архиепископа флорентийского, Монтанелли нашёл в комнате один из злых пасквилей Овода, прочитал его от начала до конца и передал архиепископу со словами: «А ведь не глупо написано, не правда ли?»

В начале октября в городе появился памфлет, озаглавленный «Тайна благовещения». Если бы даже под ним не стояло уже знакомой читателям «подписи» – овода с распростёртыми крылышками, – большинство сразу догадалось бы, кому принадлежит этот памфлет, по его язвительному, желчному тону. Он был написан в форме диалога между девой Марией – Тосканой, и Монтанелли – ангелом, который возвещал пришествие иезуитов, держа в руках оливковую ветвь мира и белоснежные лилии – символ непорочности. Оскорбительные намёки и дерзкие догадки встречались там на каждом шагу. Вся Флоренция возмущалась несправедливостью и жестокостью этого пасквиля! И тем не менее, читая его, вся Флоренция хохотала до упаду. В серьёзном тоне, с которым преподносились все эти нелепости, было столько комизма, что самые свирепые противники Овода восхищались памфлетом заодно с его горячими поклонниками. Несмотря на свою отталкивающую грубость, эта сатира оказала известное действие на умонастроение в городе. Репутация Монтанелли была слишком высока, чтобы её мог поколебать какой-то пасквиль, пусть даже самый остроумный, и всё же общественное мнение чуть не обернулось против него. Овод знал, куда ужалить, и хотя карету Монтанелли по-прежнему встречали и провожали толпы народа, сквозь приветственные возгласы и благословения часто прорывались зловещие крики: «Иезуит!», «Санфедистский шпион!»

Но у Монтанелли не было недостатка в приверженцах. Через два дня после выхода памфлета влиятельный клерикальный орган «Церковнослужитель» поместил блестящую статью «Ответ на „Тайну благовещения“, подписанную „Сын церкви“. Это была вполне объективная защита Монтанелли от клеветнических выпадов Овода. Анонимный автор начинал с горячего и красноречивого изложения доктрины „на земле мир и в человеках благоволение“, провозвестником которой был новый папа, требовал от Овода, чтобы тот подкрепил доказательствами хотя бы один из своих поклепов, и под конец заклинал читателей не верить презренному клеветнику. По убедительности приводимых доводов и по своим литературным достоинствам „Ответ“ был намного выше обычного уровня газетных статей, и им заинтересовался весь город, тем более что даже редактор „Церковнослужителя“ не знал, кто скрывается под псевдонимом „Сын церкви“. Статья вскоре вышла отдельной брошюрой, и об анонимном защитнике Монтанелли заговорили во всех кофейнях Флоренции.

Овод, в свою очередь, разразился яростными нападками на нового папу и его приспешников, а в особенности на Монтанелли, осторожно намекнув, что газетный панегирик был, по всей вероятности, им же и инспирирован. Анонимный защитник ответил на это

негодующим протестом. Poleмика между двумя авторами не прекращалась всё время, пока Монтанелли жил во Флоренции, и публика уделяла ей больше внимания, чем самому проповеднику.

Некоторые из членов либеральной партии пытались доказать Оводу всю неуместность его злобного тона по адресу Монтанелли, но ничего этим не добились. Слушая их, он только любезно улыбался и отвечал, чуть заикаясь:

– П-поистине, господа, вы не совсем добросовестны. Делая уступку синьоре Болле, я специально выговорил себе п-право посмеяться в своё удовольствие, когда приедет М-монтанелли. Таков был уговор.

В конце октября Монтанелли выехал к себе в епархию. Перед отъездом в прощальной проповеди он коснулся нагумевшей полемики, выразил сожаление по поводу излишней горячности обоих авторов и просил своего неизвестного защитника стать примером, заслуживающим подражания, то есть первым прекратить эту бессмысленную и недостойную словесную войну. На следующий день в «Церковнослужителе» появилась заметка, извещающая о том, что, исполняя желание монсеньера Монтанелли, высказанное публично, «Сын церкви» прекращает спор.

Последнее слово осталось за Оводом. «Обезоруженный христианской кротостью Монтанелли, – писал он в своём очередном памфлете, – я готов со слезами кинуться на шею первому встречному санфедисту и даже не прочь обнять своего анонимного противника! А если бы мои читатели знали – как знаем мы с кардиналом, – что под этим подразумевается и почему мой противник держит своё имя втайне, они уверовали бы в искренность моего раскаяния».

В конце ноября Овод сказал в комитете, что хочет съездить недели на две к морю, и уехал, – по-видимому, в Ливорно. Но когда вскоре туда же явился доктор Риккардо и захотел повидаться с ним, его нигде не оказалось. Пятого декабря в Папской области, вдоль всей цепи Апеннинских гор, начались бурные политические выступления, и многие стали тогда догадываться, почему Оводу вдруг пришла фантазия устроить себе каникулы среди зимы. Он вернулся во Флоренцию, когда восстание было подавлено, и, встретив на улице Риккардо, сказал ему любезным тоном:

– Я слышал, что вы справлялись обо мне в Ливорно, но я застрял в Пизе. Какой чудесный старинный город! В нём чувствуешь себя, точно в счастливой Аркадии^[66]!

На святках он присутствовал на собрании литературного комитета, происходившем в квартире доктора Риккардо. Собрание было весьма многолюдное, и когда Овод вошёл в комнату, с улыбкой прося извинить его за опоздание, для него не нашлось свободного места. Риккардо хотел было принести стул из соседней комнаты, но Овод остановил его:

– Не беспокойтесь, я отлично устроюсь.

Он подошёл к окну, возле которого сидела Джемма, и, сев на подоконник, прислонился головой к косяку.

Джемма чувствовала на себе загадочный, как у сфинкса, взгляд Овода, придававший ему сходство с портретами кисти Леонардо да Винчи^[67], и её инстинктивное недоверие к этому человеку усилилось, перешло в безотчётный страх.

На собрании, был поставлен вопрос о выпуске прокламации по поводу угрожающего Тоскане голода. Комитет должен был наметить те меры, какие следовало принять против этого бедствия. Прийти к определённомu решению было довольно трудно, потому что мнения, как всегда, резко разделились. Наиболее передовая часть комитета, к которой принадлежали Джемма, Мартини и Риккардо, высказывалась за обращение к правительству и к обществу с призывом немедленно оказать помощь крестьянам. Более умеренные, в том числе, конечно, и Грассини, опасались, что слишком энергичный тон обращения может только озлобить правительство, ни в чём не убедив его.

– Разумеется, господа, весьма желательно, чтобы помощь была оказана как можно скорее, – говорил Грассини, снисходительно поглядывая на волнующихся радикалов. – Но многие из нас тешат себя несбыточными мечтами. Если мы заговорим в таком тоне, как вы предлагаете, то очень возможно, что правительство не примет никаких мер, пока не наступит настоящий голод. Заставить правительство провести обследование урожая и то было бы шагом вперёд.

Галли, сидевший в углу около камина, не замедлил накинуться на своего противника:

– Шагом вперёд? Но когда голод наступит на самом деле, его этим не остановишь. Если мы пойдём такими шагами, народ перемерёт, не дождавшись нашей помощи.

– Интересно бы знать... – начал было Саккони.

Но тут с разных мест раздались голоса:

– Говорите громче: не слышно!

– И не удивительно, когда на улице такой адский шум! – сердито сказал Галли. – Окно закрыто, Риккардо? Я самого себя не слышу!

Джемма оглянулась.

– Да, – сказала она, – окно закрыто. Там, кажется, проезжает бродячий цирк.

Снаружи раздавались крики, смех, топот, звон колокольчиков, и ко всему этому примешивались ещё звуки скверного духового оркестра и беспощадная трескотня барабана.

– Теперь уж такие дни, приходится мириться с этим, – сказал Риккардо. – На святках всегда бывает шумно... Так что вы говорите, Саккони?

– Я говорю: интересно бы знать, что думают о борьбе с голодом в Пизе и в Ливорно. Может быть, синьор Риварес расскажет нам? Он как раз оттуда.

Овод не отвечал. Он пристально смотрел в окно и, казалось, не слышал, о чём говорили в комнате.

– Синьор Риварес! – окликнула его Джемма, сидевшая к нему ближе всех.

Овод не отозвался, и тогда она наклонилась и тронула его за руку. Он медленно повернулся к ней, и Джемма вздрогнула, поражённая страшной неподвижностью его взгляда. На одно мгновение ей показалось, что перед ней лицо мертвеца; потом губы Овода как-то странно дрогнули.

– Да, это бродячий цирк, – прошептал он.

Её первым инстинктивным движением было оградить Овода от любопытных взоров. Не понимая ещё, в чём дело, Джемма догадалась, что он весь – и душой и телом – во власти какой-то галлюцинации. Она быстро встала и, заслонив его собой, распахнула окно, как будто затем, чтобы выглянуть на улицу. Никто, кроме неё, не видел его лица.

По улице двигалась труппа бродячего цирка – клоуны верхом на ослах, арлекины ^[68] в пёстрых костюмах. Праздничная толпа масок, смеясь и толкаясь, обменивалась шутками, перебрасывалась серпантинном, швыряла мешочки с леденцами коломбине, которая восседала в повозке, вся в блёстках и перьях, с фальшивыми локонами на лбу и с застывшей улыбкой на подкрашенных губах. За повозкой толпой валили мальчишки, нищие, акробаты, выделявавшие на ходу всякие головокружительные трюки, и продавцы безделушек и сладостей. Все они смеялись и аплодировали кому-то, но кому именно, Джемма сначала не могла разглядеть. А потом она увидела, что это был горбатый, безобразный карлик в шутовском костюме и в бумажном колпаке с бубенчиками, забавлявший толпу страшными гримасами и кривлянием.

– Что там происходит? – спросил Риккардо, подходя к окну. – Чем вы так заинтересовались?

Его немного удивило, что они заставляют ждать весь комитет из-за каких-то комедиантов.

Джемма повернулась к нему.

– Ничего особенного, – сказала она. – Просто бродячий цирк. Но они так шумят, что я

подумала, не случилось ли там что-нибудь.

Она вдруг почувствовала, как холодные пальцы Овода сжали ей руку.

– Благодарю вас! – прошептал он, закрыл окно и, сев на подоконник, сказал шутливым тоном: – Простите, господа. Я загляделся на комедиантов. В-весьма любопытное зрелище.

– Саккони задал вам вопрос! – резко сказал Мартини.

Поведение Овода казалось ему нелепым ломанием, и он досадовал, что Джемма так бестактно последовала его примеру. Это было совсем не похоже на неё.

Овод заявил, что ему ничего не известно о настроениях в Пизе, так как он ездил туда только «отдохнуть». И тотчас же пустился рассуждать сначала об угрозе голода, затем о прокламации и под конец замучил всех потоком слов и заиканием. Казалось, он находил какое-то болезненное удовольствие в звуках собственного голоса.

Когда собрание кончилось и члены комитета стали расходиться, Риккардо подошёл к Мартини:

– Оставайтесь обедать. Фабрицци и Саккони тоже останутся.

– Благодарю, но я хочу проводить синьору Боллу.

– Вы, кажется, опасаетесь, что я не доберусь до дому одна? – сказала Джемма, поднимаясь и накидывая плащ. – Конечно, он останется у вас, доктор Риккардо! Ему полезно развлечься. Он слишком засиделся дома.

– Если позволите, я вас провожу, – вмешался в их разговор Овод. – Я иду в ту же сторону.

– Если вам в самом деле по дороге...

– А у вас, Риварес, не будет времени зайти к нам вечером? – спросил Риккардо, отворяя им дверь.

Овод, смеясь, оглянулся через плечо:

– У меня, друг мой? Нет, я хочу пойти в цирк.

– Что за чудак! – сказал Риккардо, вернувшись в комнату. – Откуда у него такое пристрастие к балаганным шутам?

– Очевидно, сродство душ, – сказал Мартини. – Он сам настоящий балаганный шут.

– Хорошо, если только шут, – серьёзным тоном проговорил Фабрицци. – И будем надеяться, что не очень опасный.

– Опасный? В каком отношении?

– Не нравятся мне его таинственные увеселительные поездки. Это уже третья по счёту, и я не верю, что он был в Пизе.

– По-моему, ни для кого не секрет, что Риварес ездит в горы, – сказал Саккони. – Он даже не очень старается скрыть свои связи с контрабандистами – давние связи, ещё со времени восстания в Савиньо. И вполне естественно, что он пользуется их дружескими услугами, чтобы переправлять свои памфлеты через границу Папской области.

– Вот об этом-то я и хочу с вами поговорить, – сказал Риккардо. – Мне пришло в голову, что самое лучшее – попросить Ривареса взять на себя руководство нашей контрабандой. Типография в Пистойе, по-моему, работает очень плохо, а доставка туда литературы одним и тем же способом – в сигарах – чересчур примитивна.

– Однако до сих пор она оправдывала себя, – упрямо возразил Мартини.

Галли и Риккардо вечно выставляли Овода в качестве образца для подражания, и Мартини начинало надоедать это. Он положительно находил, что всё шло как нельзя лучше, пока среди них не появился этот «томный пират», вздумавший учить всех уму-разуму.

– Да, до сих пор она удовлетворяла нас за неимением лучшего. Но за последнее время, как вы знаете, было произведено много арестов и конфискаций. Я думаю, если это дело возьмёт на себя Риварес, больше таких провалов не будет.

– Почему вы так думаете?

– Во-первых, на нас контрабандисты смотрят как на чужаков или, может быть, даже просто как на дойную корову; а Риварес – по меньшей мере их друг, если не предводитель. Они слушаются его и верят ему. Для участника восстания в Савиньо апеннинские контрабандисты будут рады сделать много такого, чего от них не добьётся никто другой. А во-вторых, едва ли между нами найдётся хоть один, кто так хорошо знал бы горы, как Риварес. Не забудьте, что он скрывался там, и ему отлично известна каждая горная тропинка. Ни один контрабандист не посмеет обмануть Ривареса, а если даже и посмеет, то потерпит неудачу.

– Итак, вы предлагаете поручить ему доставку нашей литературы в Папскую область – распространение, адреса, тайные склады и вообще все – или только провоз через границу?

– Наши адреса и тайные склады все ему известны. И не только наши, а и многие другие. Так что тут его учить нечему. Ну, а что касается распространения – решайте. По-моему, самое важное – провоз через границу; а когда литература попадёт в Болонью, распространить её будет не так уж трудно.

– Если вы спросите меня, – сказал Мартини, – то я против такого плана. Ведь это только предположение, что Риварес настолько ловок. В сущности, никто из нас не видел его на этой работе, и мы не можем быть уверены, что в критическую минуту он не потеряет головы...

– О, в этом можете не сомневаться! – перебил его Риккардо. – Он головы не теряет – восстание в Савиньо лучшее тому доказательство!

– А кроме того, – продолжал Мартини, – хоть я и мало знаю Ривареса, но мне кажется, что ему нельзя доверять все наши партийные тайны. По-моему, он человек легкомысленный и любит рисоваться. Передать же контрабандную доставку литературы в руки одного человека – вещь очень серьёзная. Что вы об этом думаете, Фабрицци?

– Если бы речь шла только о ваших возражениях, Мартини, я бы их отбросил, поскольку Овод обладает всеми качествами, о которых говорит Риккардо. Я уверен в его смелости, честности и самообладании. Горы и горцев он знает прекрасно. Но есть сомнения другого рода. Я не уверен, что он ездит туда только ради контрабандной доставки своих памфлетов. По-моему, у него есть и другая цель. Это, конечно, должно остаться между нами – я высказываю только своё предположение. Мне кажется, что он тесно связан с одной из тамошних групп и, может быть, даже с самой опасной.

– С какой? С «Красными поясами»?

– Нет, с «Кинжальщиками».

– С «Кинжальщиками»? Но ведь это маленькая кучка бродяг, по большей части из крестьян, неграмотных, без всякого политического опыта.

– То же самое можно сказать и о повстанцах из Савиньо. Однако среди них были и образованные люди, которые ими и руководили. По-видимому, так же обстоит дело и у «Кинжальщиков». Кроме того, большинство членов самых крайних группировок в Романье – бывшие участники восстания в Савиньо, которые поняли, что в открытой борьбе клерикалов не одолеешь, и стали на путь террористических убийств. Потерпев неудачу с винтовками, они взялись за кинжалы.

– А почему вы думаете, что Риварес связан с ними?

– Это только моё предположение. Во всяком случае, прежде чем доверять ему доставку нашей литературы, надо все выяснить. Если Риварес вздумает вести оба дела сразу, он может сильно повредить нашей партии: просто погубит её репутацию и ровно ничем не поможет. Но об этом мы ещё поговорим, а сейчас я хочу поделиться с вами вестями из Рима. Ходят слухи, что предполагается назначить комиссию для выработки проекта городского самоуправления...

Джемма и Овод молча шли по набережной. Его потребность говорить, говорить без умолку, по-видимому, иссякла. Он не сказал почти ни слова с тех пор, как они вышли от Риккардо, и Джемму радовало его молчание. Ей всегда было тяжело в обществе Овода, а в этот день она чувствовала себя особенно неловко, потому что его странное поведение у Риккардо смутило её.

У дворца Уффици он остановился и спросил;

– Вы не устали?

– Нет. А что?

– И не очень заняты сегодня вечером?

– Нет.

– Я прошу вас оказать мне особую милость – пойдёмте гулять.

– Куда?

– Да просто так, куда вы захотите.

– Что это вам вздумалось?

Овод ответил не сразу.

– Это не так просто объяснить. Но я вас очень прошу!

Он поднял на неё глаза. Их выражение поразило Джемму.

– С вами происходит что-то странное, – мягко сказала она.

Овод выдернул цветок из своей бутоньерки и стал отрывать от него лепестки. Кого он ей напоминал? Такие же нервно-торопливые движения пальцев...

– Мне тяжело, – сказал он едва слышно, не отводя глаз от своих рук. – Сегодня вечером я не хочу оставаться наедине с самим собой. Так пойдёмте?

– Да, конечно. Но не лучше ли пойти ко мне?

– Нет, пообедаем в ресторане. Это недалеко, на площади Синьории. Не отказывайтесь, прошу вас, вы уже обещали!

Они вошли в ресторан. Овод заказал обед, но сам почти не притронулся к нему, всё время упорно молчал, крошил хлеб и теребил бахрому скатерти.

Джемма чувствовала себя очень неловко и начинала жалеть, что согласилась пойти с ним. Молчание становилось тягостным, но ей не хотелось говорить о пустяках с человеком, который, судя по всему, забыл о её присутствии. Наконец, он поднял на неё глаза и сказал:

– Хотите посмотреть представление в цирке?

Джемма удивлённо взглянула на него. Дался ему этот цирк!

– Видали вы когда-нибудь такие представления? – спросил он, раньше чем она успела ответить.

– Нет, не видала. Меня они не интересовали.

– Напрасно. Это очень интересно. Мне кажется, невозможно изучить жизнь народа, не видя таких представлений. Давайте вернёмся назад, на Порта-алла-Кроче.

Бродячий цирк раскинул свой балаган за городскими воротами. Когда Овод и Джемма подошли к нему, невыносимый визг скрипок и барабанный бой возвестили о том, что представление началось.

Оно было весьма примитивно. Вся труппа состояла из нескольких клоунов, арлекинов и акробатов, одного наездника, прыгавшего сквозь обручи, покрашенной коломбины и горбуна, забавлявшего публику своими глупыми ужимками. Остроты не оскорбляли уха грубостью, но были избиты и плоски. Отпечаток пошлости лежал здесь на всём. Публика со свойственной тосканцам вежливостью смеялась и аплодировала; но больше всего её веселили выходки

горбуна, в которых Джемма не находила ничего остроумного и забавного. Это было просто грубое и безобразное кривляние. Зрители передразнивали его и, поднимая детей на плечи, показывали им «уродца».

– Синьор Риварес, неужели вам это нравится? – спросила Джемма, оборачиваясь к Оводу, который стоял, прислонившись к деревянной подпорке. – По-моему...

Джемма не договорила. Ни разу в жизни, разве только когда она стояла с Монтанелли у калитки сада в Ливорно, не приходилось ей видеть такого безграничного, безысходного страдания на человеческом лице. «Дантов ад», – мелькнуло у неё в мыслях.

Но вот горбун, получив пинок от одного из клоунов, сделал сальто и кубарем выкатился с арены. Начался диалог между двумя клоунами, и Овод выпрямился, точно проснувшись.

– Пойдёмте, – сказал он. – Или вы хотите остаться?

– Нет, давайте уйдём.

Они вышли из балагана и по зелёной лужайке пошли к реке. Несколько минут оба молчали.

– Ну, как вам понравилось представление? – спросил Овод.

– Довольно грустное зрелище, а подчас просто неприятное.

– Что же именно вам показалось неприятным?

– Да все эти гримасы и кривляния. Они просто безобразны. В них нет ничего остроумного.

– Вы говорите о горбуне?

Помня, с какой болезненной чувствительностью Овод относится к своим физическим недостаткам, Джемма меньше всего хотела касаться этой части представления. Но он сам заговорил о горбуне, и она подтвердила:

– Да, горбун мне совсем не понравился.

– А ведь он забавлял публику больше всех.

– Об этом остаётся только пожалеть.

– Почему? Не потому ли, что его выходки антихудожественны?

– Там все антихудожественно, а эта жестокость...

Он улыбнулся:

– Жестокость? По отношению к горбуну?

– Да... Сам он, конечно, относится к этому совершенно спокойно. Для него кривляния – такой же способ зарабатывать кусок хлеба, как прыжки для наездника и роль коломбины для актрисы. Но когда смотришь на этого горбуна, становится тяжело на душе. Его роль унижительна – это насмешка над человеческим достоинством.

– Вряд ли арена так принижает чувство собственного достоинства. Большинство из нас чем-то унижены.

– Да, но здесь... Вам это покажется, может быть, нелепым предрассудком, но для меня человеческое тело священно. Я не выношу, когда над ним издеваются и намеренно уродуют его.

– Человеческое тело?... А душа?

Овод остановился и, опершись о каменный парапет набережной, посмотрел Джемме прямо в глаза.

– Душа? – повторила она, тоже останавливаясь и с удивлением глядя на него.

Он вскинул руки с неожиданной горячностью:

– Неужели вам никогда не приходило в голову, что у этого жалкого клоуна есть душа, живая, борющаяся человеческая душа, запятанная в это скрюченное тело, душа, которая служит ему, как рабыня? Вы, такая отзывчивая, жалеете тело в дурацкой одежде с колокольчиками, а подумали ли вы когда-нибудь о несчастной душе, у которой нет даже этих пёстрых тряпок, чтобы прикрыть свою страшную наготу? Подумайте, как она дрожит от холода, как на глазах у всех её душит стыд, как терзает её, точно бич, этот смех, как жжёт он её, точно раскалённое

железо! Подумайте, как оно беспомощно озирается вокруг на горы, которые не хотят обрушиться на неё, на камни, которые не хотят её прикрыть; она завидует даже крысам, потому что те могут заползти в нору и спрятаться там. И вспомните ещё, что ведь душа немая, у неё нет голоса, она не может кричать. Она должна терпеть, терпеть и терпеть... Впрочем, я говорю глупости... Почему же вы не смеётесь? У вас нет чувства юмора!

Джемма медленно повернулась и молча пошла по набережной. За весь этот вечер ей ни разу не пришло в голову, что волнение Овода может иметь связь с бродячим цирком, и теперь, когда эта внезапная вспышка озарила его внутреннюю жизнь, она не могла найти ни слова утешения, хотя сердце её было переполнено жалостью к нему. Он шёл рядом с ней, глядя на воду.

– Помните, прошу вас, – заговорил он вдруг, вызываясь посмотреть на неё, – всё то, что я сейчас говорил, – это просто фантазия. Я иной раз даю себе волю, но не люблю, когда мои фантазии принимают всерьёз.

Джемма ничего не ответила. Они молча продолжали путь. У дворца Уффици Овод вдруг быстро перешёл дорогу и нагнулся над тёмным комком, лежавшим у решётки.

– Что с тобой, малыш? – спросил он с такой нежностью в голосе, какой Джемма у него ещё не слышала. – Почему ты не идёшь домой?

Комок зашевелился, послышался тихий стон. Джемма подошла и увидела ребёнка лет шести, оборванного и грязного, который жался к решётке, как испуганный зверёк. Овод стоял, наклонившись над ним, и гладил его по растрёпанным волосам.

– Что случилось? – повторил он, нагибаясь ещё ниже, чтобы расслышать невнятный ответ. – Нужно идти домой, в постель. Маленьким детям не место ночью на – улице. Ты замёрзнешь. Дай руку, вставай! Где ты живёшь?

Он взял ребёнка за руку, но тот пронзительно вскрикнул и опять упал на землю.

– Ну что, что с тобой? – Овод опустился рядом с ним на колени. – Ах, синьора, взгляните!

Плечо у мальчика было все в крови.

– Скажи мне, что с тобой? – ласково продолжал Овод. – Ты упал?.. Нет? Кто-нибудь побил тебя?.. Я так и думал. Кто же это?

– Дядя.

– Когда?

– Сегодня утром. Он был пьяный, а я... я...

– А ты попался ему под руку. Да? Не нужно попадаться под руку пьяным, дружок! Они этого не любят... Что же мы будем делать с этим малышом, синьора? Ну, иди на свет, сынок, дай я посмотрю твоё плечо. Обними меня за шею, не бойся... Ну, вот так.

Он взял мальчика на руки и, перенеся его через улицу, посадил на широкий каменный парапет. Потом вынул из кармана нож и ловко отрезал разорванный рукав, прислонив голову ребёнка к своей груди; Джемма поддерживала повреждённую руку. Плечо было все в синяках и ссадинах, выше локтя – глубокая рана.

– Досталось тебе, малыш! – сказал Овод, перевязывая ему рану носовым платком, чтобы она не загрязнилась от куртки. – Чем это он ударил?

– Лопатой. Я попросил у него сольдо^[69], хотел купить в лавке, на углу, немножко поленты^[70], а он ударил меня лопатой.

Овод вздрогнул.

– Да, – сказал он мягко, – это очень больно.

– Он ударил меня лопатой, и я... я убежал...

– И всё это время бродил по улицам голодный?

Вместо ответа ребёнок зарыдал. Овод снял его с парапета.

– Ну, не плачь, не плачь! Сейчас мы все уладим. Как бы только достать коляску? Они,

наверно, все у театра – там сегодня большой съезд. Мне совестно таскать вас за собой, синьора, но...

– Я непременно пойду с вами. Моя помощь может понадобиться. Вы донесёте его? Не тяжело?

– Ничего, донесу, не беспокойтесь.

У театра стояло несколько извозчичьих колясок, но все они были заняты.

Спектакль кончился, и большинство публики уже разошлось. На афишах у подъезда крупными буквами было напечатано имя Зиты. Она танцевала в тот вечер. Попросив Джемму подождать минуту, Овод подошёл к актёрскому входу и обратился к служителю:

– Мадам Рени уехала?

– Нет, сударь, – ответил тот, глядя во все глаза на хорошо одетого господина с оборванным уличным мальчишкой на руках. – Мадам Рени сейчас выйдет. Её ждёт коляска... Да вот и она сама.

Зита спускалась по ступенькам под руку с молодым кавалерийским офицером. Она была ослепительно хороша в огненно-красном бархатном мантио, накинутом поверх вечернего платья, у пояса которого висел веер из страусовых перьев. Цыганка остановилась в дверях и, бросив кавалера, быстро подошла к Оводу.

– Феличе! – вполголоса сказала она. – Что это у вас такое?

– Я подобрал этого ребёнка на улице. Он весь избит и голоден. Надо как можно скорее отвезти его ко мне домой. Свободных колясок нет, уступите мне вашу.

– Феличе! Неужели вы собираетесь взять этого оборвыша к себе? Позовите полицейского, и пусть он отнесёт его в приют или ещё куда-нибудь. Нельзя же собирать у себя нищих со всего города!

– Ребёнка избили, – повторил Овод. – В приют его можно отправить и завтра, если это понадобится, а сейчас ему нужно сделать перевязку, его надо накормить.

Зита брезгливо поморщилась:

– Смотрите! Он прислонился к вам головой. Как вы это терпите? Такая грязь!

Овод сверкнул на неё глазами.

– Ребёнок голоден! – с яростью проговорил он. – Вы, верно, не понимаете, что это значит!

– Синьор Риварес, – сказала Джемма, подходя к ним, – моя квартира тут близко. Отнесём ребёнка ко мне, и если вы не найдёте коляски, я оставлю его у себя на ночь.

Овод быстро повернулся к ней:

– Вы не побрезгаете им?

– Разумеется, нет... Прощайте, мадам Рени.

Цыганка сухо кивнула, передёрнула плечами, взяла офицера под руку и, подобрав шлейф, величественно проплыла мимо них к коляске, которую у неё собирались отнять.

– Синьор Риварес, если хотите, я пришлю экипаж за вами и за ребёнком, – бросила она Оводу через плечо.

– Хорошо. Я скажу куда. – Он подошёл к краю тротуара, дал извозчику адрес и вернулся со своей ношей к Джемме.

Кэтти ждала хозяйку и, узнав о случившемся, побежала за горячей водой и всем, что нужно для перевязки.

Овод усадил ребёнка на стул, опустился рядом с ним на колени и, быстро сняв с него лохмотья, очень осторожно и ловко промыл и перевязал его рану. Когда Джемма вошла в комнату с подносом в руках, он уже успел искупать ребёнка и заворачивал его в тёплое одеяло.

– Можно теперь покормить нашего пациента? – спросила она, улыбаясь. – Я приготовила для него ужин.

Овод поднялся, собрал с полу грязные лохмотья.

– Какой мы тут наделали беспорядок! – сказал он. – Это надо сжечь, а завтра я куплю ему новое платье. Нет ли у вас коньяку, синьора? Хорошо бы дать бедняжке несколько глотков. Я же, если позволите, пойду вымыть руки.

Поев, ребёнок тут же заснул на коленях у Овода, прислонившись головой к его белоснежной сорочке. Джемма помогла Кэтти прибрать комнату и снова села к столу.

– Синьор Риварес, вам надо поесть перед уходом. Вы не притронулись к обеду, а теперь очень поздно.

– Я с удовольствием выпил бы чашку чаю. Но мне совестно беспокоить вас в такой поздний час.

– Какие пустяки! Положите ребёнка на диван, ведь его тяжело держать. Подождите только, я покрою подушку простыней... Что же вы думаете делать с ним?

– Завтра? Поищу, нет ли у него других родственников, кроме этого пьяного скота. Если нет, то придётся последовать совету мадам Рени и отдать его в приют. А правильнее всего было бы привязать ему камень на шею и бросить в воду. Но это грозит неприятными последствиями для меня... Спит крепким сном! Эх, бедняга! Ведь он беззащитней котёнка!

Когда Кэтти принесла поднос с чаем, мальчик открыл глаза и стал с удивлением оглядываться по сторонам. Увидев своего покровителя, он сполз с дивана и, путаясь в складках одеяла, заковылял к нему. Малыш настолько оправился, что в нём проснулось любопытство; указывая на обезображенную левую руку, в которой Овод держал кусок пирожного, он спросил:

– Что это?

– Это? Пирожное. Тебе тоже захотелось?.. Нет, на сегодня довольно. Подожди до завтра!

– Нет, это! – Мальчик протянул руку и дотронулся до обрубков пальцев и большого шрама на кисти Овода.

Овод положил пирожное на стол.

– Ах, вот о чём ты спрашиваешь! То же, что у тебя на плече. Это сделал один человек, который был сильнее меня.

– Тебе было очень больно?

– Не помню. Не больше, чем многое другое. Ну, а теперь отправляйся спать, сейчас уже поздно.

Когда коляска приехала, мальчик спал, и Овод осторожно, стараясь не разбудить, взял его на руки и снёс вниз.

– Вы были сегодня моим добрым ангелом, – сказал он Джемме, останавливаясь у дверей, – но, конечно, это не помешает нам ссориться в будущем.

– Я совершенно не желаю ссориться с кем бы то ни было...

– А я желаю! Жизнь была бы невыносима без ссор. Добрая ссора – соль земли. Это даже лучше представлений в цирке.

Он тихо рассмеялся и сошёл с лестницы, неся на руках спящего ребёнка.

В первых числах января Мартини разослал приглашения на ежемесячное собрание литературного комитета и в ответ получил от Овода лаконичную записку, нацарапанную карандашом: «Весьма сожалею. Прийти не могу». Мартини это рассердило, так как в повестке было указано: «Очень важно». Такое легкомысленное отношение к делу казалось ему оскорбительным. Кроме того, в тот же день пришло ещё три письма с дурными вестями, и вдобавок дул восточный ветер. Все это привело Мартини в очень плохое настроение, и, когда доктор Риккардо спросил, пришёл ли Риварес, он ответил сердито:

– Нет. Риварес, видимо, нашёл что-нибудь поинтереснее и не может явиться, а вернее – не хочет.

– Мартини, другого такого придиры, как вы, нет во всей Флоренции, – сказал с раздражением Галли. – Если человек вам не нравится, то всё, что он делает, непременно дурно. Как может Риварес прийти, если он болен?

– Кто вам сказал, что он болен?

– А вы разве не знаете? Он уже четвёртый день не встаёт с постели.

– Что с ним?

– Не знаю. Из-за болезни он даже отложил свидание со мной, которое было назначено на четверг. А вчера, когда я зашёл к нему, мне сказали, что он плохо себя чувствует и никого не может принять. Я думал, что при нём Риккардо.

– Нет, я тоже ничего не знал. Сегодня же вечером зайду туда и посмотрю, не надо ли ему что-нибудь.

На другое утро Риккардо, бледный и усталый, появился в маленьком кабинете Джеммы. Она сидела у стола и монотонным голосом диктовала Мартини цифры, а он с лупой в одной руке и тонко очиненным карандашом в другой делал на странице книги едва видные пометки. Джемма предостерегающе подняла руку. Зная, что нельзя прерывать человека, когда он пишет шифром, Риккардо опустил кушетку и зевнул, с трудом пересиливая дремоту.

– «Два, четыре; три, семь; шесть, один; три, пять; четыре, один, – с монотонностью автомата продолжала Джемма. – Восемь, четыре, семь, два; пять, один». Здесь кончается фраза, Чезаре.

Она воткнула булавку в бумагу на том месте, где остановилась, и повернулась к Риккардо:

– Здравствуйте, доктор. Какой у вас измученный вид! Вы нездоровы?

– Нет, здоров, только очень устал. Я провёл ужасную ночь у Ривареса.

– У Ривареса?

– Да. Просидел около него до утра, а теперь надо идти в больницу. Я зашёл к вам спросить, не знаете ли вы кого-нибудь, кто бы мог побыть с ним эти несколько дней. Он в тяжёлом состоянии. Я, конечно, сделаю всё, что могу. Но сейчас у меня нет времени, а о сиделке он и слышать не хочет.

– А что с ним такое?

– Да чего только нет! Прежде всего...

– Прежде всего – вы завтракали?

– Да, благодарю вас. Так вот, о Риваресе... У него, несомненно, не в порядке нервы, но главная причина болезни – старая, запущенная рана. Словом, здоровьем он похвастаться не может. Рана, вероятно, получена во время войны в Южной Америке. Её не залечили как следует: всё было сделано на скорую руку. Удивительно, как он ещё жив... В результате хроническое воспаление, которое периодически обостряется, и всякий пустяк может вызвать новый приступ.

– Это опасно?

– Н-нет... В таких случаях главная опасность в том, что больной, не выдержав страданий, может принять яд.

– Значит, у него сильные боли?

– Ужасные! Удивляюсь, как он их выносит. Мне пришлось дать ему ночью опиум. Вообще я не люблю давать опиум нервнобольным, но как-нибудь надо было облегчить боль.

– Значит, у него и нервы не в порядке?

– Да, конечно. Но сила воли у этого человека просто небывалая. Пока он не потерял сознания, его выдержка была поразительна. Но зато и задал же он мне работу к концу ночи! И как вы думаете, когда он заболел? Это тянется уже пять суток, а при нём ни души, если не считать дуры-хозяйки, которая так крепко спит, что тут хоть дом рухнул – она всё равно не проснётся; а если и проснётся, толку от неё будет мало.

– А где же эта танцовщица?

– Представьте, какая странная вещь! Он не пускает её к себе. У него какой-то болезненный страх перед ней. Не поймёшь этого человека – сплошной клубок противоречий! – Риккардо вынул часы и озабоченно посмотрел на них. – Я опоздаю в больницу, но ничего не поделаешь. Придётся младшему врачу начать обход без меня. Жалко, что мне не дали знать раньше: не следовало бы оставлять Ривареса одного ночью.

– Но почему же он не прислал сказать, что болен? – спросил Мартини. – Мы не бросили бы его одного, ему бы следовало это знать!

– И напрасно, доктор, вы не послали сегодня за кем-нибудь из нас, вместо того чтобы сидеть там самому, – сказала Джемма.

– Дорогая моя, я хотел было послать за Галли, но Риварес так вскипел при первом моем намёке, что я сейчас же отказался от этой мысли. А когда я спросил его, кого же ему привести, он испуганно посмотрел на меня, закрыл руками лицо и сказал: «Не говорите им, они будут смеяться». Это у него навязчивая идея: ему кажется, будто люди над чем-то смеются. Я так и не понял – над чем. Он всё время говорит по-испански. Но ведь больные часто несут бог знает что.

– Кто при нём теперь? – спросила Джемма.

– Никого, кроме хозяйки и её служанки.

– Я пойду к нему, – сказал Мартини.

– Спасибо. А я загляну вечером. Вы найдёте мой листок с наставлениями в ящике стола, что у большого окна, а опиум в другой комнате, на полке. Если опять начнутся боли, дайте ему ещё одну дозу. И ни в коем случае не оставляйте склянку на виду, а то как бы у него не явилось искушение принять больше, чем следует...

Когда Мартини вошёл в полутёмную комнату, Овод быстро повернул голову, протянул ему горячую руку и заговорил, тщетно пытаясь сохранить обычную небрежность тона:

– А, Мартини! Вы, наверно, сердитесь за корректуру? Не ругайте меня, что я пропустил собрание комитета: я не совсем здоров, и...

– Бог с ним, с комитетом! Я видел сейчас Риккардо и пришёл узнать, не могу ли я вам чем-нибудь помочь.

У Овода лицо словно окаменело.

– Это очень любезно с вашей стороны. Но вы напрасно беспокоились: я просто немножко расклеился.

– Я так и понял со слов Риккардо. Ведь он пробыл у вас всю ночь?

Овод сердито закусил губу.

– Благодарю вас. Теперь я чувствую себя хорошо, и мне ничего не надо.

– Прекрасно! В таком случае, я посижу в соседней комнате: может быть, вам приятнее быть

одному. Я оставлю дверь полуоткрытой, чтобы вы могли позвать меня.

– Пожалуйста, не беспокойтесь. Уверю вас, мне ничего не надо. Вы только напрасно потеряете время...

– Бросьте эти глупости! – резко перебил его Мартини. – Зачем вы меня обманываете? Думаете, я слепой? Лежите спокойно и постарайтесь заснуть.

Мартини вышел в соседнюю комнату и, оставив дверь открытой, стал читать. Вскоре он услышал, как больной беспокойно зашевелился. Он отложил книгу и стал прислушиваться. Некоторое время за дверью было тихо, потом опять начались беспокойные движения, послышался стон, словно Риварес стиснул зубы, чтобы подавить тяжёлые вздохи. Мартини вернулся к нему:

– Может быть, нужно что-нибудь сделать, Риварес?

Ответа не последовало, и Мартини подошёл к кровати.

Овод, бледный как смерть, взглянул на него и молча покачал головой.

– Не дать ли вам ещё опиума? Риккардо говорил, что можно принять, если боли усилятся.

– Нет, благодарю. Я ещё могу терпеть. Потом может быть хуже...

Мартини пожал плечами и сел у кровати. В течение часа, показавшегося ему бесконечным, он молча наблюдал за больным, потом встал и принёс опиум.

– Довольно, Риварес! Если вы ещё можете терпеть, то я не могу. Надо принять опиум.

Не говоря ни слова, Овод принял лекарство. Потом отвернулся и закрыл глаза. Мартини снова сел. Дыхание больного постепенно становилось глубже и ровнее.

Овод был так измучен, что уснул как мёртвый. Час проходил за часом, а он не шевелился. Днём и вечером Мартини не раз подходил к кровати и вглядывался в это неподвижное тело – кроме дыхания, в нём не замечалось никаких признаков жизни. Лицо было настолько бледно, что на Мартини вдруг напал страх. Что, если он дал ему слишком большую дозу опиума? Изуродованная левая рука Овода лежала поверх одеяла, и Мартини осторожно тряхнул её, думая его разбудить. Расстёгнутый рукав сполз к локтю, обнаружив страшные шрамы, покрывавшие всю руку.

– Представляете, какой вид имела эта рука, когда раны были ещё свежие? – послышался сзади голос Риккардо.

– А, это вы наконец! Слушайте, Риккардо, да что, он все так и будет спать? Я дал ему опиума часов десять назад, и с тех пор он не шевельнул ни единым мускулом.

Риккардо наклонился и прислушался к дыханию Овода.

– Ничего, дышит ровно. Это просто от сильного переутомления после такой ночи. К утру приступ может повториться. Я надеюсь, кто-нибудь посидит около него?

– Галли будет дежурить. Он прислал сказать, что придёт часов в десять.

– Теперь как раз около десяти... Ага, он просыпается! Позаботьтесь, чтобы бульон подали горячий... Спокойно, Риварес, спокойно! Не деритесь, я не епископ.

Овод вдруг приподнялся, глядя прямо перед собой испуганными глазами.

– Мой выход? – забормотал он по-испански. – Займите публику ещё минуту... А! Я не узнал вас, Риккардо. – Он оглядел комнату и провёл рукой по лбу, как будто не понимая, что с ним происходит. – Мартини! Я думал, вы давно ушли! Я, должно быть, спал...

– Да ещё как! Точно спящая красавица! Десять часов кряду! А теперь вам надо выпить бульону и заснуть опять.

– Десять часов! Мартини, неужели вы были здесь всё время?

– Да. Я уже начинал бояться, не угостил ли я вас чересчур большой дозой опиума.

Овод лукаво взглянул на него:

– Не повезло вам на этот раз! А как спокойны и мирны были бы без меня ваши комитетские

заседания!.. Чего вы, чёрт возьми, пристаёте ко мне, Риккардо? Ради бога, оставьте меня в покое! Терпеть не могу врачей.

– Ладно, выпейте вот это, и вас оставят в покое. Через день-два я всё-таки зайду и хорошенько осмотрю вас. Надеюсь, что самое худшее миновало: вы уже не так похожи на мертвеца.

– Скоро я буду совсем здоров, благодарю... Кто это!.. Галли? Сегодня у меня, кажется, собрание всех граций...

– Я останусь около вас на ночь.

– Глупости! Мне никого не надо. Идите все по домам. Если даже приступ повторится, вы всё равно не поможете: я не буду больше принимать опиум. Это хорошо один-два раза.

– Да, вы правы, – сказал Риккардо. – Но придерживаться этого решения не так-то легко.

Овод посмотрел на него и улыбнулся.

– Не бойтесь. Если б у меня была склонность к этому, я давно бы стал наркоманом.

– Во всяком случае, мы вас одного не оставим, – сухо ответил Риккардо. – Пойдёмте, Мартини... Спокойной ночи, Риварес! Я загляну завтра.

Мартини хотел выйти следом за ним, но в эту минуту Овод негромко окликнул его и протянул ему руку;

– Благодарю вас.

– Ну что за глупости! Спите.

Риккардо ушёл, а Мартини остался поговорить с Галли в соседней комнате. Отворив через несколько минут входную дверь, он увидел, как к садовой калитке подъехал экипаж и из него вышла женщина. Это была Зита, вернувшаяся, должно быть, с какого-нибудь вечера. Он приподнял шляпу, посторонился, уступая ей дорогу, и прошёл садом в тёмный переулок, который вёл к Поджио Импераале. Но не успел он сделать двух шагов, как вдруг калитка сзади хлопнула и в переулке послышались торопливые шаги.

– Подождите! – крикнула Зита.

Лишь только Мартини повернул назад, она остановилась и медленно пошла ему навстречу, ведя рукой по живой изгороди. Свет единственного фонаря в конце переулочка еле достигал сюда, но Мартини всё же увидел, что танцовщица идёт, опустив голову, точно робея или стыдясь чего-то.

– Как он себя чувствует? – спросила она, не глядя на Мартини.

– Гораздо лучше, чем утром. Он спал весь день, и вид у него не такой измученный. Кажется, приступ миновал!

– Ему было очень плохо?

– Так плохо, что хуже, по-моему, и быть не может.

– Я так и думала. Если он не пускает меня к себе, значит, ему очень плохо.

– А часто у него бывают такие приступы?

– По-разному... Летом, в Швейцарии, он совсем не болел, а прошлой зимой, когда мы жили в Вене, было просто ужасно. Я не смела к нему входить несколько дней подряд. Он не выносит моего присутствия во время болезни... – Она подняла на Мартини глаза и тут же потупилась. – Когда ему становится плохо, он под любым предлогом отсылает меня одну на бал, на концерт или ещё куда-нибудь, а сам запирается у себя в комнате. А я вернусь украдкой, сяду у его двери и сижу. Если бы он узнал об этом, мне бы так досталось! Когда собака скулит за дверью, он её пускает, а меня – нет. Должно быть, собака ему дороже...

Она говорила все это каким-то странным, сердито-пренебрежительным тоном.

– Будем надеяться, что теперь дело пойдёт на поправку, – ласково сказал Мартини. – Доктор Риккардо взялся за него всерьёз. Может быть, и полное выздоровление не за горами. Во

всяком случае, сейчас он уже не так страдает, но в следующий раз немедленно пошлите за нами. Если бы мы узнали о его болезни вовремя, всё обошлось бы гораздо легче. До свидания!

Он протянул ей руку, но она отступила назад, резко мотнув головой:

– Не понимаю, какая вам охота пожимать руку его любовнице!

– Воля ваша, но... – смущённо проговорил Мартини.

Зита топнула ногой.

– Ненавижу вас! – крикнула она, и глаза у неё засверкали, как раскалённые угли. – Ненавижу вас всех! Вы приходите, говорите с ним о политике! Он позволяет вам сидеть около него всю ночь и давать ему лекарства, а я не смею даже посмотреть на него в дверную щёлку! Что он для вас? Кто дал вам право отнимать его у меня? Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!

Она разразилась бурными рыданиями и, кинувшись к дому, захлопнула калитку перед носом у Мартини.

«Бог ты мой! – мысленно проговорил он, идя тёмным переулком. – Эта женщина не на шутку любит его! Вот чудеса!»

Овод быстро поправлялся. В одно из своих посещений на следующей неделе Риккардо застал его уже на кушетке облачённым в турецкий халат. С ним были Мартини и Галли. Овод захотел даже выйти на воздух, но Риккардо только рассмеялся на это и спросил, не лучше ли уж сразу предпринять прогулку до Фьезоле.

– Можете также нанести визит Грассини, – добавил он язвительно. – Я уверен, что синьора будет в восторге, особенно сейчас, когда на лице у вас такая интересная бледность.

Овод трагически всплеснул руками.

– Боже мой! А я об этом и не подумал! Она примет меня за итальянского мученика и будет разглагольствовать о патриотизме. Мне придётся войти в роль и рассказать ей, что меня изрубили на куски в подземелье и довольно плохо потом склеили. Ей захочется узнать в точности мои ощущения. Вы думаете, её трудно провести, Риккардо? Бьюсь об заклад, что она примет на веру самую дикую ложь, какую только можно измыслить. Ставлю свой индийский кинжал против заспиртованного солитёра из вашего кабинета. Соглашайтесь, условия выгодные.

– Спасибо, я не любитель смертоносного оружия.

– Солитёр тоже смертоносен, только он далеко не так красив.

– Во всяком случае, друг мой, без кинжала я как-нибудь обойдусь, а солитёр мне нужен... Мартини, я должен бежать. Значит, этот беспокойный пациент остаётся на вашем попечении?

– Да. Но только до трех часов. С трех здесь посидит синьора Болла.

– Синьора Болла? – испуганно переспросил Овод. – Нет, Мартини, это невозможно! Я не допущу, чтобы дама возилась со мной и с моими болезнями. Да и где мне её принимать? Здесь неудобно.

– Давно ли вы стали так строго соблюдать приличия? – спросил, смеясь, Риккардо. – Синьора Болла – наша главная сиделка. Она начала ухаживать за больными ещё тогда, когда бегала в коротеньких платьицах. Лучшей сестры милосердия я не знаю. «Здесь неудобно»? Да вы, может быть, говорите о госпоже Грассини?.. Мартини, если придёт синьора Болла, для неё не надо оставлять никаких указаний... Боже мой, уже половина третьего! Мне пора.

– Ну, Риварес, примите-ка лекарство до её прихода, – сказал Галли, подходя к Оводу со стаканом.

– К чёрту лекарства!

Как и все выздоравливающие, Овод был очень раздражителен и доставлял много хлопот своим преданным сиделкам.

– 3-зачем вы пичкаете м-меня всякой дрянью, когда боли прошли?

– Именно затем, чтобы они не возобновились. Или вы хотите так обессилеть, чтобы синьоре Болле пришлось давать вам опиум?

– М-милостивый государь! Если приступы должны возобновиться, они возобновятся. Это не зубная боль, которую м-можно облегчить вашими дрянными л-лекарствами. От них столько же пользы, сколько от игрушечного насоса на пожаре. Впрочем, как хотите, дело ваше.

Он взял стакан левой рукой. Страшные шрамы на ней напомнили Галли о бывшем у них перед тем разговоре.

– Да, кстати, – спросил он, – где вы получили эти раны? На войне, вероятно?

– Я же только что рассказывал, что меня бросили в мрачное подземелье и...

– Знаю. Но это вариант для синьоры Грассини... Нет, в самом деле, в бразильскую войну?

– Да, частью на войне, частью на охоте в диких местах... Всякое бывало.

– А! Во время научной экспедиции?.. Бурное это было время в вашей жизни, должно быть?

– Разумеется, в диких странах не проживёшь без приключений, – небрежно сказал Овод. – И приключения, надо сознаться, бывают часто не из приятных.

– Я всё-таки не представляю себе, как вы ухитрились получить столько ранений... разве только если на вас нападали дикие звери. Например, эти шрамы на левой руке.

– А, это было во время охоты на пуму. Я, знаете, выстрелил...

Послышался стук в дверь.

– Все ли прибрано в комнате, Мартини? Да? Так отворите, пожалуйста... Вы очень добры, синьора... Извините, что я не встаю.

– И незачем вам вставать. Я не с визитом... Я пришла пораньше, Чезаре: вы, наверно, торопитесь.

– Нет, у меня ещё есть четверть часа. Позвольте, я положу ваш плащ в той комнате. Корзинку можно туда же?

– Осторожно, там яйца. Самые свежие. Кэтти купила их утром в Монте Оливето... А это рождественские розы, синьор Риварес. Я знаю, вы любите цветы.

Она присела к столу и, подрезав стебли, поставила цветы в вазу.

– Риварес, вы начали рассказывать про пуму, – заговорил опять Галли. – Как же это было?

– Ах да! Галли расспрашивал меня, синьора, о жизни в Южной Америке, и я начал рассказывать ему, отчего у меня так изуродована левая рука. Это было в Перу. На охоте за пумой нам пришлось переходить реку вброд, и когда я выстрелил, ружьё дало осечку: оказывается, порох отсырел. Понятно, пума не стала дожидаться, пока я исправлю свою оплошность, и вот результат.

– Нечего сказать, приятное приключение!

– Ну, не так страшно, как кажется. Всякое бывало, конечно, но в общем жизнь была преинтересная. Охота на змей, например...

Он болтал, рассказывал случай за случаем – об аргентинской войне, о бразильской экспедиции, о встречах с туземцами, об охоте на диких зверей. Галли слушал с увлечением, словно ребёнок – сказку, и то и дело прерывал его вопросами. Впечатлительный, как все неаполитанцы, он любил все необычное. Джемма достала из корзинки вязанье и тоже внимательно слушала, проворно шевеля спицами и не отрывая глаз от работы. Мартини хмурился и беспокойно ёрзал на стуле. Во всех этих рассказах ему слышались хвастливость и самодовольство. Несмотря на своё невольное преклонение перед человеком, способным переносить сильную физическую боль с таким поразительным мужеством, – как сам он, Мартини, мог убедиться неделю тому назад, – ему решительно не нравился Овод, не нравились его манеры, его поступки.

– Вот это жизнь! – вздохнул Галли с откровенной завистью. – Удивляюсь, как вы решились покинуть Бразилию. Какими скучными должны казаться после неё все другие страны!

– Лучше всего мне жилось, пожалуй, в Перу и в Эквадоре, – продолжал Овод. – Вот где действительно великолепно! Правда, слишком уж жарко, особенно в прибрежной полосе Эквадора, и условия жизни подчас очень суровы. Но красота природы превосходит всякое воображение.

– Меня, пожалуй, больше привлекает полная свобода жизни в дикой стране, чем красоты природы, – сказал Галли. – Там человек может действительно сохранить своё человеческое достоинство, не то что в наших городах.

– Да, – согласился Овод, – но только...

Джемма отвела глаза от работы и посмотрела на него. Он вспыхнул и не кончил фразы.

– Неужели опять начинается приступ? – спросил тревожно Галли.

– Нет, ничего, не обращайтесь внимания. Ваши с-снадобья помогли, хоть я и п-проклинал

их... Вы уже уходите, Мартини?

– Да... Идёмте, Галли, а то опоздаем.

Джемма вышла за ними и скоро вернулась со стаканом гоголь-моголя.

– Выпейте, – сказала она мягко, но настойчиво и снова села за своё вязанье.

Овод кротко повиновался.

С полчасика оба молчали. Наконец он тихо проговорил:

– Синьора Болла!

Джемма взглянула на него. Он теребил пальцами бахромку пледа, которым была покрыта кушетка, и не поднимал глаз.

– Скажите, вы не поверили моим рассказам?

– Я ни одной минуты не сомневалась, что вы все это выдумали, – спокойно ответила Джемма.

– Вы совершенно правы. Я всё время лгал.

– И о том, что касалось войны?

– Обо всём вообще. Я никогда не участвовал в войнах. А экспедиция... Приключения там бывали, и большая часть того, о чём я рассказывал, – действительные факты. Но раны мои совершенно другого происхождения. Вы поймали меня на одной лжи, и теперь я могу сознаться во всём остальном.

– Стоит ли тратить силы на сочинение таких небылиц? – спросила Джемма. – По-моему, нет.

– А что мне было делать? Вы помните вашу английскую пословицу: «Не задавай вопросов – не услышишь лжи». Мне не доставляет ни малейшего удовольствия дурачить людей, но должен же я что-то отвечать, когда меня спрашивают, каким образом я стал калекой. А уж если врать, так врать забавно. Вы видели, как Галли был доволен.

– Неужели вам важнее позабавить Галли, чем сказать правду?

– Правду... – Он пристально взглянул на неё, держа в руке оторванную бахромку пледа. – Вы хотите, чтобы я сказал правду этим людям? Да лучше я себе язык отрежу! – И затем с какой-то неуклюжей и робкой порывистостью добавил: – Я ещё никому не рассказывал правды, но вам, если хотите, расскажу.

Она молча опустила вязанье на колени. Было что-то трогательное в том, что этот чёрствый, скрытный человек решил довериться женщине, которую он так мало знал и, видимо, недолюбливал.

После долгого молчания Джемма взглянула на него. Овод полулежал, облокотившись на столик, стоявший возле кушетки, и прикрыв изувеченной рукой глаза. Пальцы этой руки нервно вздрагивали, на кисти, там, где был рубец, чётко бился пульс. Джемма подошла к кушетке и тихо окликнула его. Он вздрогнул и поднял голову.

– Я совсем з-забыл, – проговорил он извиняющимся тоном. – Я х-хотел рассказать вам о...

– О несчастном случае, когда вы сломали ногу. Но если вам тяжело об этом вспоминать...

– О несчастном случае? Но это не был несчастный случай! Нет. Меня просто избили кочергой.

Джемма смотрела на него в полном недоумении. Он откинул дрожащей рукой волосы со лба и улыбнулся.

– Может быть, вы присядете? Пожалуйста, придвиньте кресло поближе. К сожалению, я не могу сделать это сам. З-наете, я был бы д-драгоценной находкой для Риккардо, если бы ему пришлось лечить меня тогда. Ведь он, как истый хирург, ужасно любит поломанные кости, а у меня в тот раз было сломано, кажется, всё, что только можно сломать, за исключением шеи.

– И вашего мужества, – мягко插вила Джемма. – Но, может быть, его и нельзя сломить?

Овод покачал головой.

– Нет, – сказал он, – мужество моё кое-как удалось починить потом, вместе со всем прочим, что от меня осталось. Но тогда оно было разбито, как чайная чашка. В том-то и весь ужас... Да, так я начал рассказывать о кочерге. Это было... дайте припомнить... лет тринадцать назад в Лиме. Я говорил, что Перу прекрасная страна, но она не так уже прекрасна для тех, кто очутился там без гроша в кармане, как было со мной. Я побывал в Аргентине, потом в Чили. Бродил по всей стране, чуть не умирая с голоду, и приехал в Лиму из Вальпарайзо матросом на судне, перевозившем скот. В самом городе мне не удалось найти работу, и я спустился к докам, в Каллао, – решил попытать счастья там. Ну, как известно, во всех портовых городах есть трущобы, в которых собираются матросы, и в конце концов я устроился в одном из игорных притонов. Я исполнял должность повара, подавал напитки гостям и тому подобное. Занятие не особенно приятное, но я был рад и этому. Там меня кормили, я видел человеческие лица, слышал хоть какую-то человеческую речь. Вы, может быть, скажете, что радоваться было нечему, но незадолго перед тем я болел жёлтой лихорадкой, долго пролежал в полуразвалившейся лачуге совершенно один, и это вселило в меня ужас... И вот однажды ночью мне велели вытолкать за дверь пьяного матроса, который стал буянить. Он в этот день сошёл на берег, проиграл все свои деньги и был сильно не в духе. Мне пришлось послушаться, иначе я потерял бы место и околел с голоду; но этот человек был вдвое сильнее меня: мне пошёл тогда только двадцать второй год, и после лихорадки я был слаб, как котёнок. К тому же у него в руках была кочерга... – Овод замолчал и взглянул украдкой на Джемму. – Он, вероятно, хотел разделаться со мной, отправить на тот свет, но, будучи индийским матросом, выполнил свою работу небрежно и оставил меня недобитым как раз настолько, что я мог вернуться к жизни.

– А что же делали остальные? Неужели все испугались одного пьяного матроса?

Овод посмотрел на неё и расхохотался.

– /Остальные!/ Игроки и другие завсегдатаи притона? Как же вы не понимаете! Я был их слугой, /собственностью/. Они окружили нас и, конечно, были в восторге от такого зрелища. Там смотрят на подобные вещи, как на забаву. Конечно, в том случае, если действующим лицом является кто-то другой.

Джемма содрогнулась.

– Чем же всё это кончилось?

– Этого я вам не могу сказать. После такой драки человек обычно ничего не помнит в первые дни. Но поблизости был корабельный врач, и, по-видимому, когда зрители убедились, что я не умер, за ним послали. Он починил меня кое-как. Риккардо находит, что плохо, но, может быть, в нём говорит профессиональная зависть. Как бы то ни было, когда я очнулся, одна старуха туземка взяла меня к себе из христианского милосердия – не правда ли, странно звучит? Помню, как она, бывало, сидит, скорчившись, в углу хижины, курит трубку, сплёвывает на пол и напевает что-то себе под нос. Старуха оказалась добрая, она все говорила, что у неё я могу умереть спокойно: никто мне не помешает. Но дух противоречия не оставил меня, и я решил выжить. Трудная это была работа – возвращаться к жизни, и теперь мне иной раз приходит в голову, что игра не стоила свеч. Терпение у этой старухи было поразительное. Я пробыл у неё... дай бог памяти... месяца четыре и всё это время то бредил, то буйствовал, как медведь с болячкой в ухе. Боль была, надо сказать, довольно сильная, а я человек изнеженный ещё с детства.

– Что же было дальше?

– Дальше... кое-как поправился и уполз от старухи. Не думайте, что во мне говорила щепетильность, нежелание злоупотреблять гостеприимством бедной женщины. Нет, мне было не до этого. Я просто не мог больше выносить её лачужку... Вы говорили о моём мужестве.

Посмотрели бы вы на меня тогда! Приступы боли возобновлялись каждый вечер, как только начинало смеркаться. После полудня я обычно лежал один и следил, как солнце опускается все ниже и ниже... О, вам никогда этого не понять! Я и теперь не могу без ужаса видеть солнечный закат...

Наступила долгая пауза.

– Потом я пошёл бродить по стране, в надежде найти какую-нибудь работу. Остаться в Лиме не было никакой возможности. Я сошёл бы с ума... Добрался до Куско... Однако зачем мучить вас этой старой историей – в ней нет ничего занимательного.

Джемма подняла голову и посмотрела на него серьёзным, глубоким взглядом.

– Не говорите так, /прошу/ вас, – сказала она.

Овод закусил губу и оторвал ещё одну бахромку от пледа.

– Значит, рассказывать дальше? – спросил он немного погодя.

– Если... если хотите... Но воспоминания мучительны для вас.

– А вы думаете, я забываю об этом, когда молчу? Тогда ещё хуже. Но меня мучают не сами воспоминания. Нет, страшно то, что я потерял тогда всякую власть над собой.

– Я не совсем понимаю...

– Моё мужество пришло к концу, и я оказался трусом.

– Но ведь есть предел всякому терпению!

– Да, и человек, который достиг этого предела, не знает, что с ним будет в следующий раз.

– Скажите, если можете, – нерешительно спросила Джемма, – каким образом вы в двадцать лет оказались заброшенным в такую даль?

– Очень просто. Дома, на родине, жизнь улыбалась мне, но я убежал отсюда.

– Почему?

Он засмеялся коротким, сухим смехом:

– Почему? Должно быть, потому, что я был самонадеянным мальчишкой. Я рос в богатой семье, меня до невозможности баловали, и я вообразил, что весь мир сделан из розовой ваты и засахаренного миндаля. Но в один прекрасный день выяснилось, что некто, кому я верил, обманывал меня... Что с вами? Почему вы так вздрогнули?

– Ничего. Продолжайте, пожалуйста.

– Я открыл, что меня оплели ложью. Случай весьма обыкновенный, конечно, но, повторяю, я был молод, самонадеян и верил, что лжецов ожидает ад. Поэтому я решил: будь что будет – и убежал в Южную Америку, без денег, не зная ни слова по-испански, будучи белоручкой, привыкшим жить на всём готовом. В результате я сам попал в настоящий ад, и это излечило меня от веры в ад воображаемый. Я уже был на самом дне... Так прошло пять лет, а потом экспедиция Дюпре вытащила меня на поверхность.

– Пять лет! Это ужасно! Но неужели у вас не было друзей?

– Друзей? – Он повернулся к ней всем телом. – У меня /никогда/ не было друзей...

Но через секунду словно устыдился своей вспышки и поспешил прибавить:

– Не придавайте всему этому такого значения. Я, пожалуй, изобразил своё прошлое в слишком мрачном свете. В действительности первые полтора года были вовсе не так плохи: я был молод, силен и довольно успешно выходил из затруднений, пока тот матрос не изувечил меня... После этого я уже не мог найти работу. Удивительно, каким совершенным оружием может быть кочерга в умелых руках! А калеку, понятно, никто не наймёт.

– Что же вы делали?

– Что мог. Одно время был на побегушках у негров, работавших на сахарных плантациях. Между прочим, удивительное дело! Рабы всегда ухитряются завести себе собственного раба. Впрочем, надсмотрщики не держали меня подолгу. Из-за хромоты я не мог двигаться быстро, да

и большие тяжести были мне не под силу. А кроме того, у меня то и дело повторялось воспаление или как там называется эта проклятая болезнь... Через некоторое время я переключался с плантаций на серебряные рудники и пытался устроиться там. Но управляющие смеялись, как только я заговаривал о работе, а рудокопы буквально травили меня.

– За что?

– Такова уж, должно быть, человеческая натура. Они видели, что я могу отбиваться только одной рукой. Наконец я ушёл с этих рудников и отправился бродяжничать, в надежде, что подвернётся какая-нибудь работа.

– Бродяжничать? С больной ногой?

Овод вдруг поднял на неё глаза, судорожно переведя дыхание.

– Я... я голодал, – сказал он.

Джемма отвернулась от него и оперлась на руку подбородком.

Он помолчал, потом заговорил снова, все больше и больше понижая голос:

– Я бродил и бродил без конца, до умопомрачения и всё-таки ничего не нашёл. Пробрался в Эквадор, но там оказалось ещё хуже. Иногда перепадала паяльная работа – я довольно хороший паяльщик – или какое-нибудь мелкое поручение. Случалось, что меня нанимали вычистить свиной хлев или... да не стоит перечислять... И вот однажды ...

Тонкая смуглая рука Овода вдруг сжалась в кулак, и Джемма, подняв голову, с тревогой взглянула ему в лицо. Оно было обращено к ней в профиль, и она увидела жилку на виске, бившуюся частыми неровными ударами. Джемма наклонилась и нежно взяла его за руку:

– Не надо больше. Об этом даже говорить тяжело.

Он нерешительно посмотрел на её руку, покачал головой и продолжал твёрдым голосом:

– И вот однажды я наткнулся на бродячий цирк. Помните, тот цирк, где мы были с вами? Так вот такой же, только ещё хуже, ещё вульгарнее. Тамошняя публика хуже наших флорентийцев – им чем грубее, грязнее, тем лучше. Входил в программу, конечно, и бой быков. Труппа расположилась на ночлег возле большой дороги. Я подошёл к ним и попросил милостыни. Погода стояла нестерпимо жаркая. Я изнемогал от голода и упал в обморок. В то время со мной часто случалось, что я терял сознание, точно институтка, затянутая в корсет. Меня внесли в палатку, накормили, дали мне коньяку, а на другое утро предложили мне...

Снова пауза.

– Им требовался горбун, вообще какой-нибудь уродец, чтобы мальчишкам было в кого бросать апельсинными и банановыми корками... Помните клоуна в цирке? Вот и я был таким же целых два года.

Итак, я научился выделывать кое-какие трюки. Но хозяину показалось, что я недостаточно изуродован. Это исправили: мне приделали фальшивый горб и постарались извлечь всё, что можно, из больной ноги и руки. Зрители там непритязательные – можно полюбоваться, как мучают живое существо, и с них этого достаточно. А шутовской наряд довершал впечатление. Всё бы шло прекрасно, но я часто болел и не мог выходить на арену. Если содержатель труппы бывал не в духе, он требовал, чтобы я всё-таки участвовал в представлении, и в такие вечера публика получала особое удовольствие. Помню, как-то раз у меня были сильные боли. Я вышел на арену и упал в обморок. Потом очнулся и вижу: вокруг толпятся люди, все кричат, улюлюкают, забрасывают меня...

– Не надо! Я не могу больше! Ради бога, перестаньте! – Джемма вскочила, зажав уши.

Овод замолчал и, подняв голову, увидел слезы у неё на глазах.

– Боже мой! Какой я идиот! – прошептал он.

Джемма отошла к окну. Когда она обернулась, Овод снова лежал, облокотившись на столик и прикрыв лицо рукой. Казалось, он забыл о её присутствии. Она села возле него и после

долгого молчания тихо проговорила:

– Я хочу вас спросить...

– Да?

– Почему вы тогда не перерезали себе горло?

Он удивлённо посмотрел на неё:

– Вот не ожидал от вас такого вопроса! А как же моё дело? Кто бы выполнил его за меня?

– Ваше дело? А-а, понимаю... И вам не стыдно говорить о своей трусости! Претерпеть все это и не забыть о стоящей перед вами цели! Вы самый мужественный человек, какого я встречала!

Он снова прикрыл лицо рукой и горячо сжал пальцы Джеммы. Наступило молчание, которому, казалось, не будет конца.

И вдруг в саду, под окнами, чистый женский голос запел французскую уличную песенку:

Ch, Pierrot! Danse, Pierrot!
Danse un pen, mon pauvre Jeannot!
Vive la danse et l'allegresse!
Jouissons de notre bell' jeunesse!
Si moi je pleure on moi je soupire,
Si moi ie fais la triste figure —
Monsieur, ce nest que pour rire!
Ha! Ha, ha, ha!
Monsieur, ce n'est que pour rire!^[71]

При первых же словах этой песни Овод с глухим стоном отшатнулся от Джеммы. Но она удержала его за руку и крепко сжала её в своих, будто стараясь облегчить ему боль во время тяжёлой операции. Когда же песня оборвалась и в саду раздались аплодисменты и смех, он медленно проговорил, устремив на неё страдальческий, как у затравленного зверя, взгляд:

– Да, это Зита со своими друзьями. Она хотела прийти ко мне в тот вечер, когда здесь был Риккардо. Я сошёл бы с ума от одного её прикосновения!

– Но ведь она не понимает этого, – мягко сказала Джемма. – Она даже не подозревает, что вам тяжело с ней.

В саду снова раздался взрыв смеха. Джемма поднялась и распахнула окно. Кокетливо повязанная шарфом с золотой вышивкой, Зита стояла посреди дорожки, подняв над головой руку с букетом фиалок, за которым тянулись три молодых кавалерийских офицера.

– Мадам Рени! – окликнула её Джемма.

Словно туча нашла на лицо Зиты.

– Что вам угодно, сударыня? – спросила она, бросив на Джемму вызывающий взгляд.

– Попросите, пожалуйста, ваших друзей говорить немножко потише. Синьор Риварес плохо себя чувствует.

Танцовщица швырнула фиалки на землю.

– Allez-vous-en! – крикнула она, круто повернувшись к удивлённым офицерам. – Vous m'embelez, messieurs!^[72] – и медленно вышла из сада.

Джемма закрыла окно.

– Они ушли, – сказала она.

– Благодарю... И простите, что вам пришлось побеспокоиться из-за меня.

– Беспокойство не большое...

Он сразу уловил нерешительные нотки в её голосе.

– Беспокойство не большое, но...? Вы не dokonчили фразы, синьора, там было «но».

– Если вы умеете читать чужие мысли, то не извольте обижаться на них. Правда, это не моё дело, но я не понимаю...

– Моего отвращения к мадам Рени? Это только когда я...

– Нет, я не понимаю, как вы можете жить вместе с ней, если она вызывает у вас такие чувства. По-моему, это оскорбительно для неё как для женщины, и...

– Как для женщины? – Он резко рассмеялся. – И вы называете /её/ женщиной?

– Это нечестно! – воскликнула Джемма. – Кто дал вам право говорить о ней в таком тоне с другими... и особенно с женщинами!

Овод отвернулся к окну и широко открытыми глазами посмотрел на заходящее солнце. Джемма опустила шторы и жалюзи, чтобы ему не было видно заката, потом села к столу у другого окна и снова взялась за вязанье.

– Не зажечь ли лампу? – спросила она немного погодя.

Овод покачал головой.

Когда стемнело, Джемма свернула работу и положила её в корзинку. Опустив руки на колени, она молча смотрела на неподвижную фигуру Овода. Тусклый вечерний свет смягчал насмешливое, самоуверенное выражение его лица и подчёркивал трагические складки у рта.

Джемма вспомнила вдруг каменный крест, поставленный её отцом в память Артура, и надпись на нём:

Все воды твои и волны твои прошли надо мной.

Целый час прошёл в молчании. Наконец Джемма встала и тихо вышла из комнаты. Возвращаясь назад с зажжённой лампой, она остановилась в дверях, думая, что Овод заснул. Но как только свет упал на него, он повернул к ней голову.

– Я сварила вам кофе, – сказала Джемма, опуская лампу на стол.

– Поставьте его куда-нибудь и, пожалуйста, подойдите ко мне.

Он взял её руки в свои.

– Знаете, о чём я думал? Вы совершенно правы, моя жизнь исковеркана. Но ведь женщину, достойную твоей... любви, встречаешь не каждый день. А мне пришлось перенести столько всяких бед! Я боюсь...

– Чего?

– Темноты. Иногда я просто /не могу/ оставаться один ночью. Мне нужно, чтобы рядом со мной было живое существо. Темнота, крошечная темнота вокруг... Нет, нет! Я боюсь не ада! Ад – это детская игрушка. Меня страшит темнота /внутренняя/, там нет ни плача, ни скрежета зубного, а только тишина... мёртвая тишина.

Зрачки у него расширились, он замолчал. Джемма ждала, затаив дыхание.

– Вы, наверно, думаете: что за фантазии! Да! Вам этого не понять – к счастью, для вас самой. А я сойду с ума, если останусь один. Не судите меня слишком строго. Я не так мерзок, как, может быть, кажется на первый взгляд.

– Осуждать вас я не могу, – ответила она. – Мне не приходилось испытывать такие страдания. Но беды... у кого их не было! И мне думается, если смалодушествовать и совершить несправедливость, жестокость, – раскаяния всё равно не минует. Но вы не устояли только в этом, а я на вашем месте потеряла бы последние силы, прокляла бы бога и покончила с собой.

Овод всё ещё держал её руки в своих.

– Скажите мне, – тихо проговорил он, – а вам никогда не приходилось корить себя за какой-нибудь жестокий поступок?

Джемма ничего не ответила ему, но голова её поникла, и две крупные слёзы упали на его руку.

– Говорите, – горячо зашептал он, сжимая её пальцы, – говорите! Ведь я рассказал вам о всех своих страданиях.

– Да... Я была жестока с человеком, которого любила больше всех на свете.

Руки, сжимавшие её пальцы, задрожали.

– Он был нашим товарищем, – продолжала Джемма, – его оклеветали, на него возвели явный поклёп в полиции, а я всему поверила. Я ударила его по лицу, как предателя... Он покончил с собой, утопился... Через два дня я узнала, что он был ни в чём не виновен... Такое воспоминание, пожалуй, похуже ваших... Я охотно дала бы отсечь правую руку, если бы этим можно было исправить то, что сделано.

Новый для неё, опасный огонёк сверкнул в глазах Овода. Он быстро склонил голову и поцеловал руку Джеммы. Она испуганно отшатнулась от него.

– Не надо! – сказала она умоляющим тоном. – Никогда больше не делайте этого. Мне тяжело.

– А разве тому, кого вы убили, не было тяжело?

– Тому, кого я убила... Ах, вот идёт Чезаре! Наконец-то! Мне... мне надо идти.

* * *

Войдя в комнату, Мартини застал Овода одного. Около него стояла нетронутая чашка кофе, и он тихо и монотонно, видимо не получая от этого никакого удовольствия, сыпал ругательствами.

Несколько дней спустя Овод вошёл в читальный зал общественной библиотеки и спросил собрание проповедей кардинала Монтанелли. Он был ещё очень бледен и хромал сильнее, чем всегда. Риккардо, сидевший за соседним столом, поднял голову. Он любил Овода, но не выносил в нём одной черты – озлобленности на всех и вся.

– Подготавливаете новое нападение на несчастного кардинала? – язвительно спросил Риккардо.

– Почему это вы, милейший, в-сегда приписываете людям з-лые умыслы? Это отнюдь не по-христиански. Я просто готовлю статью о современном богословии для н-новой газеты.

– Для какой новой газеты? – Риккардо нахмурился. Ни для кого не было тайной, что оппозиция только дожидалась нового закона о печати, чтобы поразить читателей газетой радикального направления, но открыто об этом не говорили.

– Для «Шарлатана» или – как она называется – «Церковная хроника»?

– Тише, Риварес! Мы мешаем другим.

– Ну, так вернитесь к своей хирургии и предоставьте м-мне заниматься богословием. Я не мешаю вам выправлять с-сломанные кости, хотя имел с ними дело гораздо больше, чем вы.

И Овод погрузился в изучение тома проповедей. Вскоре к нему подошёл один из библиотекарей.

– Синьор Риварес, если не ошибаюсь, вы были членом экспедиции Дюпре, исследовавшей притоки Амазонки. Помогите нам выйти из затруднения. Одна дама спрашивала отчёты этой экспедиции, а они как раз у переплётчика.

– Какие сведения ей нужны?

– Она хочет знать только, когда экспедиция выехала и когда она проходила через Эквадор.

– Экспедиция выехала из Парижа осенью тысяча восемьсот тридцать седьмого года и прошла через Квито в апреле тридцать восьмого. Мы провели три года в Бразилии, потом спустились к Рио ^[73] и вернулись в Париж летом сорок первого года. Не нужны ли вашей читательнице даты отдельных открытий?

– Нет, спасибо. Это всё, что ей требуется... Беппо, отнесите, пожалуйста, этот листок синьоре Болле... Ещё раз благодарю вас, синьор Риварес. Простите за беспокойство.

Нахмурившись, Овод откинулся на спинку стула. Зачем ей понадобились эти даты? Зачем ей знать, когда экспедиция проходила через Эквадор?

Джемма ушла домой с полученной справкой. Апрель 1838 года, а Артур умер в мае 1833. Пять лет...

Она взволнованно ходила по комнате. Последние ночи ей плохо спалось, и под глазами у неё были тёмные круги.

Пять лет... И он говорил о «богатом доме», о ком-то, «кому он верил и кто его обманул»... Обманул его, а обман открылся...

Она остановилась и заломила руки над головой. Нет, это чистое безумие!.. Этого не может быть... А между тем, как тщательно обыскали они тогда всю гавань!

Пять лет... И ему не было двадцати одного, когда тот матрос... Значит, он убежал из дому девятнадцати лет. Ведь он сказал: «полтора года»... А эти синие глаза и эти нервные пальцы? И отчего он так озлоблен против Монтанелли? Пять лет... Пять лет...

Если бы только знать наверное, что Артур утонул, если бы она видела его труп... Тогда эта старая рана зажила бы наконец, и тяжёлое воспоминание перестало бы так мучить её. И лет через двадцать она, может быть, привыкла бы оглядываться на прошлое без ужаса.

Вся её юность была отравлена мыслью об этом поступке. День за днём, год за годом боролась она с угрызениями совести. Она не переставала твердить себе, что служит будущему, и старалась отгородиться от страшного призрака прошлого. Но изо дня в день, из года в год её преследовал образ утопленника, уносимого в море, в сердце звучал горький вопль, который она не могла заглушить: «Артур погиб! Я убила его!» Порой ей казалось, что такое бремя слишком тяжело для неё.

И, однако, Джемма отдала бы теперь половину жизни, чтобы снова почувствовать это бремя. Горькая мысль, что она убила Артура, стала привычной; её душа слишком долго изнемогала под этой тяжестью, чтобы упасть под ней теперь. Но если она толкнула его не в воду, а... Джемма опустилась на стул и закрыла лицо руками. И подумать, что вся её жизнь была омрачена призраком его смерти! О, если бы она толкнула его только на смерть, а не на что-либо худшее!

Подробно, безжалостно вспоминала Джемма весь ад его прошлой жизни. И так ярко предстал этот ад в её воображении, словно она видела и испытала всё это сама: дрожь незащитной души, надругательства, ужас одиночества и муки горше смерти, не дающие покоя ни днём, ни ночью.

Так ясно видела она эту грязную лачугу, как будто сама была там, как будто страдала вместе с ним на серебряных рудниках, на кофейных плантациях, в бродячем цирке...

Бродячий цирк... Отогнать от себя хотя бы эту мысль... Ведь так можно потерять рассудок! Джемма выдвинула ящик письменного стола. Там у неё лежало несколько реликвий, с которыми она не могла заставить себя расстаться. Она не отличалась сентиментальностью и всё-таки хранила кое-что на память: это была уступка той слабой стороне её «я», которую Джемма всегда так упорно подавляла в себе. Она очень редко заглядывала в этот ящик.

Вот они – первое письмо Джиованни, цветы, что лежали в его мёртвой руке, локон её ребёнка, увядший лист с могилы отца. На дне ящика лежал портрет Артура, когда ему было десять лет, – единственный его портрет.

Джемма опустилась на стул и глядела на прекрасную детскую головку до тех пор, пока образ Артура-юноши не встал перед ней. Как ясно она видела теперь его лицо! Нежные очертания рта, большие серьёзные глаза, ангельская чистота выражения – все это так запечатлелось в её памяти, как будто он умер вчера. И медленные слепящие слезы скрыли от неё портрет.

Как могла ей прийти в голову такая мысль! Разве не святотатство навязывать этому светлому далёкому духу грязь и скорбь жизни? Видно, боги любили его и дали ему умереть молодым. В тысячу раз лучше перейти в небытие, чем остаться жить и превратиться в Овода, в этого Овода, с его дорогими галстуками, сомнительными остротами и язвительным языком... Нет, нет! Это страшный плод её воображения. Она ранит себе сердце пустыми выдумками – Артур мёртв!

– Можно войти? – негромко спросили у двери.

Джемма вздрогнула так сильно, что портрет выпал у неё из рук. Овод прошёл, хромая, через всю комнату, поднял его и подал ей.

– Как вы меня испугали! – сказала она.

– П-простите, пожалуйста. Быть может, я помешал?

– Нет, я перебирала разные старые вещи.

С минуту Джемма колебалась, потом протянула ему портрет:

– Что вы скажете об этой головке?

И пока Овод рассматривал портрет, она следила за ним так напряжённо, точно вся её жизнь зависела от выражения его лица. Но он только критически поднял брови и сказал:

– Трудную вы мне задали задачу. Миниатюра выцвела, а детские лица вообще читать нелегко. Но мне думается, что этот ребёнок должен был стать несчастным человеком. И самое разумное, что он мог сделать, это остаться таким вот малышом.

– Почему?

– Посмотрите-на линию нижней губы. В нашем мире нет места таким натурам. Для них страдание есть страдание, а неправда – неправда. Здесь нужны люди, которые умеют думать только о своём деле.

– Портрет никого вам не напоминает?

Он ещё пристальнее посмотрел на миниатюру.

– Да. Как странно!.. Да, конечно, очень похож...

– На кого?

– На к-кардинала М-монтанелли. Быть может, у этого безупречного пастыря имеется племянник? Позвольте полюбопытствовать, кто это?

– Это детский портрет друга, о котором я вам недавно говорила.

– Того, которого вы убили?

Джемма невольно вздрогнула. Как легко и с какой жестокостью произнёс он это страшное слово!

– Да, того, которого я убила... если он действительно умер.

– Если?

Она не спускала глаз с его лица:

– Иногда я в этом сомневаюсь. Тела ведь так и не нашли. Может быть, он, как и вы, убежал из дому и уехал в Южную Америку.

– Будем надеяться, что нет. Вам было бы тяжело жить с такой мыслью. В своё время мне пришлось препроводить не одного человека в царство теней, но если б я знал, что какое-то живое существо по моей вине отправилось в Южную Америку, я потерял бы сон, уверяю вас.

– Значит, вы думаете, – сказала Джемма, сжав руки и подходя к нему, – что, если бы этот человек не утонул... а пережил то, что пережили вы, он никогда не вернулся бы домой и не предал бы прошлое забвению? Вы думаете, он не мог бы простить? Ведь и мне это много стоило! Смотрите!

Она откинула со лба тяжёлые пряди волос. Меж чёрных локонов проступала широкая серебряная полоса.

Наступило долгое молчание.

– Я думаю, – медленно сказал Овод, – что мёртвым лучше оставаться мёртвыми. Прошрое трудно забыть. И на месте вашего друга я продолжал бы оставаться мёртвым. Встреча с привидением – вещь неприятная.

Джемма положила портрет в ящик и заперла его на ключ.

– Жестокая мысль, – сказала она. – Поговорим о чем-нибудь другом.

– Я пришёл посоветоваться с вами об одном небольшом деле, если возможно – по секрету. Мне пришёл в голову некий план.

Джемма придвинула стул к столу и села.

– Что вы думаете о проектируемом законе относительно печати? – начал он ровным голосом, без обычного заикания.

– Что я думаю? Я думаю, что проку от него будет мало, но лучше это, чем совсем ничего.

– Несомненно. Вы, следовательно, собираетесь работать в одной из новых газет, которые хотят здесь издавать?

– Да, я бы хотела этим заняться. При выпуске новой газеты всегда бывает много технической работы: поиски типографии, распространение и...

– И долго вы намерены губить таким образом свои способности?

– Почему «губить»?

– Конечно, губить. Ведь для вас не секрет, что вы гораздо умнее большинства мужчин, с которыми вам приходится работать, а вы позволяете им превращать вас в какую-то подсобную силу. В умственном отношении Грассини и Галли просто школьники в сравнении с вами, а вы сидите и правите их статьи, точно заправский корректор.

– Во-первых, я не всё время трачу на чтение корректур, а во-вторых, вы сильно преувеличиваете мои способности: они не так блестящи, как вам кажется.

– Я вовсе не считаю их блестящими, – спокойно ответил Овод. – У вас твёрдый и здравый ум, что гораздо важнее. На этих унылых заседаниях комитета вы первая замечаете ошибки ваших товарищей.

– Вы несправедливы к ним. У Мартини очень хорошая голова, а в способностях Фабрицци и Леги я не сомневаюсь. Что касается Грассини, то он знает экономическую статистику Италии лучше всякого чиновника.

– Это ещё не так много. Но бог с ними! Факт остаётся фактом: с вашими способностями вы могли бы выполнять более серьёзную работу и играть более ответственную роль.

– Я вполне довольна своим положением. Моя работа не так уж важна, но ведь всякий делает, что может.

– Синьора Болла, нам с вами не стоит говорить друг другу комплименты и скромничать. Ответьте мне прямо: считаете ли вы, что ваша теперешняя работа может выполняться людьми, стоящими гораздо ниже вас по уму?

– Ну, если вы уж так настаиваете, то, пожалуй, это до известной степени верно.

– Так почему же вы это допускаете?

Молчание.

– Почему вы это допускаете?

– Потому что я тут бессильна.

– Бессильны? Не понимаю!

Она укоризненно взглянула на него:

– Это неделикатно... так настойчиво требовать ответа.

– А всё-таки вы мне ответите.

– Ну хорошо. Потому, что моя жизнь разбита. У меня нет сил взяться теперь за что-нибудь настоящее. Я гожусь только в труженицы, на партийную техническую работу. Её я, по крайней мере, исполняю добросовестно, а ведь кто-нибудь должен ею заниматься.

– Да... Разумеется, кто-нибудь должен, но не один и тот же человек.

– Я, кажется, только на это и способна.

Он посмотрел на неё прищурившись. Джемма подняла голову:

– Мы возвращаемся к прежней теме, а ведь у нас должен быть деловой разговор. Зачем говорить со мной о работе, которую я могла бы делать? Я её не сделаю теперь. Но я могу помочь вам обдумать ваш план. В чём он состоит?

– Вы начинаете с заявления, что предлагать вам работу бесполезно, а потом спрашиваете, что я предлагаю. Мне нужно, чтобы вы не только обдумали мой план, но и помогли его выполнить.

– Расскажите сначала, в чём дело, а потом поговорим.

– Прежде всего я хочу знать вот что: слышали вы что-нибудь о подготовке восстания в Венеции?

– Со времени амнистии ни о чём другом не говорят, как о предстоящих восстаниях и о санфедистских заговорах, но я скептически отношусь к к тому и к другому.

– Я тоже в большинстве случаев. Но сейчас речь идёт о серьёзной подготовке к восстанию против австрийцев. В Папской области – особенно в четырех легатствах – молодёжь намеревается тайно перейти границу и примкнуть к восставшим. Друзья из Романьи сообщают мне...

– Скажите, – прервала его Джемма, – вы вполне уверены, что на ваших друзей можно положиться?

– Вполне. Я знаю их лично и работал с ними.

– Иначе говоря, они члены той же организации, что и вы? Простите мне моё недоверие, но я всегда немного сомневаюсь в точности сведений, получаемых от тайных организаций. Мне кажется...

– Кто вам сказал, что я член какой-то тайной организации? – резко спросил он.

– Никто, я сама догадалась.

– А! – Овод откинулся на спинку стула и посмотрел на Джемму, нахмурившись. – Вы всегда угадываете чужие тайны?

– Очень часто. Я довольно наблюдательна и умею устанавливать связь между фактами. Так что будьте осторожны со мной.

– Я ничего не имею против того, чтобы вы знали о моих делах, лишь бы дальше не шло. Надеюсь, что эта ваша догадка не стала достоянием...

Джемма посмотрела на него не то удивлённо, не то обиженно.

– По-моему, это излишний вопрос, – сказала она.

– Я, конечно, знаю, что вы ничего не станете говорить посторонним, но членам вашей партии, быть может...

– Партия имеет дело с фактами, а не с моими догадками и домыслами. Само собой разумеется, что я никогда ни с кем об этом не говорила.

– Благодарю вас. Вы, быть может, угадали даже, к какой организации я принадлежу?

– Я надеюсь... не обижайтесь только за мою откровенность, вы ведь сами начали этот разговор, – я надеюсь, что это не «Кинжальщики».

– Почему вы на это надеетесь?

– Потому что вы достойны лучшего.

– Все мы достойны лучшего. Вот вам ваш же ответ. Я, впрочем, состою членом организации «Красные пояса». Там более крепкий народ, серьёзнее относятся к своему делу.

– Под «делом» вы имеете в виду убийства?

– Да, между прочим и убийства. Кинжал – очень полезная вещь тогда, когда за ним стоит хорошая организованная пропаганда. В этом-то я и расхожусь с той организацией. Они думают, что кинжал может устранить любую трудность, и сильно ошибаются: кое-что устранить можно, но не все.

– Неужели вы в самом деле верите в это?

Овод с удивлением посмотрел на неё.

– Конечно, – продолжала Джемма, – с помощью кинжала можно устранить конкретного носителя зла – какого-нибудь шпика или особо зловредного представителя власти, но не возникнет ли на месте прежнего препятствия новое, более серьёзное? Вот в чём вопрос! Не получится ли, как в притче о выметенном и прибранном доме и о семи злых духах? Ведь каждый новый террористический акт ещё больше озлобляет полицию, а народ приучает смотреть на жестокости и насилие, как на самое обыкновенное дело.

– А что же, по-вашему, будет, когда грянет революция? Народу придётся привыкать к насилию. Война есть война.

– Это совсем другое дело. Революция – преходящий момент в жизни народа. Такова цена,

которую мы платим за движение вперёд. Да! Во время революций насилия неизбежны, но это будет только в отдельных случаях, это будут исключения, вызванные исключительностью исторического момента. А в террористических убийствах самое страшное то, что они становятся чем-то заурядным, на них начинают смотреть, как на нечто обыденное, у людей притупляется чувство святости человеческой жизни. Я редко бывала в Романье, и всё же у меня сложилось впечатление, что там привыкли или начинают привыкать к насильственным методам борьбы.

– Лучше привыкнуть к этому, чем к послушанию и покорности.

– Не знаю... Во всякой привычке есть что-то дурное, рабское, а эта, кроме всего прочего, воспитывает в людях жестокость. Но если, по-вашему, революционная деятельность должна заключаться только в том, чтобы вырывать у правительства те или иные уступки, тогда тайные организации и кинжал покажутся вам лучшим оружием в борьбе, ибо правительства боятся их больше всего на свете. А по-моему, борьба с правительством – это лишь средство, главная же наша цель – изменить отношение человека к человеку. Приучая невежественных людей к виду крови, вы уменьшаете в их глазах ценность человеческой жизни.

– А ценность религии?

– Не понимаю.

Он улыбнулся:

– Мы с вами расходимся во мнениях относительно того, где корень всех наших бед. По-вашему, он в недооценке человеческой жизни...

– Вернее, в недооценке человеческой личности, которая священна.

– Как вам угодно. А по-моему, главная причина всех наших несчастий и ошибок – душевная болезнь, именуемая религией.

– Вы говорите о какой-нибудь одной религии?

– О нет! Они отличаются одна от другой лишь внешними симптомами. А сама болезнь – это религиозная направленность ума, это потребность человека создать себе фетиш и обоготворить его, пасть ниц перед кем-нибудь и поклоняться кому-нибудь. Кто это будет – Христос, Будда или дикарский тотем, – не имеет значения. Вы, конечно, не согласитесь со мной. Можете считать себя атеисткой [\[74\]](#), агностиком [\[75\]](#), кем заблагорассудится, – все равно я за пять шагов чувствую вашу религиозность. Впрочем, наш спор бесцелен, хотя вы грубо ошибаетесь, думая, что я рассматриваю террористические акты только как способ расправы со зловерными представителями власти. Нет, это способ – и, по-моему, наилучший способ – подрывать авторитет церкви и приучать народ к тому, чтобы он смотрел на её служителей, как на паразитов.

– А когда вы достигнете своей цели, когда вы разбудите зверя, дремлющего в человеке, и натравите его на церковь, тогда...

– Тогда я скажу, что сделал своё дело, ради которого стоило жить.

– Так вот о каком деле шла речь в тот раз!

– Да, вы угадали.

Она вздрогнула и отвернулась от него.

– Вы разочаровались во мне? – с улыбкой спросил Овод.

– Нет, не разочаровалась... Я... я, кажется, начинаю бояться вас.

Прошла минута, и, взглянув на него, Джемма проговорила своим обычным деловым тоном:

– Да, спорить нам бесполезно. У нас слишком разные мерилы. Я, например, верю в пропаганду, пропаганду и ещё раз пропаганду и в открытое восстание, если оно возможно.

– Тогда вернёмся к моему плану. Он имеет отношение к пропаганде, но только некоторое, а к восстанию – непосредственное.

– Я вас слушаю.

– Итак, я уже сказал, что из Романьи в Венецию направляется много добровольцев. Мы ещё не знаем, когда вспыхнет восстание. Быть может, не раньше осени или зимы. Но добровольцев нужно вооружить, чтобы они по первому зову могли двинуться к равнинам. Я взялся переправить им в Папскую область оружие и боевые припасы...

– Погодите минутку... Как можете вы работать с этими людьми? Революционеры в Венеции и Ломбардии стоят за нового папу. Они сторонники либеральных форм и положительно относятся к прогрессивному церковному движению. Как можете вы, такой непримиримый антиклерикал, уживаться с ними?

Овод пожал плечами:

– Что мне до того, что они забавляются тряпичной куклой? Лишь бы делали своё дело! Да, конечно, они будут носиться с папой. Почему это должно меня тревожить, если мы всё же идём на восстание? Побить собаку можно любой палкой, и любой боевой клич хорош, если с ним поднимешь народ на австрийцев.

– Чего же вы ждёте от меня?

– Главным образом, чтобы вы помогли мне переправить оружие через границу.

– Но как я это сделаю?

– Вы сделаете это лучше всех. Я собираюсь закупить оружие в Англии, и с доставкой предстоит немало затруднений. Ввозить через порты Папской области невозможно; значит, придётся доставлять в Тоскану, а оттуда переправлять через Апеннины.

– Но тогда у вас будут две границы вместо одной!

– Да, но все другие пути безнадёжны. Ведь привезти большой контрабандный груз в неторговую гавань нельзя, а вы знаете, что в Чивита-Веккиа^[76] заходят самое большее три парусные лодки да какая-нибудь рыбацья шхуна. Если только мы доставим наш груз в Тоскану, я берусь провезти его через границу Папской области. Мои товарищи знают там каждую горную тропинку, и у нас много мест, где можно прятать оружие. Груз должен прийти морским путём в Ливорно, и в этом-то главное затруднение. У меня нет там связей с контрабандистами, а у вас, вероятно, есть.

– Дайте мне подумать пять минут.

Джемма облокотилась о колено, подперев подбородок ладонью, и вскоре сказала:

– Я, вероятно, смогу вам помочь, но до того, как мы начнём обсуждать все подробно, ответьте на один вопрос. Вы можете дать мне слово, что это дело не будет связано с убийствами и вообще с насилием?

– Разумеется! Я никогда не предложил бы вам участвовать в том, чего вы не одобряете.

– Когда нужен окончательный ответ?

– Время не терпит, но я могу подождать два-три дня.

– Вы свободны в субботу вечером?

– Сейчас скажу... сегодня четверг... да, свободен.

– Ну, так приходите ко мне. За это время я все обдумаю.

* * *

В следующее воскресенье Джемма послала комитету флорентийской организации мадзинистов письмо, в котором сообщала, что намерена заняться одним делом политического характера и поэтому не сможет исполнять в течение нескольких месяцев ту работу, за которую до сих пор была ответственна перед партией.

В комитете её письмо вызвало некоторое удивление, но возражать никто не стал. Джемму

знали в партии как человека, на которого можно положиться, и члены комитета решили, что, если синьора Болла предпринимает неожиданный шаг, то имеет на это основательные причины.

Мартини Джемма сказала прямо, что берётся помочь Оводу в кое-какой «пограничной работе». Она заранее выговорила себе право быть до известной степени откровенной со своим старым другом – ей не хотелось, чтобы между ними возникали недоразумения и тайны. Она считала себя обязанной доказать, что доверяет ему. Мартини ничего не сказал ей, но Джемма поняла, что эта новость глубоко его огорчила.

Они сидели у неё на террасе, глядя на видневшийся вдали, за красными крышами, Фьезоле. После долгого молчания Мартини встал и принялся ходить взад и вперёд, заложив руки в карманы и посвистывая, что служило у него верным признаком волнения. Несколько минут Джемма молча смотрела на него.

– Чезаре, вас это очень обеспокоило, – сказала она наконец. – Мне ужасно неприятно, что вы так волнуетесь, но я не могла поступить иначе.

– Меня смущает не дело, за которое вы берётесь, – ответил он мрачно. – Я ничего о нём не знаю и думаю, что, если вы соглашаетесь принять в нём участие, значит, оно того заслуживает. Но я не доверяю человеку, с которым вы собираетесь работать.

– Вы, вероятно, не понимаете его. Я тоже не понимала, пока не узнала ближе. Овод далёк от совершенства, но он гораздо лучше, чем вы думаете.

– Весьма вероятно. – С минуту Мартини молча шагал по террасе, потом вдруг остановился. – Джемма, откажитесь! Откажитесь, пока не поздно. Не давайте этому человеку втянуть вас в его дела, чтобы не раскаиваться впоследствии.

– Ну что вы говорите, Чезаре! – мягко сказала она. – Никто меня ни во что не втягивает. Я пришла к своему решению самостоятельно, хорошо все обдумав. Я знаю, вы не любите Ривареса, но речь идёт о политической работе, а не о личностях.

– Мадонна, откажитесь! Это опасный человек. Он скрытен, жесток, не останавливается ни перед чем... и он любит вас.

Она откинулась на спинку стула:

– Чезаре, как вы могли вообразить такую нелепость!

– Он любит вас, – повторил Мартини. – Прогоните его, мадонна!

– Чезаре, милый, я не могу его прогнать и не могу объяснить вам почему. Мы связаны друг с другом... не по собственной воле.

– Если это так, то мне больше нечего сказать, – ответил Мартини усталым голосом.

Он ушёл, сославшись на неотложные дела, и долго бродил по улицам. Все рисовалось ему в чёрном свете в тот вечер. Было у него единственное сокровище, и вот явился этот хитрец и украл его.

В середине февраля Овод уехал в Ливорно. Джемма свела его там с одним пароходным агентом, либерально настроенным англичанином, которого она и её муж знали ещё в Англии. Он уже не раз оказывал небольшие услуги флорентийским радикалам: ссужал их в трудную минуту деньгами, разрешал пользоваться адресом своей фирмы для партийной переписки и тому подобное. Но все это делалось через Джемму, из дружбы к ней.

Не нарушая партийной дисциплины, она могла пользоваться этим знакомством по своему усмотрению. Но теперь успех был сомнителен. Одно дело – попросить дружески настроенного иностранца дать свой адрес для писем из Сицилии или спрятать в сейфе его конторы какие-нибудь документы, и совсем другое – предложить ему перевезти контрабандой огнестрельное оружие для повстанцев. Джемма не надеялась, что он согласится.

– Можно, конечно, попробовать, – сказала она Оводу, – но я не думаю, чтобы из этого что-нибудь вышло. Если б вы пришли к Бэйли с моей рекомендацией и попросили пятьсот скудо [\[77\]](#), отказа не было бы: он человек в высшей степени щедрый. Может одолжить в трудную минуту свой паспорт или спрятать у себя в подвале какого-нибудь беглеца. Но, если вы заговорите с ним о ружьях, он удивится и примет нас обоих за сумасшедших.

– Но, может, он посоветует мне что-нибудь или сведёт меня с кем-нибудь из матросов, – ответил Овод. – Во всяком случае, надо попытаться.

Через несколько дней, в конце месяца, он пришёл к ней одетый менее элегантно, чем всегда, и она сразу увидела по его лицу, что у него есть хорошие новости.

– Наконец-то! А я уж начала бояться, не случилось ли с вами чего-нибудь.

– Я решил, что писать опасно, а раньше вернуться не мог.

– Вы только что приехали?

– Да, прямо с дилижанса. Я пришёл сказать, что всё улажено.

– Неужели Бэйли согласился помочь?

– Больше чем помочь. Он взял на себя все дело: упаковку, перевозку – все решительно. Ружья будут спрятаны в тюках товаров и придут прямо из Англии. Его компаньон и близкий друг, Вильямс, соглашается лично наблюдать за отправкой груза из Саутгэмптона, а Бэйли протащит его через таможню в Ливорно. Потому-то я и задержался так долго: Вильямс как раз уезжал в Саутгэмптон, и я проводил его до Генуи.

– Чтобы обсудить по дороге все дела?

– Да. И мы говорили до тех пор, пока меня не укачало.

– Вы страдаете морской болезнью? – быстро спросила Джемма, вспомнив, как мучился Артур, когда её отец повёз однажды их обоих кататься по морю.

– Совершенно не переносу моря, несмотря на то, что мне много приходилось плавать... Но мы успели поговорить, пока пароход грузили в Генуе. Вы, конечно, знаете Вильямса? Славный малый, неглупый и заслуживает полного доверия. Бэйли ему в этом отношении не уступает, и оба они умеют держать язык за зубами.

– Бэйли идёт на большой риск, соглашаясь на такое дело.

– Так я ему и сказал, но он лишь мрачно посмотрел на меня и ответил: «А вам-то что?» Другого ответа от него трудно было ожидать. Попадись он мне где-нибудь в Тимбукту, я бы подошёл к нему и сказал: «Здравствуйте, англичанин!»

– Всё-таки не понимаю, как они согласились! И особенно Вильямс – на него я просто не рассчитывала.

– Да, сначала он отказался наотрез, но не из страха, а потому, что считал все предприятие

«неделовым». Но мне удалось переубедить его... А теперь займёмся деталями.

Когда Овод вернулся домой, солнце уже зашло, и в наступивших сумерках цветы японской айвы тёмными пятнами выступали на садовой стене. Он сорвал несколько веточек и понёс их в дом. У него в кабинете сидела Зита. Она кинулась ему навстречу со словами:

– Феличе! Я думала, ты никогда не вернёшься!

Первым побуждением Овода было спросить её, зачем она сюда пожаловала, однако, вспомнив, что они не виделись три недели, он протянул ей руку и холодно сказал:

– Здравствуй, Зита! Ну, как ты поживаешь?

Она подставила ему лицо для поцелуя, но он, словно не заметив этого, прошёл мимо неё и взял вазу со стола. В ту же минуту дверь позади распахнулась настежь – Шайтан ворвался в кабинет и запрыгал вокруг хозяина, лаем, визгом и бурными ласками выражая ему свою радость. Овод оставил цветы и нагнулся к собаке:

– Здравствуй, Шайтан, здравствуй, старик! Да, да, это я. Ну, дай лапу!

Зита сразу помрачнела.

– Будем обедать? – сухо спросила она. – Я велела накрыть у себя – ведь ты писал, что вернёшься сегодня вечером.

Овод быстро поднял голову:

– П-прости, бога ради! Но ты напрасно ждала меня. Сейчас, я только переоденусь. Поставь, п-пожалуйста, цветы в воду.

Когда Овод вошёл в столовую, Зита стояла перед зеркалом и прикалывала ветку айвы к корсажу. Решив, видимо, сменить гнев на милость, она протянула ему маленький букетик красных цветов:

– Вот тебе бутоньерка. Дай я приколю.

За обедом Овод старался изо всех сил быть любезным и весело болтал о разных пустяках. Зита отвечала ему сияющими улыбками. Её радость смущала Овода. У Зиты была своя жизнь, свой круг друзей и знакомых – он привык к этому, и до сих пор ему не приходило в голову, что она может скучать по нём. А ей, видно, было тоскливо одной, если её так взволновала их встреча.

– Давай пить кофе на террасе, – предложила Зита. – Вечер такой тёплый!

– Хорошо! Гитару взять? Может, ты споёшь мне?

Зита так и просияла. Овод был строгий ценитель и не часто просил её петь.

На террасе вдоль всей стены шла широкая деревянная скамья. Овод устроился в углу, откуда открывался прекрасный вид на горы, а Зита села на перила, поставила ноги на скамью и прислонилась к колонне, поддерживающей крышу. Живописный пейзаж не трогал её – она предпочитала смотреть на Овода.

– Дай мне папиросу. Я ни разу не курила с тех пор, как ты уехал.

– Гениальная идея! Для полного б-блаженства не хватает только папиросы.

Зита наклонилась и внимательно посмотрела на него:

– Тебе правда хорошо сейчас?

Овод высоко поднял свои тонкие брови:

– Ты в этом сомневаешься? Я сытно пообедал, любуюсь видом, прекраснее которого, пожалуй, нет во всей Европе, а сейчас меня угостят кофе и венгерской народной песней. Кроме того, совесть моя спокойна, пищеварение в порядке. Что ещё нужно человеку?

– А я знаю – что!

– Что?

– Вот, лови! – Она бросила ему на колени маленькую коробку.

– Ж-жареный миндаль! Почему же ты не сказала раньше, пока я ещё не закурил?

– Глупый! Покуришь, а потом примешься за лакомство... А вот и кофе!

Овод с сосредоточенным видом грыз миндаль, прихлёбывал маленькими глотками кофе и наслаждался, точно кошка, лакающая сливки.

– Как п-приятно пить настоящий кофе после той б-бурды, которую подают в Ливорно! – протянул он своим мурлыкающим голосом.

– Вот и посидел бы подольше дома.

– Долго не усидишь. Завтра я опять уезжаю.

Улыбка замерла у Зиты на губах:

– Завтра?.. Зачем? Куда?

– Да так... в два-три места. По делам.

Посоветовавшись с Джеммой, он решил сам съездить в Апеннины и условиться с контрабандистами о перевозке оружия. Переход границы Папской области грозил ему серьёзной опасностью, но от его поездки зависел успех всей операции.

– Вечно одно и то же! – чуть слышно вздохнула Зита. А вслух спросила: – И это надолго?

– Нет, недели на две, на три.

– Те же самые дела? – вдруг спросила она.

– Какие «те же самые»?

– Да те, из-за которых ты когда-нибудь сломаешь себе шею. Политика?

– Да, это имеет некоторое отношение к п-политике.

Зита швырнула папиросу в сад.

– Ты меня не проведёшь, – сказала она. – Я знаю, эта поездка опасная.

– Да, я отправлюсь п-прямо в ад крошечный, – лениво протянул Овод. – У тебя, вероятно, есть там друзья, которым ты хочешь послать в подарок веточки плюща? Только не обрывай его весь.

Зита рванула с колонны целую плетвь и в сердцах бросила её на пол.

– Поездка опасная, – повторила она, – а ты даже не считаешь нужным чётно сказать мне все как есть. По-твоему, со мной можно только шутить и дурачиться! Тебе, может быть, грозит виселица, а ты молчишь! Политика, вечная политика! Как мне это надоело!

– И мне т-тоже, – проговорил Овод сквозь зевоту. – Поэтому давай побеседуем о чем-нибудь другом. Или, может быть, ты споёшь?

– Хорошо. Дай гитару. Что тебе спеть?

– «Балладу о коне». Это твой коронный номер.

Зита запела старинную венгерскую песню о человеке, который лишился сначала своего коня, потом крыши над головой, потом возлюбленной и утешал себя тем, что «больше горя принесла нам битва на Мохачском поле^[78]». Это была любимая песня Овода. Её суровая мелодия и горькое мужество припева трогали его так, как не трогала сентиментальная музыка.

Зита была в голосе. Звуки лились из её уст – чистые, полные силы и горячей жажды жизни. Итальянские и славянские песни не удавались ей, немецкие и подавно, а венгерские она пела мастерски.

Овод слушал, затаив дыхание, широко раскрыв глаза. Так хорошо Зита ещё никогда не пела. И вдруг на последних словах голос её дрогнул:

Ну так что же! Больше горя принесла нам...

Она всхлипнула и спрятала лицо в густой завесе плюща.

– Зита! – Овод взял у неё гитару. – Что с тобой?

Но она всхлипнула ещё громче и закрыла лицо ладонями. Он тронул её за плечо:

– Ну, что случилось?

– Оставь меня! – проговорила она сквозь слёзы, отстраняясь от него. – Оставь!

Овод вернулся на место и стал терпеливо ждать, когда рыдания стихнут. И вдруг Зита обняла его за шею и опустилась перед ним на колени:

– Феличе! Не уезжай! Не уезжай!

– Об этом после. – Он осторожно высвободился из её объятий. – Сначала скажи мне, что случилось? Ты чем-то напугана?

Зита молча покачала головой.

– Я тебя обидел?

– Нет. – Она коснулась ладонью его шеи.

– Так что же?

– Тебя убьют, – прошептала она наконец. – Ты попадёшься... так сказал один человек, из тех, что ходят сюда... я слышала. А на мои расспросы ты отвечаешь смехом.

– Зита, милая! – сказал Овод, с удивлением глядя на неё. – Ты вообразила бог знает что! Может, меня и убьют когда-нибудь – революционеры часто так кончают, но п-почему это должно случиться именно теперь? Я рискую не больше других.

– Другие! Какое мне дело до других! Ты не любишь меня! Разве с любимой женщиной так поступают? Я лежу по ночам не смыкая глаз и все думаю, арестован ты или нет. А если засыпаю, то вижу во сне, будто тебя убили. О собаке, вот об этой собаке ты заботаешься больше, чем обо мне!

Овод встал и медленно отошёл на другой конец террасы. Он не был готов к такому объяснению и не знал, что сказать ей. Да, Джемма была права – его жизнь зашла в тупик, и выбраться из этого тупика будет трудно.

– Сядем и поговорим обо всём спокойно, – сказал он, подойдя к Зите. – Мы, видно, не поняли друг друга. Я не стал бы шутить, если б знал, что ты серьёзно чем-то встревожена. Расскажи мне толком, что тебя так взволновало, и тогда все сразу выяснится.

– Выяснять нечего. Я и так вижу, что ты ни в грош меня не ставишь.

– Дорогая моя, будем откровенны друг с другом. Я всегда старался быть честным в наших отношениях и, насколько мне кажется, не обманывал тебя насчёт своих...

– О да! Твоя честность бесспорна! Ты никогда не скрывал, что считаешь меня непорядочной женщиной, – чем-то вроде дешёвой побрякушки, побывавшей до тебя в других руках!

– Замолчи, Зита! Я не позволяю себе так думать о людях!

– Ты меня никогда не любил, – с горечью повторила она.

– Да, я тебя никогда не любил. Но выслушай и не суди строго, если можешь.

– Я не осуждаю, я...

– Подожди минутку. Вот что я хочу сказать: условности общепринятой морали для меня не существуют. Я считаю, что в основе отношений между мужчиной и женщиной должно быть чувство приязни или неприязни.

– Или деньги, – вставила Зита с резким смешком.

Овод болезненно поморщился:

– Да, это самая неприглядная сторона дела. Но, уверяю тебя, я не позволил бы себе воспользоваться твоим положением, и между нами ничего бы не было, если бы я тебе не нравился. Я никогда не поступал так с женщинами, никогда не обманывал их в своих чувствах. Поверь мне, что это правда.

Зита молчала.

– Я рассуждал так, – снова заговорил Овод. – Человек живёт один как перст в целом мире и

чувствует, что присутствие женщины скрасит его одиночество. Он встречает женщину, которая нравится ему и которой он тоже не противен... Так почему же не принять с благодарностью то, что она может ему дать, зачем требовать и от неё и от себя большего? Я не вижу тут ничего дурного – лишь бы в таких отношениях всё было по-честному, без обмана, без ненужных обид. Что же касается твоих связей с другими мужчинами до нашей встречи, то я об этом как-то не думал. Мне казалось, что наша дружба будет приятна нам обоим, а лишь только она станет в тягость, мы порвём друг с другом. Если я ошибся... если ты смотришь теперь на это по-иному, значит...

Он замолчал.

– Значит?... – чуть слышно повторила Зита, не глядя на него.

– Значит, я поступил с тобой дурно, о чём весьма сожалею. Но это получилось помимо моей воли.

– Ты «весьма сожалеешь», «это получилось помимо твоей воли»! Феличе! Да что у тебя – каменное сердце? Неужели ты сам никогда не любил, что не видишь, как я люблю тебя!

Что-то дрогнуло в нём при этих словах. Он так давно не слышал, чтобы кто-нибудь говорил ему «люблю». А Зита уже обнимала его, повторяя:

– Феличе! Уедем отсюда! Уедем из этой ужасной страны, от этих людей, у которых на уме одна политика! Что нам до них? Уедем в Южную Америку, где ты жил. Там мы будем счастливы!

Страшные воспоминания, рождённые этими словами, отрезвили его. Он развёл её руки и крепко сжал их:

– Зита! Пойми, я не люблю тебя! А если б и любил, то всё равно не уехал бы отсюда. В Италии все мои товарищи, к Италии меня привязывает моя работа.

– И один человек, которого ты любишь больше всех! – крикнула она. – Я тебя убью!.. При чём тут товарищи? Я знаю, кто тебя держит здесь!

– Перестань, – спокойно сказал он. – Ты сама себя не помнишь, и тебе мерещится бог знает что.

– Ты думаешь, я о синьоре Болле? Нет, меня не так легко одурачить! С ней ты говоришь только о политике. Она значит для тебя не больше, чем я... Это кардинал!

Овод пошатнулся, будто его ударили.

– Кардинал? – машинально повторил он.

– Да! Кардинал Монтанелли, который выступал здесь с проповедями осенью. Думаешь, я не заметила, каким взглядом ты провожал его коляску? И лицо у тебя было белое, как вот этот платок. Да ты и сейчас дрожишь, услышав только его имя!

Овод встал.

– Ты просто не отдаёшь себе отчёта в своих словах, – медленно и тихо проговорил он. – Я... я ненавижу кардинала. Это мой заклятый враг.

– Враг он или не враг, не знаю, но ты любишь его больше всех на свете. Погляди мне в глаза и скажи, что это неправда!

Овод отвернулся от неё и подошёл к окну. Зита украдкой наблюдала за ним, испугавшись того, что наделала, – так страшно было наступившее на террасе молчание. Наконец она не выдержала и, подкравшись к нему, робко, точно испуганный ребёнок, потянула его за рукав. Овод повернулся к ней.

– Да, это правда, – сказал он.

– А не могу ли я встретиться с ним где-нибудь в горах? В Бризигелле опасно.

– Каждая пядь земли в Доманье опасна для вас, но сейчас Бризигелла – самое надёжное место.

– Почему?

– А вот почему... Не поворачивайтесь лицом к этому человеку в синей куртке: он опасный субъект... Да, буря была страшная. Я такой и не помню. Виноградники-то как побило!

Овод положил руки на стол и уткнулся в них головой, как человек, изнемогающий от усталости или выпивший лишнее. Окинув быстрым взглядом комнату, «опасный субъект» в синей куртке увидел лишь двоих крестьян, толкующих об урожае за бутылкой вина, да сонного горца, опустившего голову на стол. Такую картину можно было часто наблюдать в кабачках маленьких деревушек, подобных Марради, и обладатель синей куртки, решив, по-видимому, что здесь ничего интересного не услышишь, выпил залпом своё вино и перекочевал в другую комнату, первую с улицы. Опершись о прилавок и лениво болтая с хозяином, он поглядывал время от времени через открытую дверь туда, где те трое сидели за столом. Крестьяне продолжали потягивать вино и толковали о погоде на местном наречии, а Овод храпел, как человек, совесть которого чиста.

Наконец сыщик убедился, что в кабачке нет ничего такого, из-за чего стоило бы терять время. Он уплатил, сколько с него приходилось, вышел ленивой походкой из кабачка и медленно побрёл по узкой улице.

Овод поднял голову, зевнул, потянулся и протёр глаза рукавом полотняной блузы.

– Недурно у них налажена слежка, – сказал он и, вытащив из кармана складной нож, отрезал от лежавшего на столе каравая ломоть хлеба. – Очень они вас донимают, Микеле?

– Хуже, чем комары в августе. Просто ни минуты покоя не дают. Куда ни придёшь, всюду сыщики. Даже в горах, где их раньше и не видавали, теперь то и дело встречаешь группы по три-четыре человека... Верно, Джино?.. Потому-то мы и устроили так, чтобы вы встретились с Доминикино в городе.

– Да, но почему именно в Бризигелле? Пограничные города всегда полны сыщиков.

– Лучше Бризигеллы ничего не придумаешь. Она кишит богомольцами со всех концов страны.

– Но Бризигелла им совсем не по пути.

– Она недалеко от дороги в Рим, и многие паломники делают небольшой крюк, чтобы послушать там обедню.

– Я не знал, что в Бризигелле есть к-какие-то достопримечательности.

– А кардинал? Помните, он приезжал во Флоренцию в октябре прошлого года? Так это здешний кардинал Монтанелли. Говорят, он произвёл на всех вас большое впечатление.

– Весьма вероятно. Но я не хожу слушать проповеди.

– Его считают святым.

– Почему же у него такая слава?

– Не знаю. Может, потому, что он раздаёт всё, что получает, и живёт, как приходский священник, на четьреста – пятьсот скудо в год.

– Мало того, – вступил в разговор тот, которого звали Джино, – кардинал не только оделяет всех деньгами – он все своё время отдаёт бедным, следит, чтобы за больными был хороший уход, выслушивает с утра до ночи жалобы и просьбы. Я не больше твоего люблю попов, Микеле, но монсеньёр Монтанелли не похож на других кардиналов.

– Да, он скорее блаженный, чем плут! – сказал Микеле. – Но как бы там ни было, а народ от него без ума, и в последнее время у паломников вошло в обычай заходить в Бризигеллу, чтобы получить его благословение. Доминикино думает идти туда разносчиком с корзиной дешёвых крестов и чётков. Люди охотно покупают эти вещи и просят кардинала прикоснуться к ним. А потом вешают их на шею своим детям от дурного глаза.

– Подождите минутку... Как же мне идти? Под видом паломника? Мой теперешний костюм мне очень нравится, но я знаю, что п-показываться в Бризигелле в том же самом обличье, как и здесь, нельзя. Если меня схватят, это б-будет уликой против вас.

– Никто вас не схватит. Мы припасли вам костюм, паспорт и всё, что требуется.

– Какой же это костюм?

– Старика богомольца из Испании – покаявшегося убийцы. В прошлом году в Анколе он заболел, и один из наших товарищей взял его из сострадания к себе на торговое судно, а потом высадил в Венеции, где у старика были друзья. В знак благодарности он оставил нам свои бумаги. Теперь они вам пригодятся.

– П-покаявшийся убийца? Как же быть с п-полицией?

– С этой стороны всё обстоит благополучно. Старик отбыл свой срок каторги несколько лет тому назад и с тех пор ходит по святым местам, спасает душу. Он убил своего сына по ошибке, вместо кого-то другого, и сам отдался в руки полиции.

– Он совсем старый?

– Да, но седой парик и седая борода состарят и вас, а все остальные его приметы точка в точку совпадают с вашими. Он отставной солдат, хромает, на лице шрам, как у вас, по национальности испанец; если вам попадутся испанцы, вы сумеете объясниться с ними.

– Где же мы встретимся с Доминикино?

– Вы примкнёте к паломникам на перекрёстке, который мы укажем вам на карте, и скажете им, что заблудились в горах. А в городе идите вместе с толпой на рыночную площадь, что против дворца кардинала.

– Так он, значит, живёт в-во дворце, н-несмотря на всю свою святость?

– Кардинал занимает одно крыло, остальная часть отведена под больницу... Дождитесь, когда он выйдет и даст благословение паломникам; в эту минуту появится Доминикино со своей корзинкой и скажет вам: «Вы паломник, отец мой?» А вы ответите ему: «Я несчастный грешник». Тогда он поставит корзинку наземь и утрёт лицо рукавом, а вы предложите ему шесть сольдо за чётки.

– Там и условимся, где можно поговорить?

– Да, пока народ будет глазеть на кардинала, он успеет назначить вам место встречи. Таков был наш план, но, если он вам не нравится, мы можем предупредить Доминикино и устроить дело иначе.

– Нет, нет, план хорош. Смотрите только, чтобы борода и парик выглядели естественно.

* * *

– Вы паломник, отец мой?

Овод, сидевший на ступеньках епископского дворца, поднял седую всклокоченную голову и хриплым, дрожащим голосом, коверкая слова, произнёс условный ответ. Доминикино спустил с плеча кожаный ремень и поставил на ступеньку свою корзину с чётками и крестами. Никто в толпе крестьян и богомольцев, наполнявших рыночную площадь, не обращал на них внимания, но осторожности ради они начали между собой отрывочный разговор. Доминикино говорил на

местном диалекте, а Овод – на ломаном итальянском с примесью испанских слов.

– Его преосвященство! Его преосвященство идёт! – закричали стоявшие у подъезда дворца. – Посторонитесь! Дорогу его преосвященству!

Овод и Доминикино встали.

– Вот, отец, возьмите, – сказал Доминикино, положив в руку Овода небольшой, завёрнутый в бумагу образок, – и помолитесь за меня, когда будете в Риме.

Овод сунул образок за пазуху и, обернувшись, посмотрел на кардинала, который в лиловой сутане и пунцовой шапочке стоял на верхней ступени и благословлял народ.

Монтанелли медленно спустился с лестницы, и богомольцы обступили его тесной толпой, стараясь поцеловать ему руку. Многие становились на колени и прижимали к губам край его сутаны.

– Мир вам, дети мои!

Услышав этот ясный серебристый голос, Овод так низко наклонил голову, что седые космы упали ему на лицо. Доминикино увидел, как посох паломника задрожал в его руке, и с восторгом подумал: «Вот комедиант!»

Женщина, стоявшая поблизости, нагнулась и подняла со ступенек своего ребёнка.

– Пойдём, Чекко, – сказала она, – его преосвященство благословит тебя, как Христос благословлял детей.

Овод сделал шаг вперёд и остановился. Как тяжело! Все эти чужие люди – паломники, горцы – могут подходить к нему и говорить с ним... Он коснётся рукой детей... Может быть, назовёт этого крестьянского мальчика *сагiно*, как называл когда-то...

Овод снова опустился на ступеньки и отвернулся, чтобы не видеть всего этого. Если бы можно было забиться куда-нибудь в угол, заткнуть уши и ничего не слышать! Это свыше человеческих сил... быть так близко, так близко от него, что только протяни руку – и дотронешься ею до любимой руки...

– Не зайдёте ли вы погреться, друг мой? – проговорил мягкий голос. – Вы, должно быть, продрогли.

Сердце Овода перестало биться. С минуту он ничего не чувствовал, кроме тяжкого гула крови, которая, казалось, разорвёт ему сейчас грудь; потом она отхлынула и щекочущей горячей волной разлилась по всему телу. Он поднял голову, и при виде его лица глубокий взгляд человека, стоявшего над ним, стал ещё глубже, ещё добрее.

– Отойдите немного, друзья, – сказал Монтанелли, обращаясь к толпе, – я хочу поговорить с ним.

Паломники медленно отступили, перешёптываясь друг с другом, и Овод, сидевший неподвижно, сжав губы и опустив глаза, почувствовал лёгкое прикосновение руки Монтанелли.

– У вас большое горе? Не могу ли я чем-нибудь помочь вам?

Овод молча покачал головой.

– Вы паломник?

– Я несчастный грешник.

Случайное совпадение вопроса Монтанелли с паролем оказалось спасительной соломинкой, за которую Овод ухватился в отчаянии. Он ответил машинально. Мягкое прикосновение руки кардинала жгло ему плечо, и дрожь охватила его тело.

Кардинал ещё ниже наклонился над ним.

– Быть может, вы хотите поговорить со мной с глазу на глаз? Если я могу чем-нибудь помочь вам...

Овод впервые взглянул прямо в глаза Монтанелли. Самообладание возвращалось к нему.

– Нет, – сказал он, – мне теперь нельзя помочь.

Из толпы выступил полицейский.

– Простите, ваше преосвященство. Старик не в своём уме. Он безобидный, и бумаги у него в порядке, поэтому мы не трогаем его. Он был на каторге за тяжкое преступление, а теперь искупает свою вину покаянием.

– За тяжкое преступление, – повторил Овод, медленно качая головой.

– Спасибо, капитан. Будьте добры, отойдите немного подальше... Друг мой, тому, кто искренне раскаялся, всегда можно помочь. Не зайдёте ли вы ко мне сегодня вечером?

– Захочет ли ваше преосвященство принять человека, который повинен в смерти собственного сына?

Вопрос прозвучал почти вызывающе, и Монтанелли вздрогнул и съёжился, словно от холодного ветра.

– Да сохранит меня бог осудить вас, что бы вы ни сделали! – торжественно сказал он. – В глазах господ все мы грешники, а наша праведность подобна грязным лохмотьям. Если вы придёте ко мне, я приму вас так, как молю всевышнего принять меня, когда наступит мой час.

Овод порывисто взмахнул руками.

– Слушайте, – сказал он. – И вы тоже слушайте, верующие! Если человек убил своего единственного сына – сына, который любил его и верил ему, был плотью от плоти его и костью от кости его, если ложью и обманом он завлёл его в ловушку, то может ли этот человек уповать на что-нибудь на земле или в небесах? Я покаялся в грехе своём богу и людям. Я перенёс наказание, наложенное на меня людьми, и они отпустили меня с миром. Но когда же скажет мне господь мой: «Довольно»? Чьё благословение снимет с души моей его проклятие? Какое отпущение грехов загладит то, что я сделал?

Наступила мёртвая тишина; все глядели на Монтанелли и видели, как вздымается крест на его груди. Наконец он поднял глаза и нетвёрдой рукой благословил народ:

– Господь всемилостив! Сложите к престолу его бремя души вашей, ибо сказано: «Сердца разбитого и сокрушённого не отвергай».

Кардинал повернулся и пошёл по площади, останавливаясь на каждом шагу поговорить с народом или взять на руки ребёнка.

Вечером того же дня, следуя указаниям, написанным на бумажке, в которую был завернут образок, Овод отправился к условленному месту встречи. Это был дом местного врача – активного члена организации. Большинство заговорщиков было уже в сборе, и восторг, с которым они приветствовали появление Овода, дал ему новое доказательство его популярности.

– Мы очень рады снова увидеть вас, – сказал врач, – но ещё больше обрадуемся, когда вы отсюда уедете. Ваш приезд – дело чрезвычайно рискованное, и я лично был против этого плана. Вы уверены, что ни одна из полицейских крыс не заметила вас сегодня утром на площади?

– З-заметить-то, конечно, заметили, да не узнали. Доминикино все в-великолепно устроил. Где он, кстати?

– Сейчас придёт. Итак, всё сошло гладко? Кардинал дал вам благословение?

– Дал благословение? Это бы ещё ничего! – раздался у дверей голос Доминикино. – Риварес, у вас сюрпризов, как в рождественском пироге. Какими ещё талантами вы нас удивите?

– А что такое? – лениво спросил Овод.

Он полулежал на кушетке, куря сигару; на нём ещё была одежда паломника, но парик и борода валялись рядом.

– Я и не подозревал, что вы талантливый актёр. Никогда в жизни не видел такой великолепной игры! Вы тронули его преосвященство почти до слёз.

– Как это было? Расскажите, Риварес.

Овод пожал плечами. Он был неразговорчив в этот вечер, и, видя, что от него ничего не

добьёшься, присутствующие обратились к Доминикино. Когда тот рассказал о сцене, разыгравшейся утром на рынке, один молодой рабочий угрюмо проговорил:

– Вы, конечно, ловко все это проделали, да только я не вижу, какой кому прок от такого представления.

– А вот какой, – ответил Овод. – Я теперь могу расхаживать свободно и делать, что мне вздумается, и ни одной живой душе никогда и в голову не придёт заподозрить меня в чем-нибудь. Завтра весь город узнает о сегодняшнем происшествии, и при встрече со мной сыщики будут думать: «Это сумасшедший Диэго, покаявшийся в грехах на площади». В этом есть большая выгода.

– Да, конечно! Но всё-таки лучше было бы сделать все как-нибудь по-другому, не обманывая кардинала. Он хороший человек, зачем его дурачить!

– Мне самому он показался человеком порядочным, – лениво согласился Овод.

– Глупости, Сандро! Нам здесь кардиналы не нужны, – сказал Доминикино. – И если бы монсеньёр Монтанелли принял пост в Риме, который ему предлагали, Риваресу не пришлось бы обманывать его.

– Он не принял этот пост только потому, что не хотел оставить своё здешнее дело.

– А может быть, потому, что не хотел быть отравленным кем-нибудь из агентов Ламбручини. Они имеют что-то против него, это несомненно. Если кардинал, в особенности такой популярный, как Монтанелли, предпочитает оставаться в нашей забытой богом дыре, мы знаем, чем тут пахнет. Не правда ли, Риварес?

Овод пускал дым колечками.

– Может быть, виной этому р-разбитое и сокрушённое сердце, – сказал он, откинув голову и следя за колечками дыма. – А теперь приступим к делу, господа!

Собравшиеся принялись подробно обсуждать вопрос о контрабандной перевозке и хранении оружия. Овод слушал внимательно и, если предложения были необдуманны и сведения неточны, прерывал спорящих резкими замечаниями. Когда все высказались, он подал несколько дельных советов, и большинство их было принято без споров. На этом собрание кончилось. Было решено, что до тех пор, пока Овод не вернётся благополучно в Тоскану, лучше не засиживаться по вечерам, чтобы не привлечь внимания полиции.

Все разошлись вскоре после десяти часов. Врач, Овод и Доминикино остались обсудить кое-какие специальные вопросы.

Завязался долгий и жаркий спор. Наконец Доминикино взглянул на часы:

– Половина двенадцатого. Надо кончать, не то мы наткнёмся на ночной дозор.

– В котором часу они обходят город? – спросил Овод.

– Около двенадцати. И я хотел бы вернуться домой к этому часу... Доброй ночи, Джордано!.. Пойдём вместе, Риварес?

– Нет, в одиночку безопаснее. Где мы увидимся?

– В Кастель-Болоньезе. Я ещё не знаю, в каком обличье я туда явлюсь, но пароль вам известен. Вы завтра уходите отсюда?

Овод надевал перед зеркалом парик и бороду.

– Завтра утром вместе с богомольцами. А послезавтра я заболую и останусь лежать в пастушьей хижине. Оттуда пойду напрямик через горы и приду в Кастель-Болоньезу раньше вас. Доброй ночи!

Часы на соборной колокольне пробили двенадцать, когда Овод подошёл к двери большого сарая, превращённого в место ночлега для богомольцев. На полу лежали неуклюжие человеческие фигуры; раздавался громкий храп; воздух в сарае был нестерпимо тяжёлый. Овод безразлично вздрогнул и попятился. Здесь всё равно не заснуть! Лучше походить час-другой, а

потом разыскать какой-нибудь навес или стог сена: гам будет чище и спокойнее.

Была тёплая ночь, и полная луна ярко сверкала в тёмном небе. Овод бродил по улицам, с горечью вспоминая утреннюю сцену. Как жалел он теперь, что согласился встретиться с Доминикино в Бризигелле! Если бы сказать сразу, что это опасно, выбрали бы другое место, и тогда он и Монтанелли были бы избавлены от этого ужасного, нелепого фарса.

Как padre изменился! А голос у него такой же, как в прежние дни, когда он называл его carino...

На другом конце улицы показался фонарь ночного сторожа, и Овод свернул в узкий извилистый переулок. Он сделал несколько шагов и очутился на соборной площади, у левого крыла епископского дворца. Площадь была залита лунным светом и совершенно пуста. Овод заметил, что боковая дверь собора приотворена. Должно быть, причетник забыл затворить её. Ведь службы в такой поздний час быть не может. А что, если войти туда и выспаться на скамье, вместо того чтобы возвращаться в душный сарай? Утром он осторожно выйдет из собора до прихода причетника. Да если даже его там и найдут, то, наверно, подумают, что сумасшедший Диэго молился где-нибудь в углу и оказался запертым.

Он постоял у двери, прислушиваясь, потом вошёл неслышной походкой, сохранившейся у него, несмотря на хромоту. Лунный свет вливался в окна и широкими полосами ложился на мраморный пол. Особенно ярко был освещён алтарь – совсем как днём. У подножия престола стоял на коленях кардинал Монтанелли, один, с обнажённой головой и молитвенно сложенными руками.

Овод отступил в тень. Не уйти ли, пока Монтанелли не увидел его? Это будет несомненно всего благоразумнее, а может быть, и милосерднее.

А если подойти – что в этом плохого? Подойти поближе и взглянуть в лицо padre ещё один раз; теперь вокруг них нет людей и незачем разыгрывать безобразную комедию, как утром. Быть может, ему больше не удастся увидеть padre! Он подойдёт незаметно и взглянет на него только один раз. А потом снова вернётся к своему делу.

Держась в тени колонн, Овод осторожно подошёл к решётке алтаря и остановился на мгновение у бокового входа, неподалёку от престола. Тень, падавшая от епископского кресла, была так велика, что скрыла его совершенно. Он пригнулся там в темноте и затаил дыхание.

– Мой бедный мальчик! О господи! Мой бедный мальчик!..

В этом прерывистом шёпоте было столько отчаяния, что Овод невольно вздрогнул. Потом послышались глубокие, тяжёлые рыдания без слёз, и Монтанелли заломил руки, словно изнемогая от физической боли.

Овод не думал, что padre так страдает. Не раз говорил он себе с горькой уверенностью: «Стоит ли об этом беспокоиться! Его рана давно зажила». И вот после стольких лет он увидел эту рану, из которой все ещё сочилась кровь. Как легко было бы вылечить её теперь! Стоит только поднять руку, шагнуть к нему и сказать: «Padre, это я!»

А у Джеммы седая прядь в волосах. О, если бы он мог простить! Если бы только он мог изгладить из памяти прошлое – пьяного матроса, сахарную плантацию, бродячий цирк! Какое страдание сравнишь с этим! Хочешь простить, стремишься простить – и знаешь, что это безнадежно, что простить нельзя.

Наконец Монтанелли встал, перекрестился и отошёл от престола. Овод отступил ещё дальше в тень, дрожа от страха, что кардинал увидит его, услышит биение его сердца. Потом он облегчённо вздохнул: Монтанелли прошёл мимо – так близко, что лиловая сутана коснулась его щеки, и всё-таки не увидел его.

Не увидел... О, что он сделал! Что он сделал! Последняя возможность – драгоценное мгновение, и он не воспользовался им. Овод вскочил и шагнул вперёд, в освещённое

пространство:

– Padre!

Звук собственного голоса, медленно затихающего под высокими сводами, испугал его. Он снова отступил в тень. Монтанелли остановился у колонны и слушал, стоя неподвижно, с широко открытыми, полными смертельного ужаса глазами. Сколько длилось это молчание, Овод не мог сказать: может быть, один миг, может быть, целую вечность. Но вот он пришёл в себя. Монтанелли покачнулся, как бы падая, и губы его беззвучно дрогнули.

– Артур... – послышался тихий шёпот. – Да, вода глубока...

Овод шагнул вперёд:

– Простите, ваше преосвященство, я думал, это кто-нибудь из здешних священников.

– А, это вы, паломник?

Самообладание вернулось к Монтанелли, но по мерцающему блеску сапфира на его руке Овод видел, что он всё ещё дрожит.

– Вам что-нибудь нужно, друг мой? Уже поздно, а собор на ночь запирается.

– Простите, ваше преосвященство. Дверь была открыта, и я зашёл помолиться. Увидел священника, погруженного в молитву, и решил попросить его освятить вот это.

Он показал маленький оловянный крестик, купленный утром у Доминикино. Монтанелли взял его и, войдя в алтарь, положил на престол.

– Примите, сын мой, – сказал он, – и да успокоится душа ваша, ибо господь наш кроток и милосерд. Ступайте в Рим и испросите благословение слуги господня, святого отца. Мир вам!

Овод склонил голову, принимая благословение, потом медленно побрёл к выходу.

– Подождите, – вдруг сказал Монтанелли. Он стоял, держась рукой за решётку алтаря. – Когда вы получите в Риме святое причастие, помолитесь за того, чьё сердце полно глубокой скорби и на чью душу тяжело легла десница господня.

В голосе кардинала чувствовались слезы, и решимость Овода поколебалась. Ещё мгновение – и он изменил бы себе. Но картина бродячего цирка снова всплыла в его памяти.

– Услышит ли господь молитву недостойного? Если бы я мог, как ваше преосвященство, принести к престолу его дар святой жизни, душу незапятнанную и не страждущую от тайного позора...

Монтанелли резко отвернулся от него.

– Я могу принести к престолу господню лишь одно, – сказал он, – своё разбитое сердце.

* * *

Через несколько дней Овод сел в Пистойе в дилижанс и вернулся во Флоренцию. Он заглянул прежде всего к Джемме, но не застал её дома и, оставив записку с обещанием зайти на другой день утром, пошёл домой, в надежде, что на сей раз Зита не совершит нашествия на его кабинет. Её ревнивые упрёки были бы как прикосновение сверла к больному зубу.

– Добрый вечер, Бианка, – сказал он горничной, отворившей дверь. – Мадам Рени заходила сегодня?

Девушка уставилась на него:

– Мадам Рени? Разве она вернулась, сударь?

– Откуда? – спросил Овод нахмурившись.

– Она уехала сейчас же вслед за вами, без вещей. И даже не предупредила меня, что уезжает.

– Вслед за мной? То есть две недели тому назад?

– Да, сударь, в тот же день. Все бросила. Соседи только об этом и толкуют.

Овод повернулся, не добавив больше ни слова, и быстро пошёл к дому, где жила Зита. В её комнатах всё было как прежде. Его подарки лежали по местам. Она не оставила ни письма, ни даже коротенькой записки.

– Сударь, – сказала Бианка, просунув голову в дверь, – там пришла старуха...

Он круто повернулся к ней:

– Что вам надо? Что вы ходите за мной по пятам?

– Эта старуха давно вас добивается.

– А ей что понадобилось? Скажите, что я не м-могу выйти. Я занят.

– Да она, сударь, приходит чуть не каждый вечер с тех самых пор, как вы уехали. Все спрашивает, когда вы вернётесь.

– Пусть передаст через вас, что ей нужно... Ну хорошо, я сам к ней выйду.

Когда Овод вышел в переднюю, ему навстречу поднялась старуха – смуглая, вся сморщенная, очень бедно одетая, но в пёстрой шали на голове. Она окинула его внимательным взглядом и сказала:

– Так вы и есть тот самый хромой господин? Зита Рени просила передать вам весточку.

Овод пропустил её в кабинет, вошёл следом за ней и затворил дверь, чтобы Бианка не подслушала их.

– Садитесь, пожалуйста. Кто вы т-такая?

– А это не ваше дело. Я пришла сказать вам, что Зита Рени ушла от вас с моим сыном.

– С вашим... сыном?

– Да, сударь! Не сумели удержать девушку – пеняйте теперь на себя. У моего сына в жилах кровь, а не снятое молоко. Он цыганского племени!

– Так вы цыганка! Значит, Зита вернулась к своим?

Старуха смерила его удивлённо-презрительным взглядом: какой же это мужчина, если он не способен даже разгневаться, когда его оскорбляют!

– А зачем ей оставаться у вас? Разве вы ей пара? Наши девушки иной раз уходят к таким, как вы, – кто из прихоти, кто из-за денег, – но цыганская кровь берет своё, цыганская кровь тянет назад, к цыганскому племени.

Ни один мускул не дрогнул на лице Овода.

– Она ушла со всем табором или её увёл ваш сын?

Старуха рассмеялась:

– Уж не собираетесь ли вы догонять Зиту и возвращать назад? Опоздали, сударь! Надо было раньше за ум браться!

– Нет, я просто хочу знать всю правду.

Старуха пожала плечами – стоит ли оскорблять человека, который даже ответить тебе как следует не может!

– Ну что ж, вот вам вся правда: Зита Рени повстречалась с моим сыном на улице в тот самый день, когда вы её бросили, и заговорила с ним по-цыгански. И хоть она была богато одета, он признал в ней свою и полюбил её, красавицу, так только /наши/ мужчины могут любить, и привёл в табор. Бедняжка все нам рассказала – про все свои беды – и так плакала, так рыдала, что у нас сердце разрывалось, на неё глядя. Мы утешили её, как могли, и тогда она сняла своё богатое платье, оделась по-нашему и согласилась пойти в жёны к моему сыну. Он не станет ей говорить: «Я тебя не люблю», да «я занят, у меня дела». Молодой женщине не годится быть одной. А вы разве мужчина! Не можете даже расцеловать красавицу, когда она сама вас обнимает...

– Вы говорили, – прервал её Овод, – что Зита просила что-то сказать мне.

– Да. Я нарочно отстала от табора, чтобы передать вам её слова. А она велела сказать, что ей надоели люди, которые болтают о всяких пустяках и у которых в жилах течёт не кровь, а вода, и что она возвращается к своему народу, к свободной жизни. «Я женщина, говорит, и я любила его и поэтому не хочу оставаться у него в наложницах». И она правильно сделала, что ушла от вас. Если цыганская девушка заработает немного денег своей красотой, в этом ничего дурного нет – на то ей и красота дана, – а /любить/ человека вашего племени она никогда не будет.

Овод встал.

– И это все? – спросил он. – Тогда передайте ей, пожалуйста, что она поступила правильно и что я желаю ей счастья. Больше мне нечего сказать. Прощайте!

Он дождался, когда калитка за старухой захлопнулась, сел в кресло и закрыл лицо руками.

Ещё одна пощёчина! Неужели же ему не оставят хоть клочка былой гордости, бывшего самоуважения! Ведь он претерпел все муки, какие только может претерпеть человек. Его сердце бросили в грязь под ноги прохожим. А его душа! Сколько ей пришлось вытерпеть презрения, издевательств! Ведь в ней не осталось живого места! А теперь и эта женщина, которую он подобрал на улице, взяла над ним верх!

За дверью послышался жалобный визг Шайтана. Овод поднялся и впустил собаку. Шайтан, как всегда, бросился к нему с бурными изъявлениями радости, но сразу понял, что дело неладно, и, ткнувшись носом в неподвижную руку хозяина, улёгся на ковре у его ног.

Час спустя к дому Овода подошла Джемма. Она постучала в дверь, но на её стук никто не ответил, Бианка, видя, что синьор Риварес не собирается обедать, ушла к соседней кухарке. Дверь она не заперла и оставила в прихожей свет. Джемма подождала минуту-другую, потом решилась войти; ей нужно было поговорить с Оводом о важных новостях, только что полученных от Бэйли.

Она постучалась в кабинет и услышала голос Овода:

– Вы можете уйти, Бианка. Мне ничего не нужно.

Джемма осторожно приотворила дверь. В комнате было совершенно темно, но лампа, стоявшая в прихожей, осветила Овода. Он сидел, свесив голову на грудь; у его ног, свернувшись, спала собака.

– Это я, – сказала Джемма.

Он вскочил ей навстречу:

– Джемма, Джемма! Как вы нужны мне!

И прежде чем она успела вымолвить слово, он упал к её ногам и спрятал лицо в складках её платья. По его телу пробежала дрожь, и это было страшнее слез...

Джемма стояла молча. Она ничем не могла помочь ему, ничем! Вот что больнее всего! Она должна стоять рядом с ним, безучастно глядя на его горе... Она, которая с радостью умерла бы, чтобы избавить его от страданий! О, если бы склониться к нему, сжать его в объятиях, защитить собственным телом от всех новых грозящих ему бед! Тогда он станет для неё снова Артуром, тогда для неё снова займётся день, который разгонит все тени.

Нет, нет! Разве он сможет когда-нибудь забыть? И разве не она сама толкнула его в ад, сама, своей рукой?

И Джемма упустила мгновение. Овод быстро поднялся, сел к столу и закрыл глаза рукой, кусая губы с такой силой, словно хотел прокусить их насквозь.

Потом он поднял голову и сказал уже спокойным голосом:

– Простите. Я, кажется, испугал вас.

Джемма протянула ему руки:

– Друг мой! Разве теперь вы не можете довериться мне? Скажите, что вас так мучит?

– Это мои личные невзгоды. Зачем тревожить ими других.

– Выслушайте меня, – сказала Джемма, взяв его дрожащие руки в свои. – Я не хотела касаться того, чего не вправе была касаться. Но вы сами, по своей доброй воле, стольким уже поделилась со мной. Так доверьте мне и то небольшое, что осталось недосказанным, как доверили бы вашей сестре! Сохраните маску на лице, если так вам будет легче, но сбросьте её со своей души, пожалейте самого себя

Овод ещё ниже опустил голову.

– Вам придётся запастись терпением, – сказал он. – Из меня выйдет плохой брат. Но если бы вы только знали... Я чуть не лишился рассудка в последние дни. Будто снова пережил Южную Америку. Дьявол овладевает мной и... – Голос его дрогнул.

– Переложите же часть ваших страданий на мои плечи, – прошептала Джемма.

Он прижался лбом к её руке:

– Тяжка десница господня!



Следующие пять недель Овод и Джемма прожили точно в каком-то вихре – столько было волнений и напряжённой работы. Не хватало ни времени, ни сил, чтобы подумать о своих личных делах. Оружие было благополучно переправлено контрабандным путём на территорию Папской области. Но оставалась невыполненной ещё более трудная и опасная задача: из тайных складов в горных пещерах и ущельях нужно было незаметно доставить его в местные центры, а оттуда развезти по деревням. Вся область кишела сыщиками. Доминикино, которому Овод поручил это дело, прислал во Флоренцию письмо, требуя либо помощи, либо отсрочки.

Овод настаивал, чтобы всё было кончено к середине июня, и Доминикино приходил в отчаяние. Перевозка тяжёлых грузов по плохим дорогам была задачей нелёгкой, тем более что необходимость сохранить все в тайне вызывала бесконечные проволочки.

«Я между Сциллой и Харибдой^[79], – писал он. – Не смею торопиться из боязни, что меня выследят, и не могу затягивать доставку, так как надо поспеть к сроку. Пришлите мне дельного помощника, либо дайте знать венецианцам, что мы не будем готовы раньше первой недели июля.»

Овод понёс это письмо Джемме.

Она углубилась в чтение, а он уселся на полу и, нахмутив брови, стал поглаживать Пашта против шерсти.

– Дело плохо, – сказала Джемма. – Вряд ли вам удастся убедить венецианцев подождать три недели.

– Конечно, не удастся. Что за нелепая мысль! Доминикино не мешало бы понять это. Не венецианцы должны приспосабливаться к нам, а мы – к ним.

– Нельзя, однако, осуждать Доминикино: он, очевидно, старается изо всех сил, но не может сделать невозможное.

– Да, вина тут, конечно, не его. Вся беда в том, что там один человек, а не два. Один должен охранять склады, а другой – следить за перевозкой. Доминикино совершенно прав: ему необходим дельный помощник.

– Но кого же мы ему дадим? Из Флоренции нам некого послать.

– В таком случае я д-должен ехать сам.

Джемма откинулась на спинку стула и взглянула на Овода, сдвинув брови:

– Нет, это не годится. Это слишком рискованно.

– Придётся всё-таки рискнуть, если н-нет иного выхода.

– Так надо найти этот иной выход-вот и все. Вам самому ехать нельзя, об этом нечего и думать.

Овод упрямо сжал губы:

– Н-не понимаю, почему?

– Вы поймёте, если спокойно подумаете минутку. Со времени вашего возвращения прошло только пять недель. Полиция уже кое-что пронюхала о старике паломнике и теперь рыщет в поисках его следов. Я знаю, как хорошо вы умеете менять свою внешность, но вспомните, скольким вы попались на глаза и под видом Диэго, и под видом крестьянина. А вашей хромоты и шрама не скроешь.

– М-мало ли на свете хромых!

– Да, но в Романье не так уж много хромых со следом сабельного удара на щеке, с

изуродованной левой рукой и с синими глазами при тёмных волосах.

– Глаза в счёт не идут: я могу изменить их цвет белладонной.

– А остальное?.. Нет, это невозможно! Отправиться туда сейчас при ваших приметах – это значит идти в ловушку. Вас немедленно схватят.

– Н-но кто-нибудь должен помочь Доминикино!

– Хороша будет помощь, если вы попадёте в такую критическую минуту! Ваш арест равносителен провалу вашего дела.

Но Овода нелегко было убедить, и спор их затянулся надолго, не приведя ни к какому результату. Джемма только теперь начала понимать, каким неисчерпаемым запасом спокойного упорства обладает этот человек. Если бы речь шла о чем-нибудь менее важном, она, пожалуй, и сдалась бы. Но в этом вопросе нельзя было уступать: ради практической выгоды, какую могла принести поездка Овода, рисковать, по её мнению, не стоило. Она подозревала, что его намерение съездить к Доминикино вызвано не столько политической необходимостью, сколько болезненной страстью к риску. Ставить под угрозу свою жизнь, лезть без нужды в самые горячие места вошло у него в привычку. Он тянулся к опасности, как запойный к вину, и с этим надо было настойчиво, упорно бороться. Видя, что её доводы не могут сломить его упрямую решимость, Джемма пустила в ход свой последний аргумент.

– Будем, во всяком случае, честны, – сказала она, – и назовём вещи своими именами. Не затруднения Доминикино заставляют вас настаивать на этой поездке, а ваша любовь к...

– Это неправда! – горячо заговорил Овод. – Он для меня ничто. Я вовсе не стремлюсь увидеть его... – И замолчал, прочтя на её лице, что выдал себя.

Их взгляды встретились, и они оба опустили глаза. Имя человека, который промелькнул у них в мыслях, осталось произнесенным.

– Я не... не Доминикино хочу спасти, – пробормотал наконец Овод, зарываясь лицом в пушистую шерсть кота, – я... я понимаю, какая опасность угрожает всему делу, если никто не явится туда на подмогу.

Джемма не обратила внимания на эту жалкую увёртку и продолжала, как будто её и не прерывали:

– Нет, тут говорит ваша страсть ко всякому риску. Когда у вас беспокойно на душе, вы тянетесь к опасности, точно к опиуму во время болезни.

– Я не просил тогда опиума! – вскипел Овод. – Они сами заставили меня принять его.

– Ну разумеется! Вы гордитесь своей выдержкой, и вдруг попросить лекарство – как же это можно! Но поставить жизнь на карту, чтобы хоть немного ослабить нервное напряжение, – это совсем другое дело! От этого ваша гордость не пострадает! А в конечном счёте разница между тем и другим только кажущаяся.

Овод взял кота обеими руками за голову и посмотрел в его круглые зелёные глаза:

– Как ты считаешь, Пашт! Права твоя злая хозяйка или нет? Значит, *mea culpa*, *mea m-maxima culpa*?^[80] Ты, мудрец, наверно, никогда не просишь опиума. Твоих предков в Египте обожествляли. Там никто не осмеливался наступать им на хвост. А любопытно, удалось бы тебе сохранить своё величественное презрение ко всем земным невзгодам, если бы я взял горящую свечу и поднёс её к твоей л-лапке... Небось запросил бы опиума? А, Пашт? Опиума... или смерти? Нет, котик, мы не имеем права умирать только потому, что это кажется нам наилучшим выходом. Пофыркай, помяучь немножко, а л-лапку отнимать не смей!

– Довольно! – Джемма взяла у Овода кота и посадила его на табуретку. – Все эти вопросы мы с вами обсудим в другой раз, а сейчас надо подумать, как помочь Доминикино... В чём дело, Кэтти? Кто-нибудь пришёл? Я занята.

– Сударыня, мисс Райт прислала пакет с посылным.

В тщательно запечатанном пакете было письмо со штемпелем Папской области, адресованное на имя мисс Райт, но не вскрытое. Старые школьные друзья Джеммы все ещё жили во Флоренции, и особенно важные письма нередко пересылались из предосторожности по их адресу.

– Это условный знак Микеле, – сказала она, наскоро пробежав письмо, в котором сообщались летние цены одного пансиона в Апеннинах, и указывая на два пятнышка в углу страницы. – Он пишет симпатическими чернилами. Реактив в третьем ящике письменного стола... Да, это он.

Овод положил письмо на стол и провёл по страницам тоненькой кисточкой. Когда на бумаге выступил ярко-синей строчкой настоящий текст письма, он откинулся на спинку стула и засмеялся.

– Что такое? – быстро спросила Джемма.

Он протянул ей письмо.

Доминикино арестован. Приезжайте немедленно.

Она опустила на стул, не выпуская письма из рук, и в отчаянии посмотрела на Овода.

– Ну что ж... – иронически протянул он, – теперь вам ясно, что я должен ехать?

– Да, – ответила она со вздохом. – И я тоже поеду.

Он вздрогнул:

– Вы тоже? Но...

– Разумеется. Нехорошо, конечно, что во Флоренции никого не останется, но теперь все это неважно; главное – иметь лишнего человека там, на месте.

– Да там их сколько угодно найдётся!

– Только не таких, которым можно безусловно доверять. Вы сами сказали, что там нужны по крайней мере два надёжных человека. Если Доминикино не мог справиться один, то вы тоже не справитесь. Для вас, как для человека скомпрометированного, конспиративная работа сопряжена с большими трудностями. Вам будет особенно нужен помощник. Вы рассчитывали работать с Доминикино, а теперь вместо него буду я.

Овод насупил брови и задумался.

– Да, вы правы, – сказал он наконец, – и чем скорей мы туда отправимся, тем лучше. Но нам нельзя выезжать вместе. Если я уеду сегодня вечером, то вы могли бы, пожалуй, выехать завтра после обеда, с почтовой каретой.

– Куда же мне направиться?

– Это надо обсудить. Мне лучше всего проехать прямо в Фаэнцу. Я выеду сегодня вечером в Борго Сан-Лоренцо, там переоденусь и немедленно двинусь дальше.

– Ничего другого, пожалуй, не придумаешь, – сказала Джемма, озабоченно хмурясь. – Но все это очень рискованно – стремительный отъезд, переодевание в Борго у контрабандистов. Вам следовало бы иметь три полных дня, чтобы доехать до границы окольными путями и успеть запутать свои следы.

– Этого как раз нечего бояться, – с улыбкой ответил Овод. – Меня могут арестовать дальше, но не на самой границе. В горах я в такой же безопасности, как и здесь. Ни один контрабандист в Апеннинах меня не выдаст. А вот как вы переберётесь через границу, я не совсем себе представляю.

– Ну, это дело не трудное! Я возьму у Луизы Райт её паспорт и поеду отдыхать в горы. Меня в Романье никто не знает, а вас – каждый сыщик.

– И каждый к-контрабандист. К счастью.

Джемма посмотрела на часы:

– Половина третьего. В вашем распоряжении всего несколько часов, если вы хотите выехать сегодня.

– Тогда я сейчас же пойду домой, приготовлюсь и добуду хорошую лошадь. Поеду в Сан-Лоренцо верхом. Так будет безопаснее.

– Нанимать лошадь совсем не безопасно. Её владелец...

– Я и не стану нанимать. Мне её даст один человек, которому можно довериться. Он и раньше оказывал мне услуги. А через две недели кто-нибудь из пастухов приведёт её обратно... Так я вернусь сюда часов в пять или в половине шестого. А вы за это время разыщите М-мартини и объясните ему все.

– Мартини? – Джемма изумлённо взглянула на него.

– Да. Нам придётся посвятить его в наши дела. Если только вы не найдёте кого-нибудь другого.

– Я не совсем понимаю – зачем.

– Нам нужно иметь здесь человека на случай каких-нибудь непредвиденных затруднений. А из всей здешней компании я больше всего доверяю Мартини. Риккардо тоже, конечно, сделал бы для нас всё, что от него зависит, но Мартини надёжнее. Вы, впрочем, знаете его лучше, чем я... Решайте.

– Я ничуть не сомневаюсь в том, что Мартини человек подходящий и надёжный. И он, конечно, согласится помочь нам. Но...

Он понял сразу:

– Джемма, представьте себе, что ваш товарищ не обращается к вам за помощью в крайней нужде только потому, что боится причинить вам боль. По-вашему, это хорошо?

– Ну что ж, – сказала она после короткой паузы, – я сейчас же пошлю за ним Кэтти. А сама схожу к Луизе за паспортом. Она обещала дать мне его по первой моей просьбе... А как с деньгами? Не взять ли мне в банке?

– Нет, не теряйте на это времени. Денег у меня хватит. А потом, когда мои ресурсы истощатся, прибегнем к вашим. Значит, увидимся в половине шестого. Я вас застану?

– Да, конечно. Я вернусь гораздо раньше.

Овод пришёл в шесть и застал Джемму и Мартини на террасе. Он сразу догадался, что разговор у них был тяжёлый. Следы волнения виднелись на лицах у обоих.

Мартини был молчалив и мрачен.

– Ну как, всё готово? – спросила Джемма.

– Да. Вот принёс вам денег на дорогу. Лошадь будет ждать меня у заставы Понте-Россо в час ночи...

– Не слишком ли это поздно? Ведь вам надо попасть в Сан-Лоренцо до рассвета, прежде чем город проснётся.

– Я успею. Лошадь хорошая, а мне не хочется, чтобы кто-нибудь заметил мой отъезд. К себе я больше не вернусь. Там дежурит шпик: думает, что я дома.

– Как же вам удалось уйти незамеченным?

– Я вылез из кухонного окна в палисадник, а потом перелез через стену в фруктовый сад к соседям. Потому-то я так и запоздал. Нужно было как-нибудь ускользнуть от него. Хозяин лошади весь вечер будет сидеть в моём кабинете с зажжённой лампой. Шпик увидит свет в окне и тень на шторе и будет уверен, что я дома и пишу.

– Вы, стало быть, останетесь здесь, пока не наступит время идти к заставе?

– Да. Я не хочу, чтобы меня видели на улице... Возьмите сигару, Мартини. Я знаю, что синьора Болла позволяет курить.

– Мне всё равно нужно оставить вас. Я пойду на кухню помочь Кэтти подать обед.

Когда Джемма ушла, Мартини встал и принялся шагать по террасе, заложив руки за спину.

Овод молча курил, смотрел, как за окном моросит дождь.

– Риварес! – сказал Мартини, остановившись прямо перед Оводом, но опустив глаза в землю. – Во что вы хотите втянуть её?

Овод вынул изо рта сигару и пустил облако дыма.

– Она сама за себя решила, – ответил он. – Её никто ни к чему не принуждал.

– Да, да, я знаю. Но скажите мне...

Он замолчал.

– Я скажу всё, что могу.

– Я мало что знаю насчёт ваших дел в горах. Скажите мне только, будет ли ей угрожать серьёзная опасность?

– Вы хотите знать правду?

– Разумеется.

– Да, будет.

Мартини отвернулся и зашагал из угла в угол. Потом опять остановился:

– Ещё один вопрос. Можете, конечно, не отвечать на него, но если захотите ответить, то отвечайте честно: вы любите её?

Овод не спеша стряхнул пепел и продолжал молча курить.

– Значит, вы не хотите ответить на мой вопрос?

– Нет, хочу, но я имею право знать, почему вы об этом спрашиваете?

– Господи боже мой! Да неужели вы сами не понимаете почему?

– А, вот что! – Овод отложил сигару в сторону и пристально посмотрел в глаза Мартини. – Да, – мягко сказал он, – я люблю её. Но не думайте, что я собираюсь объясняться ей в любви. Меня ждёт...

Последние слова он произнёс чуть слышным шёпотом. Мартини подошёл ближе:

– Что ждёт?..

– Смерть.

Овод смотрел прямо перед собой холодным, остановившимся взглядом, как будто был уже мёртв. И, когда он снова заговорил, голос его звучал безжизненно и ровно.

– Не тревожьте её раньше времени, – сказал он. – Нет ни тени надежды, что я останусь цел. Опасность грозит всем. Она знает это так же хорошо, как и я. Но контрабандисты сделают все, чтобы уберечь её от ареста. Они – славный народ, хотя и грубоваты. А моя шея давно уже в петле, и, перейдя границу, я только затяну верёвку.

– Риварес! Что с вами? Я, конечно, понимаю, дело предстоит опасное – особенно для вас. Но вы так часто пересекали границу, и до сих пор всё сходило благополучно.

– Да, а на сей раз я попадусь.

– Но почему? Откуда вы это взяли?

Овод криво усмехнулся:

– Помните немецкую легенду о человеке, который умер, встретившись со своим двойником?.. Нет? Двойник явился ему ночью, в пустынном месте... Он стонал, ломал руки. Так вот, я тоже встретил своего двойника в прошлую поездку в Апеннины, и теперь, если я перейду границу, мне назад не вернуться.

Мартини подошёл к нему и положил руку на спинку его кресла:

– Слушайте, Риварес, я отказываюсь понимать эту метафизическую галиматью, но мне ясно одно: с такими предчувствиями ехать нельзя. Самый верный способ попасться – это убедить себя в провале заранее. Вы, наверно, больны или чем-то расстроены, если у вас голова забита

такими бреднями. Давайте я поеду, а вы оставайтесь. Всё будет сделано как надо, только дайте мне письмо к вашим друзьям с объяснением...

– Чтобы вас убили вместо меня? То-то было бы умно!

– Не убьют! Меня там не знают, не то что вас! Да если даже убьют...

Он замолчал, и Овод посмотрел на него долгим, вопрошающим взглядом. Мартини снял руку со спинки кресла.

– Ей будет гораздо тяжелее потерять вас, чем меня, – сказал он своим самым обычным тоном. – А кроме того, Риварес, это дело общественного значения, и подход к нему должен быть только один: как его выполнить, чтобы принести наибольшую пользу наибольшему количеству людей. Ваш «коэффициент полезности», как выражаются экономисты, выше моего. У меня хватает соображения понять это, хотя я не особенно благоволю к вам. Вы большая величина, чем я. Кто из нас лучше, не выяснено, но вы значительно как личность, и ваша смерть будет более ощутимой потерей.

Все это Мартини проговорил так, будто речь у них шла о котировке биржевых акций. Овод посмотрел на него и зябко повёл плечами.

– Вы хотите, чтобы я ждал, когда могила сама поглотит меня?

Уж если суждено мне умереть,
Смерть, как невесту, встречу я!^[81]

Друг мой, какую мы с вами несём чепуху!

– Вы-то несомненно несёте чепуху, – угрюмо пробормотал Мартини.

– И вы тоже. Так не будем увлекаться самопожертвованием на манер дона Карлоса и маркиза Позы^[82]. Мы живём в девятнадцатом веке, и, если мне положено умереть, я умру.

– А если мне положено уцелеть, я уцелею! Счастье на вашей стороне, Риварес!

– Да, – коротко подтвердил Овод. – Мне всегда везло.

Они молча докурили свои сигары, потом принялись обсуждать детали предстоящей поездки. Когда Джемма пришла, они и виду не подали, насколько необычна была их беседа.

Пообедав, все трое приступили к деловому разговору. Когда пробило одиннадцать, Мартини встал и взялся за шляпу:

– Я схожу домой и принесу вам свой дорожный плащ, Риварес. В нём вас гораздо труднее будет узнать, чем в этом костюме. Хочу кстати сделать небольшую разведку: надо посмотреть, нет ли около дома шпиков.

– Вы проводите меня до заставы?

– Да. Две пары глаз вернее одной на тот случай, если за нами будут следить. К двенадцати я вернусь. Смотрите же, не уходите без меня... Я возьму ключ, Джемма, чтобы не беспокоить вас звонком.

Она внимательно посмотрела на него и поняла, что он нарочно подыскал предлог, чтобы оставить её наедине с Оводом.

– Мы с вами поговорим завтра, – сказала она. – Утром, когда я покончу со сборами.

– Да, времени будет вдоволь... Хотел ещё задать вам два-три вопроса, Риварес, да, впрочем, потолкуем по дороге к заставе... Джемма, отошлите Кэтти спать и говорите по возможности тише. Итак, до двенадцати.

Он слегка кивнул им и, с улыбкой выйдя из комнаты, громко хлопнул наружной дверью: пусть соседи знают, что гость синьоры Боллы ушёл.

Джемма пошла на кухню отпустить Кэтти и вернулась, держа в руках поднос с чашкой

чёрного кофе.

– Не хотите ли прилечь немного? – спросила она. – Ведь вам не придётся спать эту ночь.

– Нет, что вы! Я посплю в Сан-Лоренцо, пока мне будут доставать костюм и грим.

– Ну, так выпейте кофе... Подождите, я подам печенье.

Она стала на колени перед буфетом, а Овод подошёл и вдруг наклонился к ней:

– Что у вас там такое? Шоколадные конфеты и английский ирис! Да ведь это п-пища богов!

Джемма подняла глаза и улыбнулась его восторгу.

– Вы тоже сладёна? Я всегда держу эти конфеты для Цезаре. Он радуется, как ребёнок, всяким лакомствам.

– В с-самом деле? Ну, так вы ему з-завтра купите другие, а эти дайте мне с собой. Я положу ириски в карман, и они утешат меня за все потерянные радости жизни. Н-надеюсь, мне будет дозволено пососать ириску, когда меня поведут на виселицу.

– Подождите, я найду какую-нибудь коробочку – они такие липкие. А шоколадных тоже положить?

– Нет, эти я буду есть теперь, с вами.

– Я не люблю шоколада. Ну, садитесь и перестаньте дурачиться. Весьма вероятно, что нам не представится случая толком поговорить, перед тем как один из нас будет убит и...

– Она н-не любит шоколада, – тихо пробормотал Овод. – Придётся обедаться в одиночку. Последняя трапеза накануне казни, не так ли? Сегодня вы должны исполнять все мои прихоти. Прежде всего я хочу, чтобы вы сели вот в это кресло, а так как мне разрешено прилечь, то я устроюсь вот здесь. Так будет удобнее.

Он лёг на ковре у ног Джеммы и, облокотившись о кресло, посмотрел ей в лицо:

– Какая вы бледная! Это потому, что вы видите в жизни только её грустную сторону и не любите шоколада.

– Да побудьте же серьёзным хоть пять минут! Ведь дело идёт о жизни и смерти.

– Даже и две минуты не хочу быть серьёзным, друг мой. Ни жизнь, ни смерть не стоят того.

Он завладел обеими её руками и поглаживал их кончиками пальцев.

– Не смотрите же так сурово, Минерва^[83]. Ещё минута, и я заплачу, а вам станет жаль меня. Мне хочется, чтобы вы улыбнулись, у вас такая неожиданно добрая улыбка... Ну-ну, не бранитесь, дорогая! Давайте есть печенье, как двое примерных деток, и не будем ссориться – ведь завтра придёт смерть.

Он взял с тарелки печенье и разделил его на две равные части, стараясь, чтобы глазурь разломилась как раз посередине.

– Пусть это будет для нас причастием, которое получают в церкви благонамеренные люди. «Примите, идите; сие есть тело моё». И мы должны в-выпить вина из одного стакана... Да, да, вот так. «Сие творите в моё воспоминание...»^[84]

Джемма поставила стакан на стол.

– Перестаньте! – сказала она срывающимся голосом.

Овод взглянул на неё и снова взял её руки в свои.

– Ну, полно. Давайте помолчим. Когда один из нас умрёт, другой вспомнит эти минуты. Забудем шумный мир, который так назойливо жужжит нам в уши, пойдём рука об руку в таинственные чертоги смерти и опустимся там на ложе, усыпанное дремотными маками. Молчите! Не надо говорить.

Он положил голову к ней на колени и закрыл рукой лицо. Джемма молча провела ладонью по его тёмным кудрям. Время шло, а они сидели, не двигаясь, не говоря ни слова.

– Друг мой, скоро двенадцать, – сказала наконец Джемма. Овод поднял голову. – Нам осталось лишь несколько минут. Мартини сейчас вернётся. Быть может, мы никогда больше не

увидимся. Неужели вам нечего сказать мне?

Овод медленно встал и отошёл в другой конец комнаты. С минуту оба молчали.

– Я скажу вам только одно, – еле слышно проговорил он, – скажу вам...

Он замолчал и, сев у окна, закрыл лицо руками.

– Наконец-то вы решили сжалиться надо мной, – прошептала Джемма.

– Меня жизнь тоже никогда не жалела. Я... я думал сначала, что вам... все равно.

– Теперь вы этого не думаете?

Не дождавшись его ответа, Джемма подошла и стала рядом с ним.

– Скажите мне правду! – прошептала она. – Ведь если вас убьют, а меня нет, я до конца дней своих так и не узнаю... так и не уверюсь, что...

Он взял её руки и крепко сжал их:

– Если меня убьют... Видите ли, когда я уехал в Южную Америку... Ах, вот и Мартини!

Овод рванулся с места и распахнул дверь. Мартини вытирал ноги о коврик.

– Пунктуальны, как всегда, – м-минута в минуту! Вы ж-живой хронометр, Мартини. Это и есть ваш д-дорожный плащ?

– Да, тут ещё кое-какие вещи. Я старался донести их сухими, но дождь льёт как из ведра. Скверно вам будет ехать.

– Вздор! Ну, как на улице – все спокойно?

– Да. Шпики, должно быть, ушли спать. Оно и не удивительно в такую скверную погоду... Это кофе, Джемма? Риваресу следовало бы выпить чего-нибудь горячего, прежде чем выходить на дождь, не то простуда обеспечена.

– Это чёрный кофе. Очень крепкий. Я пойду вскипачу молоко.

Джемма пошла на кухню, крепко сжав зубы, чтобы не разрыдаться. Когда она вернулась с молоком, Овод был уже в плаще и застёгивал кожаные гетры, принесённые Мартини. Он стоя выпил чашку кофе и взял широкополую дорожную шляпу.

– Пора отправляться, Мартини. На всякий случай пойдём к заставе кружным путём... До свидания, синьора. Я увижу вас в пятницу в Форли, если, конечно, ничего не случится. Подождите минутку, в-вот вам адрес.

Овод вырвал листок из записной книжки и написал на нём несколько слов карандашом.

– У меня он уже есть, – ответила Джемма безжизненно ровным голосом.

– Разве? Ну, в-всё равно, возьмите на всякий случай... Идём, Мартини. Тише! Чтобы дверь даже не скрипнула.

Они осторожно сошли вниз. Когда наружная дверь затворилась за ними, Джемма вернулась в комнату и машинально взглянула на бумажку, которую дал ей Овод. Под адресом было написано:

Я скажу вам все при свидании.

В Бризигелле был базарный день. Из соседних деревушек и сел съехались крестьяне – кто с домашней птицей и свиньями, кто с молоком, с маслом, кто с гуртами полудикого горного скота. Люди толпами двигались взад и вперёд по площади, смеясь, отпуская шутки, торгуясь с продавцами дешёвых пряников, винных ягод и семечек. Загорелые босоногие мальчишки валялись на мостовой под горячими лучами солнца, а матери их сидели под деревьями с корзинами яиц и масла.

Монсеньёр Монтанелли вышел на площадь поздороваться с народом. Его сразу окружила шумная толпа детей, протягивающих ему пучки ирисов, красных маков и нежных белых нарциссов, собранных по горным склонам. На любовь кардинала к диким цветам смотрели снисходительно, как на одну из слабостей, которые к лицу мудрым людям. Если бы кто-нибудь другой на его месте наполнял свой дом травами и растениями, над ним бы, наверно, смеялись, но «добрый кардинал» мог позволить себе такие невинные причуды.

– А, Мариучча! – сказал он, останавливаясь около маленькой девочки и глядя её по головке. – Как ты выросла! А бабушка все мучается ревматизмом?

– Бабушке лучше, ваше преосвященство, а вот мама у нас заболела.

– Бедная! Пусть зайдёт к доктору Джордано, он её посмотрит, а я поищу ей какое-нибудь место здесь – может быть, она и поправится... Луиджи! Как твои глаза – лучше?

Монтанелли проходил по площади, разговаривая с горцами. Он помнил имена и возраст их детей, все их невзгоды и беды, заботливо справлялся о корове, заболевшей на рождество, о тряпичной кукле, попавшей под колесо в прошлый базарный день. Когда он вернулся в свой дворец, торговля на базаре шла полным ходом. Хромой человек в синей блузе, со шрамом на левой щеке и шапкой чёрных волос, свисавших ему на глаза, подошёл к одному из ларьков и, коверкая слова, спросил лимонаду.

– Вы, видно, нездешний, – поинтересовалась женщина, наливая ему лимонад.

– Нездешний. С Корсики.

– Работы ищите?

– Да. Скоро сенокос. Один господин – у него под Равенной своя ферма – приезжал на днях в Бастию и говорил мне, что около Равенны работы много.

– Надо думать, пристроитесь; только времена теперь тяжёлые.

– А на Корсике, матушка, и того хуже. Что с нами, бедняками, будет, прямо не знаю...

– Вы один оттуда приехали?

– Нет, с товарищем. Вон с тем, что в красной рубашке... Эй, Паоло!

Услышав, что его зовут, Микеле заложил руки в карманы и ленивой походкой направился к ларьку. Он вполне мог сойти за корсиканца, несмотря на рыжий парик, который должен был сделать его неузнаваемым. Что же касается Овода, то он был само совершенство.

Они медленно шли по базарной площади. Микеле негромко насвистывал. Овод, сгибаясь под тяжестью мешка, лежавшего у него на плече, волочил ноги, чтобы сделать менее заметной свою хромоту. Они ждали товарища, которому должны были передать важные сообщения.

– Вон Марконе верхом, у того угла, – вдруг прошептал Микеле.

Овод с мешком на плече потащился по направлению к всаднику.

– Не надо ли вам косаря, синьор? – спросил он, приложив руку к изорванному картузу, и тронул пальцами поводья.

Это был условный знак. Всадник, которого можно было по виду принять за управляющего имением, сошёл с лошади и бросил поводья ей на шею.

– А что ты умеешь делать?

Овод мял в руках картуз.

– Косить траву, синьор, подрезать живую изгородь... – И он продолжил, не меняя голоса: – В час ночи у входа в круглую пещеру. Понадобятся две хорошие лошади и тележка. Я буду ждать в самой пещере... И копать умею... и...

– Ну что ж, хорошо. Косарь мне нужен. Тебе эта работа знакома?

– Знакома, синьор... Имейте в виду, надо вооружиться. Мы можем встретить конный отряд. Не ходите лесной тропинкой, другой стороной будет безопасней. Если встретите сыщика, не тратьте времени на пустые разговоры – стреляйте сразу... Уж так я рад стать на работу, синьор...

– Ну ещё бы! Только мне нужен хороший косарь... Нет у меня сегодня мелочи, старина.

Оборванный нищий подошёл к ним и затянул жалобным, монотонным голосом:

– Во имя пресвятой девы, сжальтесь над несчастным слепцом... Уходите немедленно, едет конный отряд... Пресвятая царица небесная, непорочная дева... Ищут вас, Риварес... через две минуты будут здесь... Да наградят вас святые угодники... Придётся действовать напролом, сыщики шныряют всюду. Незамеченными всё равно не уйдёте.

Марконе сунул Оводу поводья:

– Скорей! Выезжайте на мост, лошадь бросьте, а сами спрячьтесь в овраге. Мы все вооружены, задержим их минут на десять.

– Нет. Я не хочу подводить вас. Не разбегайтесь и стреляйте вслед за мной. Двигайтесь по направлению к лошадям – они привязаны у дворцового подъезда – и держите наготове ножи. Будем отступать с боем, а когда я брошу картуз наземь, режьте недоуздки – и по сёдлам. Может быть, доберёмся до леса...

Разговор вёлся вполголоса и так спокойно, что даже стоявшие рядом не могли бы заподозрить, что речь идёт о чём-то более серьёзном, чем сенокос.

Марконе взял свою кобылу под уздцы и повёл её к коновязи. Овод плёлся рядом, а нищий шёл за ним с протянутой рукой и не переставал жалобно причитать. Микеле, посвистывая, поравнялся с ними. Нищий успел сказать ему все, а он, в свою очередь, предупредил троих крестьян, евших под деревом сырой лук. Те сейчас же поднялись и пошли за ним.

Таким образом, все семеро, не возбудив ничьих подозрений, стояли теперь у ступенек дворца. Каждый придерживал одной рукой спрятанный за пазухой пистолет. Лошади, привязанные у подъезда, были в двух шагах от них.

– Не выдавайте себя, прежде чем я не подам сигнала, – сказал Овод тихим, но внятным голосом. – Может быть, нас и не узнают. Когда я выстрелю, открывайте огонь и вы. Но не в людей – лошадям в ноги: тогда нас не смогут преследовать. Трое пусть стреляют, трое перезаряжают пистолеты. Если кто-нибудь станет между нами и лошадьми – убивайте. Я беру себе чалую. Как только брошу картуз на землю, действуйте каждый на свой страх и риск и не останавливайтесь ни в коем случае.

– Едут, – сказал Микеле.

Продавцы и покупатели вдруг засуетились, и Овод обернулся; на лице его было написано простодушное удивление. Пятнадцать вооружённых всадников медленно выехали из переулка на базарную площадь. Они с трудом прокладывали себе дорогу в толпе, и если бы не сыщики, расставленные на всех углах, все семеро заговорщиков могли бы спокойно скрыться, пока толпа глазела на солдат. Микеле придвинулся к Оводу:

– Не уйти ли нам теперь?

– Невозможно. Мы окружены сыщиками, один из них уже узнал меня. Вон он послал сказать об этом капитану. Единственный выход – стрелять по лошадям.

– Где этот сыщик?

– Я буду стрелять в него первого. Все готовы? Они уже двинулись к нам. Сейчас кинутся.

– Прочь с дороги! – крикнул капитан. – Именем его святейшества приказываю расступиться!

Толпа раздалась, испуганная и удивлённая, и солдаты ринулись на небольшую группу людей, стоявших у дворцового подъезда. Овод вытащил из-под блузы пистолет и выстрелил, но не в приближающийся отряд, а в сыщика, который подбирался к лошадям. Тот упал с раздроблённой ключицей. Почти в ту же секунду раздался один за другим ещё шесть выстрелов, и заговорщики начали отступать.

Одна из кавалерийских лошадей споткнулась и шарахнулась в сторону. Другая упала, громко заржав. В толпе, охваченной паникой, слышались крики, но они не смогли заглушить властный голос офицера, командующего отрядом. Он поднялся на стременах и взмахнул саблей:

– Сюда! За мной!

И вдруг закачался в седле и упал навзничь. Овод снова выстрелил и не промахнулся. По мундиру капитана алыми ручейками полилась кровь, но яростным усилием воли он выпрямился, цепляясь за гриву коня, и злобно крикнул:

– Убейте этого хромого дьявола, если не можете взять его живым! Это Риварес!

– Дайте пистолет, скорей! – крикнул Овод товарищам. – И бегите!

Он бросил наземь картуз. И вовремя: сабли разъярённых солдат сверкнули над самой его головой.

– Бросьте оружие!

Между сражающимися вдруг выросла фигура кардинала Монтанелли. Один из солдат в ужасе крикнул:

– Ваше преосвященство! Боже мой, вас убьют!

Но Монтанелли сделал ещё шаг вперёд и стал перед дулом пистолета Овода.

Пятеро заговорщиков уже были на конях и мчались вверх по крутой улице. Марконе только успел вскочить в седло. Но прежде чем ускакать, он обернулся: не нужно ли помочь предводителю? Чалая стояла близко. Ещё миг – и все семеро были бы спасены. Но как только фигура в пунцовой кардинальской сутане выступила вперёд, Овод покачнулся, и его рука, державшая пистолет, опустилась. Это мгновение решило все. Овода окружили и сшибли с ног; один из солдат ударом сабли выбил пистолет у него из руки. Марконе дал шпоры. Кавалерийские лошади цокали подковами в двух шагах от него. Задерживаться было бессмысленно. Повернувшись в седле на всём скаку и послав последний выстрел в ближайшего преследователя, он увидел Овода. Лицо его было залито кровью. Лошади, солдаты и сыщики топтали его ногами. Марконе услышал яростную брань и торжествующие возгласы.

Монтанелли не видел, что произошло. Он успокоил объятых страхом людей, потом наклонился над раненым сыщиком, но тут толпа испуганно всколыхнулась, и это заставило его поднять голову.

Солдаты пересекали площадь, волоча своего пленника за верёвку, которой он был связан по рукам. Лицо его посерело от боли, дыхание с хрипом вырывалось из груди, и всё же он обернулся в сторону кардинала и, улыбнувшись побелевшими губами, прошептал;

– П-поздравляю, ваше преосвященство!..

* * *

Пять дней спустя Мартини подъезжал к Форли. Джемма прислала ему по почте пачку

печатных объявлений – условный знак, означавший, что события требуют его присутствия. Мартини вспомнил разговор на террасе и сразу угадал истину. Всю дорогу он не переставал твердить себе: нет оснований бояться, что с Оводом что-то случилось. Разве можно придавать значение ребяческим фантазиям такого неуравновешенного человека? Но чем больше он убеждал себя в этом, тем твёрже становилась его уверенность, что несчастье случилось именно с Оводом.

– Я догадываюсь, что произошло. Ривареса задержали? – сказал он, входя к Джемме.

– Он арестован в прошлый четверг в Бризигелле. При аресте отчаянно защищался и ранил начальника отряда и сыщика.

– Вооружённое сопротивление. Дело плохо!

– Это несущественно. Он был так серьёзно скомпрометирован, что лишний выстрел вряд ли что-нибудь изменит.

– Что же с ним сделают?

Бледное лицо Джем мы стало ещё бледнее.

– Вряд ли нам стоит ждать, пока мы это узнаем, – сказала она.

– Вы думаете, что нам удастся его освободить?

– Мы /должны/ это сделать.

Мартини отвернулся и стал насвистывать, заложив руки за спину. Джемма не мешала ему думать. Она сидела, запрокинув голову на спинку стула и глядя прямо перед собой невидящими глазами. В её лице было что-то напоминающее «Меланхолию» Дюрера^[85].

– Вы успели поговорить с ним? – спросил Мартини, останавливаясь перед ней.

– Нет, мы должны были встретиться здесь на следующее утро.

– Да, помню. Где он сейчас?

– В крепости, под усиленной охраной я, говорят, в кандалах.

Мартини пожал плечами:

– На всякие кандалы можно найти хороший напильник, если только Овод не ранен...

– Кажется, ранен, но насколько серьёзно, мы не знаем... Да вот послушайте лучше Микеле: он был при аресте.

– Каким же образом уцелел Микеле? Неужели он убежал и оставил Ривареса на произвол судьбы?

– Это не его вина. Он отстреливался вместе с остальными и исполнил в точности все распоряжения. Никто ни в чём не отступал от них, кроме самого Ривареса. Он как будто вдруг забыл, что надо делать, или допустил в последнюю минуту какую-то ошибку. Это просто необъяснимо... Подождите, я сейчас позову Микеле...

Джемма вышла из комнаты и вскоре вернулась с Микеле и с широкоплечим горцем.

– Это Марконе, один из наших контрабандистов, – сказала она. – Вы слышали о нём. Он только что приехал и сможет, вероятно, дополнить рассказ Микеле... Микеле, это Мартини, о котором я вам говорила. Расскажите ему сами всё, что произошло на ваших глазах.

Микеле рассказал вкратце о схватке между заговорщиками и отрядом.

– Я до сих пор не могу понять, как всё это случилось, – добавил он под конец. – Никто бы из нас не уехал, если б мы могли подумать, что его схватят. Но распоряжения были даны совершенно точные, и нам в голову не пришло, что, бросив картуз наземь, Риварес останется на месте и позволит солдатам окружить себя. Он был уже рядом со своим конём, перерезал недоуздки у меня на глазах, и я собственноручно подал ему заряженный пистолет, прежде чем вскочить в седло. Должно быть, он оступился из-за своей хромоты – вот единственное, что я могу предположить. Но ведь в таком случае можно было бы выстрелить...

– Нет, дело не в этом, – перебил его Марконе. – Он и не пытался вскочить в седло. Я

отъехал последним, потому что моя кобыла испугалась выстрелов и шарахнулась в сторону, но всё-таки успел оглянуться на него. Он отлично мог бы уйти, если бы не кардинал.

– А! – негромко вырвалось у Джеммы.

Мартини повторил в изумлении:

– Кардинал?

– Да, он, чёрт его побери, кинулся прямо под дуло пистолета! Риварес, вероятно, испугался, правую руку опустил, а левую поднял... вот так. – Марконе приложил руку к глазам. – Тут-то они на него и набросились.

– Ничего не понимаю, – сказал Микеле. – Совсем не похоже на Ривареса – терять голову в минуту опасности.

– Может быть, он опустил пистолет из боязни убить безоружного? – сказал Мартини.

Микеле пожал плечами:

– Безоружным незачем совать нос туда, где дерутся. Война есть война. Если бы Риварес угостил пулей его преосвященство, вместо того чтобы дать себя поймать, как ручного кролика, на свете было бы одним честным человеком больше и одним попом меньше.

Он отвернулся, закусив усы. Ещё минута – и гнев его прорвался бы слезами.

– Как бы там ни было, – сказал Мартини, – дело кончено, и обсуждать всё это – значит терять даром время. Теперь перед нами стоит вопрос, как организовать побег? Полагаю, что все согласны взяться за это?

Микеле не счёл нужным даже ответить на такой вопрос, а контрабандист сказал с усмешкой:

– Я убил бы родного брата, если б он отказался.

– Ну что ж! Тогда приступим к делу. Прежде всего, есть у вас план крепости?

Джемма выдвинула ящик стола и достала оттуда несколько листов бумаги:

– Все планы у меня. Вот первый этаж крепости. А это нижний и верхние этажи башен. Вот план укреплений. Тут дороги, ведущие в долину; а это тропинки и тайные убежища в горах и подземные ходы.

– А вы знаете, в какой он башне?

– В восточной. В круглой камере с решётчатым окном. Я отметила её на плане.

– Откуда вы получили эти сведения?

– От солдата крепостной стражи, по прозвищу Сверчок. Он двоюродный брат Джино, одного из наших.

– Скоро вы со всем этим справились!

– Да, мы времени не теряли. Джино сразу пошёл в Бризигеллу, а кое-какие планы были у нас раньше. Список тайных убежищ в горах составлен самим Риваресом: видите – его почерк.

– Что за люди в охране?

– Это ещё не выяснено. Сверчок здесь не так давно и не знает своих товарищей.

– Нужно ещё расспросить Джино, что за человек этот Сверчок. А решено, где будет суд – в Бризигелле или в Равенне?

– Пока нет. Равенна – главный город легатства [\[86\]](#), и, по закону, важные дела должны разбираться только там, в трибунале. Но в Папской области с законом не особенно считаются. Его заменяют по прихоти того, кто в данную минуту стоит у власти.

– В Равенну Ривареса не повезут, – сказал Микеле.

– Почему вы так думаете?

– Я в этом уверен. Полковник Феррари, комендант Бризигеллы, – дядя офицера, которого ранил Риварес. Это лютый зверь, он не упустит случая отомстить врагу.

– Вы думаете, он постарается задержать Ривареса в Бризигелле?

– Я думаю, что он постарается повесить его.

Мартини быстро взглянул на Джемму. Она была очень бледна, но её лицо не изменилось при этих словах. Очевидно, эта мысль была не нова для неё.

– Нельзя, однако, обойтись без необходимых формальностей, – спокойно сказала она. – Полковник, вероятно, под каким-нибудь предлогом добьётся военного суда на месте, а потом будет оправдываться, что это было сделано ради сохранения спокойствия в городе.

– Ну, а кардинал? Неужели он согласится на такое беззаконие?

– Военные дела ему не подведомственны.

– Но он пользуется огромным влиянием. Полковник, конечно, не отважится на такой шаг без его согласия.

– Ну, согласия-то он никогда не добьётся, – вставил Марконе. – Монтанелли был всегда против военных судов. Пока Риварес в Бризигелле, положение ещё не очень опасно – кардинал защитит любого арестованного. Больше всего я боюсь, как бы Ривареса не перевезли в Равенну. Там ему наверняка конец.

– Этого нельзя допустить, – сказал Микеле. – Побег можно устроить в дороге. Ну, а уйти из здешней крепости будет потруднее.

– По-моему, бессмысленно ждать, когда Ривареса повезут в Равенну, – сказала Джемма. – Мы должны попытаться освободить его в Бризигелле, и времени терять нельзя. Чезаре, давайте займёмся планом крепости и подумаем, как организовать побег. У меня есть одна идея, только я не могу разрешить её до конца.

– Идём, Марконе, – сказал Микеле, вставая, – пусть подумают. Мне нужно сходить сегодня в Фоньяно, и я хочу, чтобы ты пошёл со мной. Винченце не прислал нам патронов, а они должны были быть здесь ещё вчера.

Когда они оба ушли, Мартини подошёл к Джемме и молча протянул ей руку. Она на миг задержала в ней свои пальцы.

– Вы всегда были моим добрым другом, Чезаре, – сказала Джемма, – и всегда помогали мне в тяжёлые минуты. А теперь давайте поговорим о деле.

– А я, ваше преосвященство, ещё раз самым серьёзным образом заявляю, что ваш отказ угрожает спокойствию города.

Полковник старался сохранить почтительный тон в разговоре с высшим сановником церкви, но в голосе его слышалось раздражение. Печень у полковника была не в порядке, жена разоряла его непомерными счетами, и за последние три недели его выдержка подвергалась жестоким испытаниям. Настроение у жителей города было мрачное; недовольство зрело с каждым днём и принимало все более угрожающие размеры. По всей области возникали заговоры, всюду прятали оружие. Гарнизон Бризигеллы был слаб, а верность его более чем сомнительна. И ко всему этому кардинал, которого в разговоре с адъютантом полковник назвал как-то «воплощением ослиного упрямства», доводил его почти до отчаяния. А уж Овод – это поистине воплощение зла.

Ранив любимого племянника полковника Феррари и его самого лучшего сыщика, этот «лукавый испанский дьявол» теперь точно околдовал всю стражу, запугал всех офицеров, ведущих допрос, и превратил тюрьму в сумасшедший дом. Вот уже три недели, как он сидит в крепости, и власти Бризигеллы не знают, что делать с этим сокровищем. С него снимали допрос за допросом, пускали в ход угрозы, увещания и всякого рода хитрости, какие только могли изобрести, и всё-таки не подвинулись ни на шаг со дня ареста. Теперь уже начинают думать, что было бы лучше сразу отправить его в Равенну. Однако исправлять ошибку поздно. Посылая легату доклад об аресте, полковник просил у него, как особой любезности, разрешения лично вести следствие, и, получив на свою просьбу милостивое согласие, он уже не мог отказаться от этого без унижительного признания, что противник оказался сильнее его.

Как и предвидели Джемма и Микеле, полковник решил добиться военного суда и таким путём выйти из затруднения. Упорный отказ кардинала Монтанелли согласиться на этот план был последней каплей, переполнившей чашу терпения полковника.

– Ваше преосвященство, – сказал он, – если б вы знали, сколько пришлось мне и моим помощникам вынести из-за этого человека, вы иначе отнеслись бы к делу. Я понимаю, что можно возражать против нарушения юридической процедуры, и уважаю вашу принципиальность, но ведь это исключительный случай, требующий исключительных мер.

– Несправедливость, – возразил Монтанелли, – не может быть оправдана никаким исключительным случаем. Судить штатского человека тайным военным судом несправедливо и незаконно.

– Мы вынуждены пойти на это, ваше преосвященство! Заключённый явно виновен в нескольких тяжких преступлениях. Он принимал участие в мятежах, и военно-полевой суд, назначенный монсеньёром Спинолой, несомненно, приговорил бы его к смертной казни или к каторжным работам, если бы ему не удалось скрыться в Тоскану. С тех пор Риварес не переставал организовывать заговоры. Известно, что он очень влиятельный член одного из самых зловредных тайных обществ. Имеются большие основания подозревать, что с его согласия, если не по прямому его наущению, убиты по меньшей мере три агента тайной полиции. Он был почти пойман на контрабандной перевозке оружия в Папскую область. Кроме того, оказал вооружённое сопротивление властям и тяжело ранил двух должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей. А теперь он – постоянная угроза спокойствию и безопасности города. Всего этого достаточно, чтобы предать его военному суду.

– Что бы этот человек ни сделал, – ответил Монтанелли, – он имеет право быть судимым по закону.

– На обычную процедуру потребуется много времени, ваше преосвященство, а нам дорога каждая минута. Притом же я в постоянном страхе, что он убежит.

– Ваше дело усилить надзор.

– Я делаю всё, что могу, ваше преосвященство, но мне приходится полагаться на тюремный персонал, а этот человек точно околдовал всю стражу. В течение трех недель мы четыре раза сменили всех приставленных к нему людей, налагали взыскания на солдат, но толку никакого. Я даже не могу добиться, чтобы они перестали передавать его письма на волю и приносить ему ответы на них. Идиоты влюблены в него, как в женщину.

– Это очень интересно. Должно быть, он необыкновенный человек.

– Он необыкновенно хитрый дьявол. Простите, ваше преосвященство, но, право же, Риварес способен вывести из терпения даже святого. Вы не поверите, но мне самому приходится вести все допросы, потому что офицер, на котором лежала эта обязанность, не мог выдержать...

– То есть как?..

– Это трудно объяснить, ваше преосвященство, но вы бы поняли меня, если бы увидели хоть раз, как Риварес держится на допросе. Можно подумать, что офицер, ведущий допрос, преступник, а он – судья.

– Но что он может сделать? Отказаться отвечать на ваши вопросы? Так ведь у него нет другого оружия, кроме молчания.

– Да ещё языка, острого, как бритва. Все мы люди грешные, ваше преосвященство, кто из нас не совершал ошибок! И никому, конечно, не хочется, чтобы о них везде кричали. Такова человеческая натура. А тут вдруг выкапывают грешки, содеянные вами лет двадцать назад, и бросают их вам в лицо.

– Разве Риварес разоблачил какую-нибудь тайну офицера, который вёл допрос?

– Да... видите ли... этот бедный малый наделал долгов, когда служил в кавалерии, и взял займы небольшую сумму из полковой кассы...

– Другими словами, украл доверенные ему казённые деньги?

– Разумеется, это было очень дурно с его стороны, ваше преосвященство, но друзья сейчас же внесли за него всю сумму, и дело таким образом замяли. Он из хорошей семьи и с тех пор ведёт себя безупречно. Не могу понять, каким образом Риварес раскопал эту старую скандальную историю, но на первом же допросе он начал с того, что раскрыл её, да ещё в присутствии младшего офицера! И говорил с таким невинным видом, как будто читал молитву. Само собой разумеется, что теперь об этом толкуют во всём легатстве. Если бы вы, ваше преосвященство, побывали хоть на одном допросе, вам стало бы ясно... Риварес, конечно, не будет об этом знать. Вы могли бы услышать все из...

Монтанелли повернулся к полковнику. Не часто устремлял он на людей такие взгляды!

– Я служитель церкви, – сказал он, – а не полицейский агент. Подслушивание не входит в круг моих обязанностей.

– Я... я не хотел оскорбить вас.

– Я думаю, что дальнейшее обсуждение этого вопроса ни к чему хорошему не приведёт. Если вы пришлёте заключённого ко мне, я поговорю с ним.

– Позволю себе со всей почтительностью возразить против этого, ваше преосвященство. Риварес совершенно неисправим. Безопаснее и разумнее поступиться на этот раз буквой закона и избавиться от него, пока он не натворил новых бед. После того, что вы, ваше преосвященство, сказали, я боюсь настаивать на своём, но ведь в конце концов ответственность перед монсеньёром легатом за спокойствие города придётся нести мне...

– А я, – прервал его Монтанелли, – несу ответственность перед богом и его святейшеством за то, что в моей епархии не будет совершено ни одного противозаконного деяния. Если вы

настаиваете, полковник, я позволю себе сослаться на свою привилегию кардинала. Я не допущу тайного военного суда в нашем городе в мирное время. Я приму заключённого без свидетелей завтра, в десять часов утра.

– Как вашему преосвященству будет угодно, – хоть и хмуро, но почтительно ответил полковник и вышел, ворча про себя: – Что касается упрямства, то в этом они могут поспорить друг с другом.

Он никому не сказал о предстоящей встрече Овода с кардиналом вплоть до той минуты, когда нужно было снять с заключённого кандалы и вести его во дворец.

– Достаточно уж того, – заметил он в разговоре с раненым племянником, – что этот сын валаамовой ослицы – Монтанелли – берётся толковать законы. Не хватает только, чтобы солдаты сговорились с Риваресом и его друзьями и устроили ему побег по дороге.

Когда Овод под усиленным конвоем вошёл в комнату, где Монтанелли сидел за столом, покрытым бумагами, ему вдруг вспомнился жаркий летний день, папка с проповедями, которые он перелистывал в кабинете, так похожем на этот. Ставни были притворены, как и сейчас, а на улице продавец фруктов кричал: «Fragola! Fragola!»

Гневно тряхнув головой, он откинул назад волосы, падавшие ему на глаза, и изобразил на лице улыбку.

Монтанелли взглянул на него.

– Вы можете подождать в передней, – сказал он конвойным.

– Простите, ваше преосвященство, – начал сержант вполголоса, явно робея, – но полковник считает заключённого очень опасным и думает, что лучше...

Глаза Монтанелли вспыхнули.

– Вы можете подождать в передней, – повторил он спокойным голосом, и перепуганный сержант, отдав честь и бормоча извинения, вышел с солдатами из кабинета.

– Садитесь, пожалуйста, – сказал кардинал, когда дверь затворилась.

Овод сел, сохраняя молчание.

– Синьор Риварес, – начал Монтанелли после короткой паузы, – я хочу предложить вам несколько вопросов и буду благодарен, если вы ответите на них.

Овод улыбнулся.

– Моё главное занятие теперь – в-выслушивать предлагаемые мне вопросы.

– И не отвечать на них? Да, мне говорили об этом. Но те вопросы вам предлагали офицеры, ведущие следствие. Они обязаны использовать ваши ответы как улики против вас...

– А в-вопросы вашего преосвященства?..

Желание оскорбить чувствовалось скорее в тоне, чем в словах Овода. Кардинал сразу это понял. Но лицо его не потеряло своего серьёзного и приветливого выражения.

– Мои вопросы, – сказал он, – останутся между нами, ответите ли вы на них или нет. Если они коснутся ваших политических тайн, вы, конечно, промолчите. Но, хотя мы совершенно не знаем друг друга, я надеюсь, что вы сделаете мне личное одолжение и не откажетесь побеседовать со мной.

– Я в-весь к услугам вашего преосвященства.

Лёгкий поклон, сопровождавший эти слова, и выражение лица, с которым они были сказаны, у кого угодно отбили бы охоту просить одолжения.

– Так вот, вам ставится в вину ввоз огнестрельного оружия. Зачем оно вам понадобилось?

– Уб-бивать крыс.

– Страшный ответ. Неужели вы считаете крысами тех людей, которые не разделяют ваших убеждений?

– Н-некоторых из них.

Монтанелли откинулся на спинку кресла и несколько секунд молча глядел на своего собеседника.

– Что это у вас на руке? – спросил он вдруг.

– Старые следы от зубов все тех же крыс.

– Простите, но я говорю про другую руку. Там – свежая рана.

Узкая, гибкая рука была вся изранена. Овод поднял её. На вспухшем запястье был большой кровоподтёк.

– С-сухая безделица, как видите. Когда меня арестовали по милости вашего преосвященства, – он снова сделал лёгкий поклон, – один из солдат наступил мне на руку.

– С тех пор прошло уже три недели, почему же она в таком состоянии? – спросил он. – Вся воспалена.

Монтанелли взял его руку в свою и стал пристально рассматривать её.

– Возможно, что к-кандалы не пошли ей на пользу.

Кардинал нахмурился.

– Вам надели кандалы на свежую рану?

– Р-разумеется, ваше преосвященство. Свежие раны для того и существуют. От старых мало проку: они будут только ныть, а не жечь вас, как огнём.

Монтанелли снова взглянул на Овода пристальным вопрошающим взглядом, потом встал и вынул из стола ящик с хирургическими инструментами.

– Дайте руку, – сказал он.

Овод повиновался. Лицо его было неподвижно, словно высечено из камня. Монтанелли обмыл пораненное место и осторожно перевязал его. Очевидно, такая работа была для него привычной.

– Я поговорю с тюремным начальством насчёт кандалов, – сказал он. – А теперь позвольте задать вам ещё один вопрос: что вы предполагаете делать дальше?

– От-твет очень прост, ваше преосвященство: убегу, если удастся. В противном случае – умру.

– Почему же?

– Потому что, если полковник не добьётся расстрела, меня приговорят к каторжным работам, а это р-равносильно смерти. У меня не хватит здоровья вынести каторгу.

Опершись о стол рукой, Монтанелли задумался. Овод не мешал ему. Он откинулся на спинку стула, полузакрыв глаза и наслаждался всем своим существом, не чувствуя на себе кандалов.

– Предположим, – снова начал Монтанелли, – что вам удастся бежать. Что вы станете делать тогда?

– Я уже сказал вашему преосвященству: убивать крыс.

– Убивать крыс... Следовательно, если бы я дал вам возможность бежать – предположим, что это в моей власти, – вы воспользовались бы свободой, чтобы способствовать насилию и кровопролитию, а не предотвращать их?

Овод посмотрел на распятие, висевшее на стене:

– «Не мир, но меч...»^[87] Как в-видите, компания у меня хорошая. Впрочем, я предпочитаю мечу пистолеты.

– Синьор Риварес, – сказал кардинал с непоколебимым спокойствием, – я не оскорблял вас, не позволял себе говорить пренебрежительно о ваших убеждениях и ваших друзьях. Не вправе ли я надеяться на такую же деликатность и с вашей стороны? Или вы желаете убедить меня в том, что атеист не может быть учтивым?

– А! Я з-забыл, что ваше преосвященство считает учтивость одной из высших христианских

добродетелей. Стоит только вспомнить проповедь, которую вы произнесли во Флоренции по поводу моего спора с вашим анонимным защитником!

– Я как раз собирался спросить вас об этом. Не будете ли, вы добры объяснить мне, почему я вызываю в вас такую злобу? Если вы просто сочли меня наиболее подходящей мишенью для своих острот, это одно дело, мы не будем сейчас обсуждать ваши методы политической борьбы. Но судя по тем памфлетам, вы питаете ко мне личную неприязнь, и я хотел бы узнать, чем вызвано такое отношение. Не причинил ли я вам когда-нибудь зла?

Не причинил ли он ему зла!

Овод схватился перевязанной рукой за горло.

– Отсылаю ваше преосвященство к Шекспиру, – сказал он с коротким смешком. – Помните, Шейлок говорит, что некоторые люди содрогаются при виде «безобидной кошки». Так вот, я отношусь к священникам с неменьшей брезгливостью. Вид сутаны вызывает у меня оскмину.

– Ну, если дело только в этом... – Монтанелли равнодушно махнул рукою. – Хорошо, нападайте, но зачем же искажать факты! Вы заявили в ответ на ту проповедь, будто я знаю, кто мой анонимный защитник. Но ведь это неправда! Я не обвиняю вас во лжи – вы, вероятно, просто ошиблись. Имя этого человека неизвестно мне до сих пор.

Склонив голову набок, точно учёный дрозд, Овод внимательно посмотрел на кардинала, потом откинулся на спинку стула и громко захохотал:

– О, s-sancta simplicitas^[88]! Такая невинность под стать только аркадскому пастушку. Неужели не догадались? Неужели не заметили раздвоенного копытца?

Монтанелли встал:

– Другими словами, вы, синьор Риварес, выступали в обеих ролях?

– Конечно, это было очень дурно с моей стороны, – ответил Овод, устремив на кардинала невинный взгляд своих больших синих глаз. – Зато как я веселился! Ведь вы проглотили мою мистификацию не поперхнувшись, точно устрицу! Но я с вами согласен – это очень, очень дурной поступок!

Монтанелли закусил губу и снова сел в кресло. Он понял с самого начала, что Овод хочет вывести его из себя, и всеми силами старался сохранить самообладание. Но теперь ему стало ясно, почему полковник так гневался. Человеку, который в течение трех недель изо дня в день допрашивал Овода, можно было простить, если у него иной раз вырывалось лишнее словцо.

– Прекратим этот разговор, – спокойно сказал Монтанелли. – Я хотел вас видеть главным образом вот зачем: как кардинал я имею право голоса при решении вашей судьбы. Но я воспользуюсь своей привилегией только ради того, чтобы уберечь вас от излишне крутых мер. И я хочу знать, не жалуетесь ли вы на что-нибудь. Насчёт кандалов не беспокойтесь, всё будет улажено, но, может быть, вы хотите пожаловаться не только на это? Кроме того, я считал себя вправе посмотреть, что вы за человек, прежде чем принимать какое-нибудь решение.

– Мне не на что жаловаться, ваше преосвященство. A la guerre comme a la guerre^[89]. Я не школьник и отнюдь не ожидаю, что правительство погладит меня по головке за контрабандный ввоз огнестрельного оружия на его территорию. Оно, естественно, не пощадит меня. Что же касается того, какой я человек, то вы уже выслушали мою весьма романтическую исповедь. Разве этого недостаточно? Или вы желаете в-выслушать её ещё раз?

– Я вас не понимаю, – холодно произнёс Монтанелли и, взяв со стола карандаш, стал постукивать им по кончикам пальцев.

– Ваше преосвященство не забыли, конечно, старого паломника Диэго? – Овод вдруг затянул старческим голосом: – «Я несчастный грешник...»

Карандаш сломался пополам в руках Монтанелли.

– Это уж слишком! – сказал он, вставая.

Овод тихо засмеялся, запрокинув голову, и стал следить глазами за кардиналом, молча расхаживавшим по комнате.

– Синьор Риварес, – сказал Монтанелли, останавливаясь перед ним, – вы поступили со мной так, как не поступают даже со злейшими врагами. Вы сумели выведать моё горе и сделали себе игрушку и посмешище из страданий ближнего. Ещё раз прошу вас сказать мне: разве я причинил вам какое-нибудь зло? А если нет, то зачем вы сыграли со мной такую бессердечную шутку?

Овод откинулся на спинку стула и улыбнулся своей холодной, непроницаемой улыбкой.

– Мне показалось з-забавным, ваше преосвященство, что вы так близко приняли к сердцу мои слова. И потом, все это нап-помнило мне бродячий цирк...

У Монтанелли побелели губы, он отвернулся и позвонил.

– Можете увести заключённого, – сказал он конвойным.

Когда Овода вывели, он сел к столу, весь дрожа от непривычного для него чувства негодования, и взялся было за кипу отчётов, присланных священниками епархии, но вскоре оттолкнул её от себя и, наклонившись над столом, закрыл лицо руками. Овод словно оставил в комнате свою страшную тень. Монтанелли не отнимал рук от лица, боясь, что она снова вырастет перед ним. Он знал, что в комнате никого нет, что всему виной расстроенные нервы, и всё же его сковывал страх перед этой тенью... израненная рука, жестокая улыбка на губах, взгляд глубокий и загадочный, как морская пучина...

Усилием воли Монтанелли отогнал от себя страшный призрак и взялся за работу. Весь день у него не было ни одной свободной минуты, и воспоминания не мучили его. Но, войдя поздно вечером в спальню, он замер на пороге. Что, если призрак явится ему во сне? Через секунду он овладел собой и преклонил колени перед распятием. Но уснуть в ту ночь ему не удалось.

Вспышка гнева не помешала Монтанелли вспомнить о своём обещании. Он так горячо протестовал против кандалов, что злополучный полковник, окончательно растерявшись, махнул на все рукою и велел расковать Овода.

– Откуда мне знать, – ворчал он, обращаясь к адъютанту, – чем ещё его преосвященство будет недоволен? Если ему кажется, что надевать наручники жестоко, то, пожалуй, он скоро поведёт войну против железных решёток или потребует, чтобы я кормил Ривареса устрицами и трюфелями! В дни моей молодости преступники были преступниками. И обращались с ними соответственно. Никто тогда не считал, что изменник лучше вора. Но нынче бунтовщики вошли в моду, и его преосвященству угодно, кажется, поощрять всех этих негодяев.

– Не понимаю, чего он вообще вмешивается, – заметил адъютант. – Он не легат и не имеет никакой власти в гражданских и военных делах. По закону...

– Что там говорить о законе! Разве можно ждать уважения к нему, после того как святой отец открыл тюрьмы и спустил с цепи всю банду либералов! Это чистое безумие! Понятно, почему Монтанелли теперь важничает. При его святейшестве, покойном папе, он вёл себя смирно, а теперь стал самой что ни на есть первой персоной. Сразу угодил в любимчики и делает, что ему вздумается. Куда уж мне тягаться с ним! Кто знает, может быть, у него есть тайная инструкция из Ватикана. Теперь всё перевернулось вверх дном – нельзя даже предвидеть, что принесёт с собой завтрашний день. В добрые старые времена люди знали, чего им держаться, а теперь...

И полковник уныло покачал головой. Трудно жить, когда кардиналы интересуются тюремными порядками и говорят о «правах» политических преступников.

Овод, в свою очередь, вернулся в крепость в состоянии, близком к истерике. Встреча с Монтанелли почти исчерпала запас его сил. Сказанная напоследок дерзость вырвалась в минуту полного отчаяния: необходимо было как-то оборвать этот разговор, который мог закончиться слезами, продлился он ещё пять минут.

Несколько часов спустя его вызвали к полковнику; но на все предлагаемые ему вопросы он отвечал лишь взрывами истерического хохота. Когда же полковник, потеряв терпение, стал сыпать ругательствами, Овод захохотал ещё громче. Несчастный полковник грозил своему непокорному узнику самыми страшными карами и в конце концов пришёл к выводу, как когда-то Джеймс Бёртон, что не стоит напрасно тратить время и нервы и убеждать в чем-нибудь человека, совершенно лишённого рассудка.

Овода отвели назад в камеру; он упал на койку, охваченный невыразимой тоской, всегда приходившей на смену буйным вспышкам, и пролежал так до вечера, не двигаясь, без единой мысли. Бурное волнение уступило место апатии. Горе давило на одеревеневшую душу, словно физически ощущаемый груз, и только. Да, в сущности, не всё ли равно, чем всё это кончится? Единственное, что было важно для него, как и для всякого живого существа, – это избавиться от невыносимых мук. Но придёт ли облегчение со стороны или в нём просто умрёт способность чувствовать – это вопрос второстепенный. Быть может, ему удастся бежать, быть может, его убьют, но во всяком случае он больше никогда не увидит padre.

Сторож принёс ему поесть. Овод взглянул на него тяжёлым, равнодушным взглядом:

– Который час?

– Шесть часов. Вот ужин, сударь.

Овод с отвращением посмотрел на дурно пахнущую, простывшую бурду и отвернулся. Он был не только разбит душой, но и болен физически, и вид пищи вызывал у него тошноту.

– Вы заболаете, если не будете есть, – быстро проговорил сторож. – Съешьте хоть хлеба, это вас подкрепит.

Для большей убедительности он приподнял с тарелки промокший кусок. В Оводе сразу проснулся заговорщик: он понял, что в хлебе что-то спрятано.

– Оставьте, я съем потом, – небрежно сказал он: дверь была открыта, и сержант, стоявший на лестнице, мог слышать каждое их слово.

Когда дверь снова заперли и Овод убедился, что никто не подсматривает в глазок, он взял ломоть хлеба и осторожно раскрошил его. Внутри было то, что он надеялся найти: связка тонких напильников. На бумаге, в которую они были завернуты, виднелось несколько слов. Он тщательно расправил её и поднёс к скупо освещавшей камеру лампочке. Письмо было написано так убористо и на такой тонкой бумаге, что прочесть его оказалось нелегко.

Дверь не заперта. Ночь безлунная. Перепилите решётку как можно скорее и пройдите подземным ходом между двумя и тремя часами. Мы готовы, и другого случая, может быть, уже не представится.

Овод судорожно смял бумагу. Итак, всё готово, и ему надо только перепилить оконную решётку. Какое счастье, что кандалы сняты! Не придётся тратить на них время. Сколько в решётке прутьев? Два... четыре... и каждый надо перепилить в двух местах: итого восемь. Можно справиться за ночь, если не терять ни минуты. Как это Джемме и Мартини удалось так быстро все устроить? Достать ему одежду, паспорт, подыскать места, где можно прятаться... Должно быть, работали как ломовые лошади... А принят всё-таки её план. Он тихо засмеялся: как будто это важно – её план или нет, был бы только хороший! Но в то же время ему было приятно, что Джемма первая напала на мысль использовать подземный ход, вместо того чтобы спускаться по верёвочной лестнице, как предлагали контрабандисты. Её план был сложнее, зато с ним не придётся подвергать риску жизнь часового, стоящего на посту по ту сторону восточной стены. Поэтому, когда его познакомили с обоими планами, он, не колеблясь, выбрал план Джеммы.

Согласно этому плану, часовой, по прозвищу Сверчок, должен был при первой возможности отпереть без ведома своих товарищей железную дверь, которая вела с тюремного двора к подземному ходу под валом и потом снова повесить ключ на гвоздь в караульной. От Овода требовалось перепилить оконную решётку, разорвать рубашку на полосы, связать их и спуститься по ним на широкую восточную стену двора. Потом проползти по стене, пользуясь для этого минутами, когда часовой будет глядеть в другую сторону, и, ложась плашмя всякий раз, когда он повернётся к нему.

На юго-восточном углу стены была полуразвалившаяся башня. Её стены густо обвивал плющ, много камней вывалилось и грудой лежало внизу. По этим камням и плющу Овод должен был спуститься с башни во двор, осторожно отворить незапертую дверь и пройти через проход под валом в примыкающий к нему подземный туннель. Несколько веков тому назад этот туннель тайно соединял крепость с башней на соседнем холме. Теперь им никто не пользовался, и в некоторых местах он был завален обломками осевших скал.

Одни только контрабандисты знали о существовании тщательно замаскированного хода в склоне горы, прорытого ими до самого туннеля. Никто и не подозревал, что груды контрабандных товаров лежали часто по неделям под самым крепостным валом, в то время как таможенные чиновники тщетно обыскивали дома горцев, мрачно сверкавших на них глазами.

Овод должен был выйти этим ходом к склону горы, а оттуда под прикрытием темноты пробраться к тому месту, где его должны были ждать Мартини и один из контрабандистов.

Труднее всего было отпереть дверь после вечернего обхода. Такой случай мог представиться не каждый день. Спускаться из окна в светлую ночь тоже было невозможно – могли увидеть часовые. Сегодня у него есть шансы на успех, и такой случай упускать нельзя.

Овод сел на койку и стал есть. Хлеб не вызывал в нём отвращения, как остальная тюремная пища, а поесть надо было, чтобы поддержать силы. Прилечь тоже не мешает – может быть, удастся заснуть. Начинать раньше десяти часов рискованно, а работа ночью предстоит трудная.

Итак, padre всё-таки думал устроить ему побег. Как это похоже на него! Но он никогда не согласился бы принять его помощь. Никогда, ни за что! Если побег удастся, это будет делом его собственных рук и рук товарищей. Он не желает полагаться на поповские милости.

Как жарко! Наверно, будет гроза. Воздух такой тяжёлый, душный. Он беспокойно повернулся на койке и подложил под голову перевязанную правую руку вместо подушки. Потом вытянул её. Как она горит! И все старые раны начинают ныть... Почему это? Да нет, не может быть! Это просто от погоды, перед грозой. Он заснёт и отдохнёт немного, а потом возьмётся за напильник...

Восемь прутьев – и все такие толстые, крепкие! Сколько ещё осталось? Вероятно, немного. Ведь он уже пилит долго, бесконечно долго, и потому у него болит рука. И как болит! До самой кости! Неужели это от работы? И та же колющая, жгучая боль в ноге... А это почему?..

Он вскочил с койки. Нет, это не сон. Он грезил с открытыми глазами, грезил, что пилит решётку, а она ещё даже не тронута. Вот они, прутья, такие же крепкие, целые, как и раньше. На далёких башенных часах пробило десять. Пора приниматься за работу.

Овод заглянул в глазок и, убедившись, что никто за ним не следит, вынул один из напильников, спрятанных у него на груди.

* * *

Нет, с ним ничего не случилось – ничего! Все это одно воображение. Боль в боку – от простуды, а может быть, желудок не в порядке. Да оно и не удивительно после трех недель отвратительной тюремной пищи и тюремной сырости. А ломота во всём теле и учащённый пульс – отчасти от нервного возбуждения, а отчасти от сидячей жизни. Да, да, так оно и есть! Всеми виной сидячая жизнь. Как он не подумал об этом раньше! Надо отдохнуть немного. Боль утихнет, и тогда он примется за работу. Через минуту-другую всё пройдет.

Но, когда он сел, ему стало ещё хуже. Боль овладела всем телом, его лицо посерело от ужаса. Нет, надо вставать и приниматься за дело. Надо стряхнуть с себя боль. Чувствовать или не чувствовать боль – зависит от твоей воли; он не хочет её чувствовать, он заставит её утихнуть.

Он поднялся с койки и проговорил вслух:

– Я не болен. Мне нельзя болеть. Я должен перепилить решётку. Болеть сейчас нельзя, – и взялся за напильник.

Четверть одиннадцатого, половина, три четверти... Он пилит и пилит, и каждый раз, когда напильник, визжа, впивался в железо, ему казалось, что это пилят его тело и мозг.

– Кто же сдастся первый, – сказал он, усмехнувшись, – я или решётка? – Потом стиснул зубы и продолжал пилить.

Половина двенадцатого. Он всё ещё пилит, хотя рука у него распухла, одеревенела и с трудом держала инструмент. Нет, отдыхать нельзя. Стоит только выпустить из рук этот проклятый напильник – и уже не хватит мужества начать сызнова.

За дверью послышались шаги часового, и приклад его ружья ударился о косяк. Овод перестал пилить и, не выпуская напильника из рук, оглянулся. Неужели услышали? Какой-то

шарик, брошенный через глазок, упал на пол камеры. Он наклонился поднять его. Это была туго скатанная бумажка.

* * *

Так долго длился этот спуск, а чёрные волны захлёстывали его со всех сторон. Как они клокотали!

Ах, да! Он ведь просто наклонился поднять с пола бумажку. У него немного закружилась голова. Но это часто бывает, когда наклонишься. Ничего особенного не случилось. Решительно ничего.

Он поднёс бумажку к свету и аккуратно развернул её.

Выходите сегодня ночью во что бы то ни стало. Завтра Сверчка переводят в другое место. Это наша последняя возможность.

Он разорвал эту записку, как и первую, поднял напильник и снова принялся за работу, упрямо стиснув зубы.

Час ночи. Он работал уже три часа, и шесть из восьми прутьев были перепилены. Ещё два, а потом можно лезть.

Он стал припоминать прежние случаи, когда им овладевали эти страшные приступы болезни. В последний раз так было под Новый год. Дрожь охватила его при воспоминании о тех пяти ночах. Но тогда это наступило не сразу; так внезапно, как сейчас, ещё никогда не было.

Он уронил напильник, воздел руки, и с губ его сорвались – в первый раз с тех пор, как он стал атеистом, – слова мольбы. Он молил в беспредельном отчаянии, молил, сам не зная, к кому обращена эта мольба:

– Не сегодня! Пусть я заболею завтра! Завтра я вынесу, что угодно, но только не сегодня!

С минуту он стоял спокойно, прижав руки к вискам. Потом снова взял напильник и снова стал пилить...

Половина второго. Остался последний прут. Рукава его рубашки были изорваны в клочья; на губах выступила кровь, перед глазами стоял красный туман, пот лил ручьём со лба, а он все пилил, пилил, пилил...

* * *

Монтанелли заснул только на рассвете. Бессонница измучила его, и первые минуты он спал спокойно, а потом ему стали сниться сны.

Сначала эти сны были неясны, сбивчивы. Образы, один другого причудливее, проносились перед ним, оставляя после себя чувство боли и безотчётной тревоги. Потом он увидел во сне свою бессонницу – привычный, страшный сон, терзавший его уже долгие годы. И он знал, что это снится ему не в первый раз.

Вот он бродит по какому-то огромному пустырю, стараясь найти спокойный уголок, где можно прилечь и отдохнуть. Но повсюду снуют люди – они болтают, смеются, кричат, молятся, звонят в колокола. Иногда ему удаётся уйти подальше от шума, и он ложится то среди густых трав, то на деревянную скамью, то на каменные плиты. Он закрывает руками глаза от света и говорит себе: «Теперь я усну». Но толпа снова приближается с громкими возгласами и воплями.

Его называют по имени, кричат ему: «Проснись, проснись скорее, ты нам нужен!»

А вот он в огромном дворце, в богато убранных залах. Повсюду стоят пышные лежа, низкие мягкие диваны. Спускается ночь. Он думает: «Наконец-то я усну здесь в тишине!» – и ложится в тёмном зале, и вдруг туда входят с зажжённой лампой. Беспощадно яркий свет режет ему глаза, и кто-то кричит у него под ухом: «Вставай, тебя зовут!»

Он встаёт и идёт дальше, пошатываясь, спотыкаясь на каждом шагу, точно раненный насмерть. Бьёт час, и он знает, что ночь проходит – драгоценная, короткая ночь. Два, три, четыре, пять часов – к шести весь город проснётся, и тишине наступит конец.

Он заходит в следующий зал и только хочет опуститься на ложе, как вдруг кто-то кричит ему: «Это ложе моё!» И с отчаянием в сердце он бредёт дальше.

Проходит час за часом, а он бродит по каким-то длинным коридорам, из зала в зал, из дома в дом. Часы бьют пять. Ночь миновала, близок страшный серый рассвет, а он так и не обрёл покоя. О горе! Наступает день... ещё один мучительный день!

Перед ним бесконечно длинный подземный туннель, весь залитый ослепительным светом люстр, канделябров. И сквозь его низкие своды откуда-то сверху доносятся голоса, смех, весёлая музыка. Это там, в мире живых, справляют какое-то торжество.

Если бы найти место, где можно спрятаться и уснуть! Крошечное место – хотя бы могилу! И, не успев подумать об этом, он видит себя у края открытой могилы. Смертью и тленом веет от неё. Но что за беда! Лишь бы выспаться.

«Мои́ла моя!» – слышится голос Глэдис. Она откидывает истлевший саван, поднимает голову и глядит на него широко открытыми глазами.

Он падает на колени и с мольбой протягивает к ней руки:

«Глэдис! Глэдис! Сжался надо мной! Позволь мне уснуть здесь. Я не прошу твой любви, я не коснусь тебя, не обмолвлюсь с тобой ни словом, только позволь мне лечь рядом и забыться сном! Любимая! Бессонница измучила меня. Я изнемогаю! Дневной свет сжигает мне душу, дневной шум испепеляет мозг. Глэдис! Позволь сойти к тебе в могилу и уснуть возле тебя!»

Он хочет закрыть себе глаза её саваном, но она шепчет, отпрянув от него: «Это святотатство! Ведь ты священник!»

И он снова идёт куда-то и выходит на залитый ярким светом скалистый морской берег, о который, не зная покоя, с жалобным стоном плещут волны.

«Море сжалится надо мной! – говорит он. – Ведь оно тоже смертельно устало, оно тоже не может забыться сном».

И тогда из пучины встаёт Артур и говорит; «Море моё!»

* * *

– Ваше преосвященство! Ваше преосвященство!

Монтанелли сразу проснулся. К нему стучались. Он встал и отворил слуге дверь, и тот увидел его измученное, искажённое страхом лицо.

– Ваше преосвященство, вы больны?

Монтанелли провёл руками по лбу:

– Нет, я спал. Вы испугали меня.

– Простите. Рано утром мне послышалось, что вы ходите по комнате, и я подумал...

– Разве уже так поздно?

– Девять часов. Полковник приехал и желает вас видеть по важному делу. Он знает, что ваше преосвященство поднимается рано, и...

– Он внизу?.. Я сейчас спущусь к нему.

Монтанелли оделся и сошёл вниз.

– Извините за бесцеремонность, ваше преосвященство... – начал полковник.

– Надеюсь, у вас ничего не случилось?

– Увы, ваше преосвященство! Риварес чуть-чуть не совершил побег.

– Ну что же, если побег не удался, значит, ничего серьёзного не произошло. Как это было?

– Его нашли во дворе у железной двери. Когда патруль обходил двор в три часа утра, один из солдат споткнулся обо что-то. Принесли фонарь и увидели, что это Риварес. Он лежал без сознания поперёк дороги. Подняли тревогу. Разбудили меня. Я отправился осмотреть его камеру и увидел, что решётка перепилена и с окна свешивается жгут, свитый из белья. Он спустился по нему и пробрался ползком по стене. Железная дверь, ведущая в подземный ход, оказалась открытой. Это заставляет предполагать, что стража была подкуплена.

– Но почему же он лежал без сознания? Упал со стены и разбился?

– Я так и подумал сначала, но тюремный врач не находит никаких повреждений. Солдат, дежуривший вчера, говорит, что Риварес казался совсем больным, когда ему принесли ужин, и ничего не ел. Но это чистейший вздор! Больной человек не перепилил бы решётки и не мог бы пробраться ползком по стене. Это немыслимо!

– Он дал какие-нибудь показания?

– Он ещё не пришёл в себя, ваше преосвященство.

– До сих пор?

– Время от времени сознание возвращается к нему, он стонет и затем снова забывается.

– Это очень странно. И что говорит врач?

– Врач не знает, что и думать. Он не находит никаких признаков сердечной слабости, которой можно было бы объяснить состояние больного. Но как бы то ни было, ясно одно: припадок начался внезапно, когда Риварес был уже близок к цели. Лично я усматриваю в этом вмешательство милосердного провидения.

Монтанелли слегка нахмурился.

– Что вы собираетесь с ним делать? – спросил он.

– Этот вопрос будет решён в ближайшие дни. А пока что я получил хороший урок: кандалы сняли – и вот результаты...

– Надеюсь, – прервал его Монтанелли, – что больного-то вы не закуёте? В таком состоянии вряд ли он сможет совершить новую попытку к бегству.

– Уж я позабочусь, чтобы этого не случилось, – пробормотал полковник, выходя от кардинала. – Пусть его преосвященство сентиментальничает сколько ему угодно, Риварес крепко закован, и здоров он или болен, а кандалы с него я не сниму.

* * *

– Но как это могло случиться? Потерять сознание в последнюю минуту, когда всё было сделано, когда он подошёл к двери... Это какая-то чудовищная нелепость!

– Единственное, что можно предположить, – сказал Мартини, – это то, что у Ривареса начался приступ его болезни. Он боролся с ней, пока хватило сил, а потом, уже спустившись во двор, потерял сознание.

Марконе яростно постучал трубкой, вытряхивая из неё пепел.

– А, да что там говорить! Всё кончено, мы ничего больше не сможем для него сделать. Бедняга!

– Бедняга! – повторил Мартини вполголоса; он вдруг понял, что без Овода и ему самому мир будет казаться пустым и мрачным.

– А она что думает? – спросил контрабандист, посмотрев в другой конец комнаты, где Джемма сидела одна, сложив руки на коленях, глядя прямо перед собой невидящими глазами.

– Я не спрашивал. Она ничего не говорит с тех пор, как все узнала. Лучше её не тревожить. Джемма словно не замечала их, но они говорили вполголоса, как будто в комнате был покойник. Прошло несколько минут томительного молчания. Марконе встал и спрятал трубку в карман.

– Я приду вечером, – сказал он.

Но Мартини остановил его:

– Не уходите, мне надо поговорить с вами. – Он понизил голос и продолжал почти шёпотом: – Так вы думаете, что надежды нет?

– Не знаю, какая может быть надежда... О второй попытке нечего и помышлять. Если даже он выздоровеет и сделает то, что от него требуется, все равно мы бессильны. Часовых сменили, подозревают их в соучастии, и Сверчку уже не удастся нам помочь.

– А вы не думаете, – спросил вдруг Мартини, – что, когда он будет здоров, мы сможем как-нибудь отвлечь внимание стражи?

– Отвлечь внимание стражи? Как же это?

– Мне пришла в голову вот такая мысль: в день Corpus Domini^[90], когда процессия будет проходить мимо крепости, я загорожу полковнику дорогу и выстрелю ему в лицо, все часовые бросятся ловить меня, а вы с товарищами в это время освободите Ривареса. Это даже ещё и не план... просто у меня мелькнула такая мысль.

– Вряд ли это удастся, – медленно проговорил Марконе. – Надо, конечно, основательно все обдумать... но... – он помолчал и взглянул на Мартини, – но если это окажется возможным, вы... согласитесь выстрелить в полковника?

Мартини был человек сдержанный. Но сейчас он забыл о сдержанности. Его глаза встретились с глазами контрабандиста.

– Соглашусь ли я? – повторил он. – Посмотрите на неё!

Других объяснений не понадобилось. Этими словами было сказано всё. Марконе повернулся и посмотрел на Джемму.

Она не шелохнулась с тех пор, как начался этот разговор. На лице её не было ни сомнений, ни страха, ни даже страдания – на нём лежала тень смерти. Глаза контрабандиста наполнились слезами, когда он взглянул на неё.

– Торопись, Микеле, – сказал Марконе, открывая дверь на веранду. – Вы оба, верно, совсем выбились из сил, а дел впереди ещё много.

Микеле, а за ним Джино вошли в комнату.

– Я готов, – сказал Микеле. – Хочу только спросить синьору...

Он шагнул к Джемме, но Мартини удержал его за руку:

– Не надо. Ей лучше побыть одной.

– Оставьте её в покое, – прибавил Марконе. – От наших утешений проку мало. Видит бог, всем нам тяжело. Но ей, бедняжке, хуже всех.

Целую неделю Овод не мог оправиться от приступов мучительной болезни, и страдания его усиливались тем, что перепуганный и обозлённый полковник велел не только надеть ему ручные и ножные кандалы, но и привязать его к койке ремнями. Ремни были затянуты так туго, что при каждом движении врезались в тело. Вплоть до вечера шестого дня Овод переносил все это стоически. Потом, забыв о гордости, он чуть не со слезами стал умолять тюремного врача дать ему опиум. Врач охотно согласился, но полковник, услышав о просьбе, строго воспретил «такое баловство»:

– Откуда вы знаете, зачем ему понадобился опиум? Очень возможно, что он всё это время только притворялся и теперь хочет усыпить часового или выкинуть ещё какую-нибудь шпuku. У него хватит хитрости на что угодно.

– Я дам ему небольшую дозу, часового этим не усыпишь, – ответил врач, едва сдерживая улыбку. – Ну, а притворства бояться нечего. Он может умереть в любую минуту.

– Как бы то ни было, а я не позволю дать ему опиум. Если человек хочет, чтобы с ним нежничали, пусть ведёт себя соответственно. Он вполне заслужил самые суровые меры. Может быть, это послужит ему уроком и научит обращаться осторожно с оконными решётками.

– Закон, однако, запрещает пытки, – позволил себе заметить врач, – а ваши «суровые меры» очень близки к ним.

– Насколько я знаю, закон ничего не говорит об опиуме! – отрезал полковник.

– Дело ваше. Надеюсь, однако, что вы позволите снять по крайней мере ремни. Они совершенно излишни и только увеличивают его страдания. Теперь нечего бояться, что Риварес убежит. Он не мог бы и шагу сделать, если б даже вы освободили его.

– Врачи, дорогой мой, могут ошибаться, как и все мы, смертные. Риварес привязан к койке и пусть так и остаётся.

– Но прикажите хотя бы отпустить ремни. Это варварство – затягивать их так туго.

– Они останутся, как есть. И я прошу вас прекратить эти разговоры. Если я так распорядился, значит, у меня были на то свои причины.

Таким образом, облегчение не наступило и в седьмую ночь. Солдат, стоявший у дверей камеры Овода, дрожал и крестился, слушая его душераздирающие стоны. Терпение изменило узнику.

В шесть часов утра, прежде чем уйти со своего поста, часовой осторожно открыл дверь и вошёл в камеру. Он знал, что это серьёзное нарушение дисциплины, и всё же не мог уйти, не утешив страдальца дружеским словом.

Овод лежал не шевелясь, с закрытыми глазами и тяжело дышал. С минуту солдат стоял над ним, потом наклонился и спросил:

– Не могу ли я сделать что-нибудь для вас, сударь? Торопитесь, у меня всего одна минута.

Овод открыл глаза.

– Оставьте меня, – простонал он, – оставьте меня...

И, прежде чем часовой успел вернуться на своё место, Овод уже заснул.

Десять дней спустя полковник снова зашёл во дворец, но ему сказали, что кардинал отправился к больному на Пьеве д'Оттаво и вернётся только к вечеру.

Когда полковник садился за обед, вошёл слуга и доложил:

– Его преосвященство желает говорить с вами.

Полковник посмотрел в зеркало: в порядке ли мундир, принял торжественный вид и вышел в приёмную. Монтанелли сидел, задумчиво глядя в окно и постукивая пальцами по ручке кресла.

Между бровей у него лежала тревожная складка.

– Мне сказали, что вы были у меня сегодня, – начал кардинал таким властным тоном, каким он никогда не говорил с простым народом. – И, вероятно, по тому же самому делу, о котором и я хочу поговорить с вами.

– Я приходил насчёт Ривареса, ваше преосвященство.

– Я так и предполагал. Я много думал об этом последние дни. Но прежде чем приступить к делу, мне хотелось бы узнать, не скажете ли вы чего-нибудь нового.

Полковник смущённо дёрнул себя за усы.

– Я, собственно, приходил к вам за тем же самым, ваше преосвященство. Если вы все ещё противитесь моему плану, я буду очень рад получить от вас совет, что делать, ибо, по чести, я не знаю, как мне быть.

– Разве есть новые осложнения?

– В следующий четверг, третьего июня, Corpus Domini, и вопрос так или иначе должен быть решён до этого дня.

– Да, в четверг Corpus Domini. Но почему вопрос должен быть решён до четверга?

– Мне очень неприятно, ваше преосвященство, что я как будто противлюсь вам, но я не хочу взять на себя ответственность за спокойствие города, если мы до тех пор не избавимся от Ривареса. В этот день, как вашему преосвященству известно, здесь собираются самые опасные элементы из горцев. Более чем вероятно, что будет сделана попытка взломать ворота крепости и освободить Ривареса. Это не удастся. Уж я позабочусь, чтобы не удалось, в крайнем случае отгоню их от ворот пулями. Но какая-то попытка в этом роде безусловно будет сделана. Народ в Романье дикий и если уж пустит в ход ножи...

– Надо постараться не доводить дело до резни. Я всегда считал, что со здешним народом очень легко ладить, надо только разумно с ним обходиться. Угрозы и насилие ни к чему не приведут, и романцы только отобьются от рук. Но почему вы думаете, что затевается новая попытка освободить Ривареса?

– Вчера и сегодня утром доверенные агенты сообщили мне, что в области циркулирует множество тревожных слухов. Что-то готовится – это несомненно. Но более точных сведений у нас нет. Если бы мы знали, в чём дело, легче было бы принять меры предосторожности. Что касается меня, то после побега Ривареса я предпочитаю действовать как можно осмотрительнее. С такой хитрой лисой надо быть начеку.

– В прошлый раз вы говорили, что Риварес тяжело болен и не может ни двигаться, ни говорить. Значит, он выздоравливает?

– Ему гораздо лучше, ваше преосвященство. Он был очень серьёзно болен... если, конечно, не притворялся.

– У вас есть повод подозревать это?

– Видите ли, врач вполне убеждён, что притворства тут не было, но болезнь его весьма таинственного характера. Так или иначе, он выздоравливает, и с ним стало ещё труднее ладить.

– Что же он такое сделал?

– К счастью, он почти ничего не может сделать, – ответил полковник и улыбнулся, вспомнив про ремни. – Но его поведение – это что-то неопишное. Вчера утром я зашёл в камеру предложить ему несколько вопросов. Он слишком слаб ещё, чтобы приходить ко мне. Да это и лучше – я не хочу, чтобы его видели, пока он окончательно не поправится. Это рискованно. Сейчас же сочинят какую-нибудь нелепую историю.

– Итак, вы хотели допросить его?

– Да, ваше преосвященство. Я надеялся, что он хоть немного поумнел.

Монтанелли посмотрел на своего собеседника таким взглядом, как будто изучал новую для

себя и весьма неприятную зоологическую разновидность. Но, к счастью, полковник поправлял в это время португую и, ничего не заметив, продолжал невозмутимым тоном:

– Не прибегая ни к каким чрезвычайным мерам, я всё же был вынужден проявить некоторую строгость – ведь как-никак у нас военная тюрьма. Я полагал, что некоторые послабления могут оказаться теперь благотворными, и предложил ему значительно смягчить режим, если он согласится вести себя прилично. Но как вы думаете, ваше преосвященство, что он мне ответил? С минуту глядел на меня, точно волк, попавший в западню, а потом прошептал: «Полковник, я не могу встать и задушить вас, но зубы у меня довольно крепкие. Держите своё горло подальше». Он неукротим, как дикая кошка.

– Меня это несколько не удивляет, – спокойно ответил Монтанелли. – Теперь ответьте вот на какой вопрос: вы убеждены, что присутствие Ривареса в здешней тюрьме угрожает спокойствию области?

– Совершенно убеждён, ваше преосвященство.

– Следовательно, для предотвращения кровопролития необходимо так или иначе избавиться от него перед праздником?

– Я могу лишь повторить, что, если он ещё будет здесь в четверг, побоища не миновать, и, по всей вероятности, очень жестокого.

– Значит, если его здесь не будет, то минует и опасность?

– Тогда всё сойдёт гладко... в худшем случае, немного покричат и пошвыряют камнями. Если ваше преосвященство найдёт способ избавиться от Ривареса, я отвечаю за порядок. В противном случае будут серьёзные неприятности. Я убеждён в том, что готовится новая попытка освободить его, и этого можно ожидать именно в четверг. А когда заговорщики узнают, что Ривареса уже нет в крепости, все их планы отпадут сами собой, и повода к беспорядкам не будет. Если же нам придётся давать им отпор и в толпе пойдут в ход ножи, то город, по всей вероятности, будет сожжён до наступления ночи.

– В таком случае, почему вы не переведёте Ривареса в Равенну?

– Видит бог, ваше преосвященство, я бы с радостью это сделал. Но тогда его, вероятно, попытаются освободить по дороге. У меня не хватит солдат отбить вооружённое нападение, а у всех горцев имеются ножи или кремнёвые ружья.

– Следовательно, вы продолжаете настаивать на военно-полевым суде и хотите получить моё согласие?

– Простите, ваше преосвященство: единственное, о чём я вас прошу, – это помочь мне предотвратить беспорядки и кровопролитие. Охотно допускаю, что военно-полевые суды бывают иногда без нужды строги и только озлобляют народ, вместо того чтобы смирять его. Но в данном случае военный суд был бы мерой разумной и в конечном счёте милосердной. Он предупредит бунт, который сам по себе будет для нас бедствием и, кроме того, может вызвать введение трибуналов, отменённых его святейшеством.

Полковник произнёс свою короткую речь с большой торжественностью и ждал ответа кардинала. Ждать пришлось долго, и ответ поразил его своей неожиданностью:

– Полковник Феррари, вы верите в бога?

– Ваше преосвященство!

– Верите ли вы в бога? – повторил Монтанелли, вставая и глядя на него пристальным, испытующим взглядом.

Полковник тоже встал.

– Ваше преосвященство, я христианин, и мне никогда ещё не отказывали в отпущении грехов.

Монтанелли поднял с груди крест:

– Так поклянитесь же крестом искупителя, умершего за вас, что вы сказали мне правду.

Полковник стоял навывтяжку, растерянно глядя на кардинала, и думал: «Кто из нас двоих лишился рассудка – я или он?»

– Вы просите, – продолжал Монтанелли, – чтобы я дал своё согласие на смерть человека. Поцелуйте же крест, если совесть позволяет вам это сделать, и скажите мне ещё раз, что нет иного средства предотвратить большое кровопролитие. И помните: если вы скажете неправду, то погубите свою бессмертную душу.

Несколько мгновений оба молчали, потом полковник наклонился и приложил крест к губам.

– Я убеждён, что другого средства нет, – сказал он.

Монтанелли медленно отошёл от него.

– Завтра вы получите ответ. Но сначала я должен повидать Ривареса и поговорить с ним наедине.

– Ваше преосвященство... разрешите мне сказать... вы пожалеете об этом. Вчера Риварес сам просил о встрече с вами, но я оставил это без внимания, потому что...

– Оставили без внимания? – повторил Монтанелли. – Человек обращается к вам в такой крайности, а вы оставляете его просьбу без внимания!

– Простите, ваше преосвященство, но мне не хотелось беспокоить вас. Я уже достаточно хорошо знаю Ривареса. Можно быть уверенным, что он желает просто-напросто нанести вам оскорбление. И позвольте уж мне сказать кстати, что подходить к нему близко без стражи нельзя. Он настолько опасен, что я счёл необходимым применить к нему некоторые меры, довольно, впрочем, мягкие...

– Так вы действительно думаете, что небезопасно приближаться к больному невооружённому человеку, к которому вы вдобавок «применили некоторые довольно мягкие меры»?

Монтанелли говорил сдержанно, но полковник почувствовал в его тоне такое презрение, что кровь бросилась ему в лицо.

– Ваше преосвященство поступит, как сочтёт нужным, – сухо сказал он. – Я хотел только избавить вас от необходимости выслушивать его ужасные богохульства.

– Что вы считаете большим несчастьем для христианина: слушать богохульства или покинуть ближнего в тяжёлую для него минуту?

Полковник стоял, вытянувшись во весь рост; физиономия у него была совершенно деревянная. Он считал оскорбительным такое обращение с собой и проявлял своё недовольство подчёркнутой церемонностью.

– В котором часу ваше преосвященство желает посетить заключённого?

– Я пойду к нему сейчас.

– Как вашему преосвященству угодно. Не будете ли вы добры подождать здесь немного, пока я пошлю кого-нибудь в тюрьму сказать, чтобы его приготовили?

Полковник сразу спустился со своего пьедестала. Он не хотел, чтобы Монтанелли видел ремни.

– Благодарю вас, мне хочется застать его так, как он есть. Я иду прямо в крепость. До свидания, полковник. Завтра утром вы получите от меня ответ.

Овод услышал, как отпирают дверь, и равнодушно отвёл взгляд в сторону. Он подумал, что это опять идёт полковник – изводить его новым допросом. На узкой лестнице слышались шаги солдат; приклады их карабинов задевали о стену.

Потом кто-то произнёс почтительным голосом:

– Ступеньки крутые, ваше преосвященство.

Овод судорожно рванулся, но ремни больно впились ему в тело, и он весь съёжился, с трудом переводя дыхание.

В камеру вошёл Монтанелли в сопровождении сержанта и трех часовых.

– Сейчас вам принесут стул, ваше преосвященство, – сказал сержант. – Я уже распорядился. Извините, ваше преосвященство: если бы мы вас ожидали, всё было бы приготовлено.

– Не надо никаких приготовлений, сержант. Будьте добры, оставьте нас одних. Подождите внизу.

– Слушаю, ваше преосвященство... Вот и стул. Прикажете поставить около него?

Овод лежал с закрытыми глазами, но чувствовал на себе взгляд Монтанелли.

– Он, кажется, спит, ваше преосвященство, – сказал сержант.

Но Овод открыл глаза.

– Нет, не сплю.

Солдаты уже выходили из камеры, но внезапно вырвавшееся у Монтанелли восклицание остановило их. Они оглянулись и увидели, что кардинал наклонился над узником и рассматривает ремни.

– Кто это сделал? – спросил он.

Сержант мял в руках фуражку.

– Таково было распоряжение полковника, ваше преосвященство.

– Я ничего об этом не знал, синьор Риварес, – сказал Монтанелли упавшим голосом.

Овод улыбнулся своей злой улыбкой:

– Как я уже говорил вашему преосвященству, я вовсе не ж-ждал, что меня будут гладить по головке.

– Когда было отдано распоряжение, сержант?

– После побега, ваше преосвященство.

– Больше двух недель тому назад? Принесите нож и сейчас же разрежьте ремни.

– Простите, ваше преосвященство, доктор тоже хотел снять их, но полковник Феррари не позволил.

– Немедленно принесите нож!

Монтанелли не повысил голоса, но лицо его побелело от гнева. Сержант вынул из кармана складной нож и, наклонясь над Оводом, принялся разрезать ремень, стягивавший ему руки. Он делал это очень неискусно и неловким движением затащил ремень ещё сильнее.

Овод вздрогнул и, не удержавшись, закусил губу.

Монтанелли быстро шагнул вперёд:

– Вы не умеете, дайте нож мне.

– А-а-а!

Овод расправил руки, и из груди его вырвался протяжный радостный вздох. Ещё мгновение – и Монтанелли разрезал ремни на ногах.

– Снимите с него кандалы, сержант, а потом подойдите ко мне: я хочу поговорить с вами.

Став у окна, Монтанелли молча глядел, как с Овода снимают оковы. Сержант подошёл к

нему.

– Расскажите мне всё, что произошло за это время, – сказал Монтанелли.

Сержант с полной готовностью выполнил его просьбу и рассказал о болезни Овода и применённых к нему «дисциплинарных мерах» и о неудачном заступничестве врача.

– Но, по-моему, ваше преосвященство, – прибавил он, – полковник нарочно не велел снимать ремни, чтобы заставить его дать показания.

– Показания?

– Да, ваше преосвященство. Я слышал третьего дня, как полковник предложил ему снять ремни, если только он... – сержант бросил быстрый взгляд на Овода, – согласится ответить на один его вопрос.

Рука Монтанелли, лежавшая на подоконнике, сжалась в кулак. Солдаты переглянулись. Они ещё никогда не видели, чтобы добрый кардинал гневался.

А Овод в эту минуту забыл об их существовании, забыл обо всём на свете и ничего не хотел знать, кроме физического ощущения свободы. У него бегали мурашки по всему телу, и теперь он с наслаждением потягивался и поворачивался с боку на бок.

– Можете идти, сержант, – сказал кардинал. – Не беспокойтесь, вы неповинны в нарушении дисциплины, вы были обязаны ответить на мой вопрос. Позаботьтесь, чтобы нам никто не мешал. Я поговорю с ним и уйду.

Когда дверь за солдатами затворилась, Монтанелли облокотился на подоконник и несколько минут смотрел на заходящее солнце, чтобы дать Оводу время прийти в себя.

– Мне сказали, что вы хотите поговорить со мной наедине, – начал он, отходя от окна и садясь возле койки. – Если вы достаточно хорошо себя чувствуете, то я к вашим услугам.

Монтанелли говорил холодным, повелительным тоном, совершенно ему несвойственным. Пока ремни не были сняты, Овод был для него лишь страдающим, замученным существом, но теперь ему вспомнился их последний разговор и смертельное оскорбление, которым он закончился.

Овод небрежно заложил руку за голову и поднял глаза на кардинала.

Он обладал природной грацией движений, и когда его голова была в тени, никто не угадал бы, через какой ад прошёл этот человек. Но сейчас, при ярком дневном свете, можно было разглядеть его измученное, бледное лицо и страшный, неизгладимый след, который оставили на этом лице страдания последних дней. И гнев Монтанелли исчез.

– Вы, кажется, были больны, – сказал он. – Глубоко сожалею, что я не знал всего этого раньше. Я сразу прекратил бы истязания.

Овод пожал плечами.

– Война есть война, – холодно проговорил он. – Ваше преосвященство не признает ремней теоретически, с христианской точки зрения, но трудно требовать, чтобы полковник разделял её. Он, без сомнения, не захотел бы знакомиться с ремнями на своей собственной шкуре, к-как случилось со мной. Но это вопрос только личного удобства. Что поделаешь? Я оказался побеждённым... Во всяком случае, ваше преосвященство, с вашей стороны очень любезно, что вы посетили меня. Но, может быть, и это сделано на основании христианской морали? Посещение заключённых... Да, конечно! Я забыл. «Кто напоит единого из м-малых сих...» [\[91\]](#) и так далее. Не особенно это лестно, но один из «малых сих» вам чрезвычайно благодарен...

– Синьор Риварес, – прервал его кардинал, – я пришёл сюда ради вас, а не ради себя. Если бы вы не «оказались побеждённым», как вы сами выражаетесь, я никогда не заговорил бы с вами снова после нашей последней встречи. Но у вас двойная привилегия: узника и больного, и я не мог отказать вам. Вы действительно хотите что-то сообщить мне или послали за мной лишь для того, чтобы позабавиться, издеваясь над стариком?

Ответа не было. Овод отвернулся и закрыл глаза рукой.

– Простите, что приходится вас беспокоить... – сказал он наконец сдавленным голосом. – Дайте мне, пожалуйста, пить.

На окне стояла кружка с водой. Монтанелли встал и принёс её. Наклонившись над узником и приподняв его за плечи, он вдруг почувствовал, как холодные, влажные пальцы Овода сжали ему кисть словно тисками.

– Дайте мне руку... скорее... на одну только минуту, – прошептал Овод. – Ведь от этого ничто не изменится! Только на минуту!

Он припал лицом к его руке и задрожал всем телом.

– Выпейте воды, – сказал Монтанелли.

Овод молча повиновался, потом снова лёг и закрыл глаза. Он сам не мог бы объяснить, что с ним произошло, когда рука кардинала коснулась его щеки. Он сознавал только, что это была самая страшная минута во всей его жизни.

Монтанелли придвинул стул ближе к койке и снова сел. Овод лежал без движения, как труп, с мертвенно-бледным, осунувшимся лицом. После долгого молчания он открыл глаза, и его блуждающий взгляд остановился на Монтанелли.

– Благодарю вас, – сказал он. – Простите... Вы, кажется, спрашивали меня о чём-то?

– Вам нельзя говорить. Если хотите, я приду завтра.

– Нет, не уходите, ваше преосвященство. Право, я совсем здоров. Просто немного поволновался последние дни. Да и то это больше притворство – спросите полковника, он вам все расскажет.

– Я предпочитаю делать выводы сам, – спокойно ответил Монтанелли.

– Полковник тоже. И его выводы часто бывают в-весьма остроумны. Это трудно предположить, судя по его виду, но иной раз ему приходят в голову оригинальные идеи. В прошлую пятницу, например... кажется, это было в пятницу... я стал немного путать дни, ну да всё равно... я попросил дать мне опиум. Это я помню очень хорошо. А он пришёл сюда и заявил: опиум мне д-дадут, когда я скажу, кто отпер дверь камеры перед моим побегом. «Если вы действительно больны, то согласитесь; если же откажетесь, я сочту это д-доказательством того, что вы притворяетесь». Я и не предполагал, что это будет так смешно. З-забавнейший случай...

Он разразился громким, режущим ухо смехом. Потом вдруг повернулся к кардиналу и заговорил с лихорадочной быстротой, заикаясь так сильно, что с трудом можно было разобрать слова.

– Разве вы не находите, что это забавно? Ну, к-конечно, нет. Лица д-духовного звания лишены чувства юмора. Вы все принимаете т-трагически. Н-например, в ту ночь, в соборе, какой у вас был торжественный вид! А я-то в костюме паломника! Как трогательно! Да вы и сейчас не видите н-ничего смешного в своём визите ко мне.

Монтанелли поднялся:

– Я пришёл выслушать вас, но вы, очевидно, слишком взволнованы. Пусть врач даст вам что-нибудь успокоительное, а завтра утром, когда вы выспитесь, мы поговорим.

– В-выплюсь? О, я успею в-выспаться, ваше преосвященство, когда вы д-дадите своё с-согласие полковнику! Унция свинца – п-превосходное средство от бессонницы.

– Я вас не понимаю, – сказал Монтанелли, удивлённо глядя на него.

Овод снова разразился хохотом.

– Ваше преосвященство, ваше преосвященство, п-правдивость – г-главнейшая из христианских добродетелей! Н-неужели вы д-думаете, что я н-не знаю, как настойчиво добывается полковник вашего с-согласия на военный суд? Не противьтесь, ваше преосвященство, все ваши братья-прелаты поступили бы точно так же. Così fan tutti [\[92\]](#). Ваше согласие не п-

принесёт ни малейшего вреда, а только пользу. Этот пустяк не стоит тех бессонных ночей, которые вы из-за него провели...

– Прошу вас, перестаньте смеяться, – прервал его Монтанелли, – и скажите: откуда вы все это знаете? Кто вам говорил об этом?

– Р-разве полковник не жаловался, что я д-дьявол, а не человек?.. Нет? А мне он повторял это не раз. Я умею проникать в чужие мысли. Вы, ваше преосвященство, считаете меня крайне н-неприятным человеком и очень хотели бы, чтобы кто-нибудь другой решил, как со мной поступить, и чтобы ваша чуткая совесть не была т-таким образом п-потревожена. П-правильно я угадал?

– Выслушайте меня, – сказал Монтанелли, снова садясь рядом с ним. – Это правда – каким бы путём вы её ни узнали. Полковник Феррари опасается, что ваши друзья предпримут новую попытку освободить вас, и хочет предупредить её... способом, о котором вы говорили. Как видите, я с вами вполне откровенен.

– Ваше п-преосвященство в-всегда славились своей п-правдивостью, – язвительно вставил Овод.

– Вы, конечно, знаете, – продолжал Монтанелли, – что светские дела мне не подведомственны. Я епископ, а не легат. Но я пользуюсь в этом округе довольно большим влиянием, и полковник вряд ли решится на крайние меры без моего, хотя бы молчаливого, согласия. Вплоть до сегодняшнего дня я был против его плана. Теперь он усиленно пытается склонить меня на свою сторону, уверяя, что в четверг, когда народ соберётся сюда на праздник, ваши друзья могут сделать вооружённую попытку освободить вас, и она окончится кровопролитием... Вы слушаете меня?

Овод рассеянно глядел в окно. Он обернулся и ответил усталым голосом:

– Да, слушаю.

– Может быть, сегодня вам трудно вести этот разговор? Лучше я приду завтра с утра. Дело столь серьёзно, что вы должны отнестись к нему с полным вниманием.

– Мне бы хотелось покончить с ним сегодня, – все так же устало ответил Овод. – Я вникаю во всё, что вы говорите.

– Итак, – продолжал Монтанелли, – если из-за вас действительно могут вспыхнуть беспорядки, которые приведут к кровопролитию, то я беру на себя громадную ответственность, противодействуя полковнику. Думаю также, что в словах его есть доля истины. С другой стороны, мне кажется, что личная неприязнь к вам мешает ему быть беспристрастным и заставляет преувеличивать опасность. В этом я убедился, увидев доказательства его возмутительной жестокости. – Кардинал взглянул на ремни и кандалы, лежавшие на полу. – Дать своё согласие – значит убить вас. Отказать – значит подвергнуть риску жизнь ни в чём не повинных людей. Я очень серьёзно думал над этим и старался найти какой-нибудь выход. И теперь принял определённое решение.

– Убить меня и с-спасти ни в чём не повинных людей? Это единственное решение, к которому может прийти добрый христианин. «Если правая рука с-соблазняет тебя...»^[93] и так далее. А я даже не имею чести быть п-правой рукой вашего преосвященства. В-вывод ясен. Неужели вы не могли сказать мне все это без такого длинного вступления?

Овод говорил вяло и безучастно, с оттенком пренебрежительности в голосе, словно наскучив предметом спора.

– Ну что же? – спросил он после короткой паузы. – Таково и было решение вашего преосвященства?

– Нет.

Овод заложил руки за голову и посмотрел на Монтанелли полузакрытыми глазами.

Кардинал сидел в глубоком раздумье. Голова его низко опустилась на грудь, а пальцы медленно постукивали по ручке кресла. О, этот старый, хорошо знакомый жест!

– Я поступил так, – сказал наконец Монтанелли, поднимая голову, – как, вероятно, никто никогда не поступал. Когда мне сказали, что вы хотите меня видеть, я решил прийти сюда и положиться во всём на вас.

– Положиться на меня?

– Синьор Риварес, я пришёл не как кардинал, не как епископ и не как судья. Я пришёл к вам, как человек к человеку. Я не стану спрашивать, известны ли вам планы вашего освобождения, о которых говорил полковник: я очень хорошо понимаю, что это ваша тайна, которую вы мне не откроете. Но представьте себя на моём месте. Я стар, мне осталось недолго жить. Я хотел бы сойти в могилу с руками, не запятнанными ничьей кровью.

– А разве ваши руки уже не запятнаны кровью, ваше преосвященство?

Монтанелли чуть побледнел, но продолжал спокойным голосом:

– Всю свою жизнь я боролся с насилием и жестокостью, где бы я с ними ни сталкивался. Я всегда протестовал против смертной казни. При прежнем папе я неоднократно и настойчиво высказывался против военных трибуналов, за что и впал в немилость. Все своё влияние я всегда, вплоть до сегодняшнего дня, использовал для дела милосердия. Прошу вас, верьте, что это правда. Теперь передо мною трудная задача. Если я откажу полковнику, в городе может вспыхнуть бунт ради того только, чтобы спасти жизнь одного человека, который поносил мою религию, преследовал оскорблениями меня лично... Впрочем, это не так важно... Если этому человеку сохранят жизнь, он обратит её во зло, в чём я не сомневаюсь. И всё-таки речь идёт о человеческой жизни...

Он замолчал, потом заговорил снова:

– Синьор Риварес, всё, что я знал о вашей деятельности, заставляло меня смотреть на вас как на человека дурного, жестокого, ни перед чем не останавливающегося. До некоторой степени я придерживаюсь этого мнения и сейчас. Но за последние две недели я увидел, что вы человек мужественный и умеете хранить верность своим друзьям. Вы внушили солдатам любовь и уважение к себе, а это удаётся не каждому. Может быть, я ошибся в своём суждении о вас, может быть, вы лучше, чем кажется. К этому другому, лучшему человеку я и обращаюсь и заклинаю его сказать мне чистосердечно: что бы вы сделали на моём месте?

Наступило долгое молчание; потом Овод взглянул на Монтанелли:

– Во всяком случае, решал бы сам, не боясь ответственности за свои действия, и не стал бы лицемерно и трусливо, как это делают христиане, перекладывать решение на чужие плечи!

Удар был нанесён так внезапно и бешеная страсть этих слов так противоречила недавней безучастности Овода, что, казалось, он сбросил с себя маску.

– Мы, атеисты, – горячо продолжал он, – считаем, что человек должен нести своё бремя, как бы тяжело оно ни было! Если же он упадёт, тем хуже для него. Но христианин скулит и вызывает к своему богу, к своим святым, а если они не помогают, то даже к врагам, лишь бы найти спину, на которую можно взвалить свою ношу. Неужели в вашей библии, в ваших молитвенниках, во всех ваших лицемерных богословских книгах недостаточно всяких правил, что вы приходите ко мне и спрашиваете, как вам поступить? Да что это! Неужели моё бремя так уж легко и мне надо взвалить на плечи и вашу ответственность? Обратитесь к своему Христу. Он требовал все до последнего кодранта, так следуйте же его примеру! И убьёте-то вы всего-навсего атеиста, человека, который не выдержал вашей проверки! А разве такое убийство считается у вас большим преступлением?

Он остановился, вздохнул всей грудью и продолжал с той же страстностью:

– И вы толкуете о жестокости! Да этот в-вислоухий осел не мог бы за год измучить меня

так, как измучили вы за несколько минут. У него не хватит на это смекалки. Всё, что он может выдумать, – это затянуть потуже ремни, а когда больше затягивать уже некуда, то все его средства исчерпаны. Всякий дурак может это сделать! А вы! «Будьте добры подписать свой собственный смертный приговор. Моё нежное сердце не позволяет мне сделать это». До такой гадости может додуматься только христианин, кроткий, сострадательный христианин, который бледнеет при виде слишком туго затянутого ремня. Как я не догадался, когда вы вошли сюда подобно милосердному ангелу, возмущённому «варварством полковника», что только теперь и начинается настоящая пытка! Что вы на меня так смотрите? Разумеется, дайте ваше согласие и идите домой обедать. Дело выеденного яйца не стоит. Скажите вашему полковнику, чтобы он приказал расстрелять меня, или повесить, или изжарить живьём, если это может доставить ему удовольствие, и кончайте скорей!

Овода трудно было узнать. Он пришёл в бешенство и дрожал, тяжело переводя дыхание, а глаза у него искрились зелёным огнём, словно у кошки.

Монтанелли глядел на него молча. Он ничего не понимал в этом потоке неистовых упрёков, но чувствовал, что дойти до такого исступления может лишь человек, доведённый до крайности. И, поняв это, он простил ему прежние обиды.

– Успокойтесь, – сказал он. – Никто не хотел вас мучить. И, право же, я не думал сваливать свою ответственность на вас, чья ноша и без того слишком тяжела. Ни одно живое существо не упрекнёт меня в этом...

– Это ложь! – крикнул Овод, сверкнув глазами. – А епископство?

– Епископство?

– А! Об этом вы забыли? Забыть так легко! «Если хочешь, Артур, я откажусь...» Мне приходилось решать за вас, мне – в девятнадцать лет! Если б это не было так чудовищно, я бы посмеялся над вами!

– Замолчите! – крикнул Монтанелли, хватаясь за голову; потом беспомощно опустил руки, медленно отошёл к окну и, сев на подоконник, прижался лбом к решётке.

Овод, дрожа всем телом, следил за ним.

Монтанелли встал и подошёл к Оводу. Губы у него посерели.

– Простите, пожалуйста, – сказал он, стараясь сохранить свою обычную спокойную осанку. – Я должен уйти... Я не совсем здоров.

Он дрожал, как в лихорадке. Гнев Овода сразу погас.

– Padre, неужели вы не...

Монтанелли подался назад.

– Только не это, – прошептал он. – Всё, что хочешь, господи, только не это! Я схожу с ума...

Овод приподнялся на локте и взял его дрожащие руки в свои:

– Padre, неужели вы не догадываетесь, что я не утонул?

Руки, которые он держал в своих, вдруг похолодели. Наступило мёртвое молчание. Потом Монтанелли опустился на колени и спрятал лицо на груди Овода.

* * *

Когда он поднял голову, солнце уже село, и последний красный отблеск его угасал на западе. Они забыли обо всём, забыли о жизни и смерти, о том, что были врагами.

– Артур, – прошептал Монтанелли, – неужели ты вернулся ко мне?.. Воскрес из мёртвых?

– Воскрес из мёртвых, – повторил Овод и вздрогнул.

Овод положил голову ему на плечо, как больное дитя в объятиях матери.

– Ты вернулся... вернулся наконец?

Овод тяжело вздохнул.

– Да, – сказал он, – и вам нужно бороться за меня или убить меня.

– Замолчи, carino! К чему все это теперь! Мы с тобой, словно дети, заблудились в потёмках и приняли друг друга за привидения. А теперь мы рука об руку вышли на свет. Бедный мой мальчик, как ты изменился! Волны горя залили тебя с головой – тебя, в ком было раньше столько радости, столько жизни! Артур, неужели это действительно ты? Я так часто видел во сне, что ты со мной, ты рядом, а потом проснусь – вокруг темно и пусто. Неужели меня мучает все тот же сон? Дай мне убедиться, что это правда, Расскажи о себе!

– Всё было очень просто. Я спрятался на торговом судне и уехал в Южную Америку.

– А там?

– Там я жил, если только это можно назвать жизнью... О, с тех пор как вы обучали меня философии, я постиг многое! Вы говорите, что видели меня во сне... Я вас тоже...

Он вздрогнул и надолго замолчал.

– Это было, когда я работал на рудниках в Эквадоре...

– Неужели рудокопом?

– Нет, подручным рудокопа, наравне с китайскими кули. Мы спали в бараке у самого входа в шахту. Я страдал тогда той же болезнью, что и теперь, а приходилось таскать целые дни камни под раскалённым солнцем. Однажды ночью у меня, должно быть, начался бред, потому что я увидел, как вы отворили дверь. В руках у вас было распятие, вот такое же, как здесь на стене. Вы читали молитву и прошли совсем близко, не заметив меня. Я закричал, прося вас помочь мне, дать мне яду или нож – любое, что положило бы конец моим страданиям, прежде чем я лишусь рассудка. А вы...

Он закрыл глаза одной рукой; другую все ещё сжимал Монтанелли.

– Я видел по вашему лицу, что вы слышите меня, но вы даже не взглянули в мою сторону и продолжали молиться. Потом поцеловали распятие, оглянулись и прошептали: «Мне очень жаль тебя, Артур, но я не смею выдавать свои чувства... он разгневается...» И я посмотрел на Христа и увидел, что Христос смеётся... Потом пришёл в себя, снова увидел барак и кули, больных проказой, и понял все. Мне стало ясно, что вам гораздо важнее снискать расположение этого вашего божка, тем вырвать меня из ада. И я запомнил это. А сейчас, когда вы дотронулись до меня, вдруг все забыл... но ведь я болен. Я любил вас когда-то... Но теперь между нами не может быть ничего, кроме вражды. Зачем вы держите мою руку? Разве вы не понимаете, что, пока вы веруете в вашего Иисуса, мы можем быть только врагами?

Монтанелли склонил голову и поцеловал изуродованную руку Овода:

– Артур, как же мне не веровать? Если я сохранил веру все эти страшные годы, то как отказаться от неё теперь, когда ты возвращён мне богом? Вспомни: ведь я был уверен, что убил тебя.

– Это вам ещё предстоит сделать.

– Артур!

В этом возгласе звучал ужас, но Овод продолжал, словно ничего не слыша:

– Будем честными до конца. Мы не сможем протянуть друг другу руки над той глубокой пропастью, которая разделяет нас. Если вы не смеее или не хотите отречься от всего этого, – он бросил взгляд на распятие, висевшее на стене, – то вам придётся дать своё согласие полковнику.

– Согласие! Боже мой... Согласие! Артур, но ведь я люблю тебя!

Страдальческая гримаса исказила лицо Овода.

– Кого вы любите больше? Меня или вот это?

Монтанелли медленно встал. Ужас объял его душу и страшной тяжестью лёг на плечи. Он

почувствовал себя слабым, старым и жалким, как лист, тронутый первым морозом. Сон кончился, и перед ним снова пустота и тьма.

– Артур, жалься надо мной хоть немного!

– А много ли у вас было жалости ко мне, когда из-за вашей лжи я стал рабом на сахарных плантациях? Вы вздрогнули... Вот они, мягкосердечные святоши! Вот что по душе господу богу – покаяться в грехах и сохранить себе жизнь, а сын пусть умирает! Вы говорите, что любите меня... Дорого обошлась мне ваша любовь! Неужели вы думаете, что можете загладить все и, обласкав, превратить меня в прежнего Артура? Меня, который мыл посуду в грязных притонах и чистил конюшни у креольских фермеров – у тех, кто сами были ничуть не лучше скотины? Меня, который был клоуном в бродячем цирке, слугой матадоров ^[94]? Меня, который угождал каждому негодяю, не ленившемуся распоряжаться мной, как ему вздумается? Меня, которого морили голодом, топтали ногами, оплёвывали? Меня, который протягивал руку, прося дать ему покрытые плесенью объедки, и получал отказ, потому что они шли в первую очередь собакам? Зачем я говорю вам обо всём этом? Разве расскажешь о тех бедах, которые вы навлекли на меня! А теперь вы твердите о своей любви! Велика ли она, эта любовь? Откажетесь ли вы ради неё от своего бога? Что сделал для вас Иисус? Что он выстрадал ради вас? За что вы любите его больше меня? За пробитые гвоздями руки? Так посмотрите же на мои! И на это поглядите, и на это, и на это...

Он разорвал рубашку, показывая страшные рубцы на теле.

– Padre, ваш бог – обманщик! Не верьте его ранам, не верьте, что он страдал, это все ложь. Ваше сердце должно по праву принадлежать мне! Padre, нет таких мук, каких я не испытал из-за вас. Если бы вы только знали, что я пережил! И всё-таки мне не хотелось умирать. Я перенёс все и закалил свою душу терпением, потому что стремился вернуться к жизни и вступить в борьбу с вашим богом. Эта цель была моим щитом, им я защищал своё сердце, когда мне грозили безумие и смерть. И вот теперь, вернувшись, я снова вижу на моём месте лжемученика, того, кто был пригвождён к кресту всего-навсего на шесть часов, а потом воскрес из мёртвых. Padre, меня распинали год за годом пять лет, и я тоже воскрес! Что же вы теперь со мной сделаете? Что вы со мной сделаете?..

Голос у него оборвался. Монтанелли сидел не двигаясь, словно каменное изваяние, словно мертвец, поднятый из гроба. Лишь только Овод обрушил на него своё отчаяние, он задрожал, как от удара бичом, но теперь дрожь прошла, от неё не осталось и следа.

Они долго молчали. Наконец Монтанелли заговорил безжизненно ровным голосом:

– Артур, объясни мне, чего ты хочешь. Ты пугаешь меня, мысли мои путаются. Чего ты от меня требуешь?

Овод повернул к нему мертвенно-бледное лицо:

– Я ничего не требую. Кто же станет насильно требовать любви? Вы свободны выбрать из нас двоих того, кто вам дороже. Если вы любите его больше, оставайтесь с ним.

– Я не понимаю тебя, – устало сказал Монтанелли. – О каком выборе ты говоришь? Ведь прошлого изменить нельзя.

– Вам нужно выбрать одного из нас. Если вы любите меня, снимите с шеи этот крест и пойдёте со мной. Мои друзья готовят новый побег, и в ваших силах помочь им. Когда же мы будем по ту сторону границы, признайте меня публично своим сыном. Если же в вас недостаточно любви ко мне, если этот деревянный идол вам дороже, чем я, то ступайте к полковнику и скажите ему, что согласны. Но тогда уходите сейчас же, немедленно, избавьте меня от этой пытки! Мне и так тяжело.

Монтанелли поднял голову. Он начинал понимать, чего от него требуют.

– Я снесусь с твоими друзьями. Но... идти с тобой мне нельзя... я священник.

– А от священника я не приму милости. Не надо больше компромиссов, padre! Довольно я страдал от них! Вы откажетесь либо от своего сана, либо от меня.

– Как я откажусь от тебя, Артур! Как я откажусь от тебя!

– Тогда оставьте своего бога! Выбирайте – он или я. Неужели вы поделите вашу любовь между нами: половину мне, а половину богу! Я не хочу крох с его стола. Если вы с ним, то не со мной.

– Артур, Артур! Неужели ты хочешь разбить моё сердце? Неужели ты доведёшь меня до безумия?

Овод ударил рукой по стене.

– Выбирайте между нами, – повторил он.

Монтанелли достал спрятанную на груди смятую истёршуюся бумажку.

– Смотри, – сказал он.

Я верил в вас, как в бога. Но бог – это глиняный идол, которого можно разбить молотком, а вы лгали мне всю жизнь.

Овод засмеялся и вернул ему записку:

– Вот что значит д-девятнадцать лет! Взять молоток и сокрушить им идола кажется таким лёгким делом. Это легко и теперь, но только я сам попал под молот. Ну, а вы ещё найдёте немало людей, которым можно лгать, не боясь, что они изобличат вас.

– Как хочешь, – сказал Монтанелли. – Кто знает, может быть, и я на твоём месте был бы так же беспощаден. Я не могу сделать то, чего ты требуешь, Артур, но то, что в моих силах, я сделаю. Я устрою тебе побег, а когда ты будешь в безопасности, со мной произойдёт несчастный случай в горах или по ошибке я приму не сонный порошок, а другое лекарство. Выбирай, что тебя больше устраивает. Ничего другого я не могу сделать. Это большой грех, но, я надеюсь, господь простит меня. Он милосерднее...

Овод протянул к нему руки:

– О, это слишком! Это слишком! Что я вам сделал? Кто дал вам право так думать обо мне? Точно я собираюсь мстить! Неужели вы не понимаете, что я хочу спасти вас? Неужели вы не видите, что во мне говорит любовь?

Он схватил руки Монтанелли и стал покрывать их горячими поцелуями вперемешку со слезами.

– Padre, пойдёмте с нами. Что у вас общего с этим мёртвым миром идолов? Ведь они – прах ушедших веков! Они прогнили насквозь, от них веет тленом! Уйдите от чумной заразы церкви – я уведу вас в светлый мир. Padre, мы – жизнь и молодость, мы – вечная весна, мы – будущее человечества! Заря близко, padre, – неужели вы не хотите, чтобы солнце воссияло и над вами? Проснитесь, и забудем страшные сны! Проснитесь, и начнём нашу жизнь заново! Padre, я всегда любил вас, всегда! Даже в ту минуту, когда вы нанесли мне смертельный удар! Неужели вы убьёте меня ещё раз?

Монтанелли вырвал свои руки из рук Овода.

– Господи, смилуйся надо мной! – воскликнул он. – Артур, как ты похож на мать! /Те же глаза/!

Наступило глубокое, долгое молчание.

Они глядели друг на друга в сером полумраке, и сердца их стыли от ужаса.

– Скажи мне что-нибудь, – прошептал Монтанелли. – Подай хоть какую-нибудь надежду!

– Нет. Жизнь нужна мне только для того, чтобы бороться с церковью. Я не человек, а нож! Давая мне жизнь, вы освящаете нож.

Монтанелли повернулся к распятию:

– Господи! Ты слышишь?..

Голос его замер в глубокой тишине. Ответа не было. Злой демон снова проснулся в Оводе:

– Г-громче зовите! Может быть, он спит.

Монтанелли выпрямился, будто его ударили. Минуту он глядел прямо перед собой. Потом опустился на край койки, закрыл лицо руками и зарыдал. Овод вздрогнул всем телом, поняв, что значат эти слезы. Холодный пот выступил у него на лбу.

Он натянул на голову одеяло, чтобы не слышать этих рыданий. Разве не довольно того, что ему придётся умереть – ему, полному сил и жизни!

Но рыданий нельзя было заглушить. Они раздавались у него в ушах, проникали в мозг, в кровь.

Монтанелли плакал, и слезы струились у него сквозь пальцы. Наконец он умолк и, словно ребёнок, вытер глаза платком. Платок упал на пол.

– Слова излишни, – сказал он. – Ты понял меня?

– Да, понял, – бесстрастно проговорил Овод. – Это не ваша вина. Ваш бог голоден, и его надо накормить.

Монтанелли повернулся к нему. И наступившее молчание было страшнее молчания могилы, которую должны были вскоре выкопать для одного из них.

Молча глядели они друг на друга, словно влюблённые, которых разлучили насильно и которым не переступить поставленной между ними преграды.

Овод первый опустил глаза. Он поник всем телом, пряча лицо, и Монтанелли понял, что это значит: «Уходи». Он повернулся и вышел из камеры.

Минута, и Овод вскочил с койки:

– Я не вынесу этого! Padre, вернитесь! Вернитесь!

Дверь захлопнулась. Долгим взглядом обвёл он стены камеры, зная, что всё кончено. Галилеянин победил^[95].

Во дворе тюрьмы всю ночь шелестела трава – трава, которой вскоре суждено было увянуть под ударами заступа. И всю ночь напролёт рыдал Овод, лёжа один, в темноте...

Во вторник утром происходил военный суд.

Он продолжался недолго. Это была лишь пустая формальность, занявшая не больше двадцати минут. Да много времени и не требовалось. Защита не была допущена. В качестве свидетелей выступали только раненый сыщик, офицер да несколько солдат. Приговор был предreshён: Монтанелли дал неофициальное согласие, которого от него добивались. Судьям – полковнику Феррари, драгунскому майору и двум офицерам папской гвардии – собственно, нечего было делать. Прочли обвинительный акт, свидетели дали показания, приговор скрепили подписями и с соответствующей торжественностью прочли осуждённому. Он выслушал его молча и на предложение воспользоваться правом подсудимого на последнее слово только нетерпеливо махнул рукой. У него на груди был спрятан платок, обронённый Монтанелли. Он осыпал этот платок поцелуями и плакал над ним всю ночь, как над живым существом. Лицо у него было бледное и безжизненное, глаза все ещё хранили следы слёз. Слова «к расстрелу» мало подействовали на него. Когда он услышал их, зрачки его расширились – и только.

– Отведите осуждённого в камеру, – приказал полковник, когда все формальности были закончены.

Сержант, едва сдерживая слёзы, тронул за плечо неподвижную фигуру. Овод чуть вздрогнул и обернулся.

– Ах да! – промолвил он. – Я и забыл.

На лице полковника промелькнуло нечто похожее на жалость. Полковник был не такой уж злой человек, и роль, которую ему приходилось играть последние недели, смущала его самого. И теперь, поставив на своё, он был готов пойти на маленькие уступки.

– Кандалы можно не надевать, – сказал он, посмотрев на распухшие руки Овода. – Отведите его в прежнюю камеру. – И добавил, обращаясь к племяннику: – Та, в которой полагается сидеть приговорённым к смертной казни, чересчур уж сырая и мрачная. Стоит ли соблюдать пустые формальности!

Полковник смущённо кашлянул и вдруг окликнул сержанта, который уже выходил с Оводом из зала суда:

– Подождите, сержант! Мне нужно поговорить с ним.

Овод не двинулся. Казалось, голос полковника не коснулся его слуха.

– Если вы хотите передать что-нибудь вашим друзьям или родственникам... Я полагаю, у вас есть родственники?

Ответа не последовало.

– Так вот, подумайте и скажите мне или священнику. Я позабочусь, чтобы ваше поручение было исполнено... Впрочем, лучше передайте его священнику. Он проведёт с вами всю ночь. Если у вас есть ещё какое-нибудь желание...

Овод поднял глаза:

– Скажите священнику, что я хочу побыть один. Друзей у меня нет, поручений – тоже.

– Но вам нужна исповедь.

– Я атеист. Я хочу только, чтобы меня оставили в покое.

Он сказал это ровным голосом, без тени раздражения, и медленно пошёл к выходу. Но в дверях снова остановился:

– Впрочем, вот что, полковник. Я хочу вас попросить об одном одолжении. Прикажите, чтобы завтра мне оставили руки свободными и не завязывали глаза. Я буду стоять совершенно спокойно.

В среду на восходе солнца Овода вывели во двор. Его хромота бросалась в глаза сильнее обычного: он с трудом передвигал ноги, тяжело опираясь на руку сержанта.

Но выражение усталой покорности уже слетело с его лица. Ужас, давивший в ночной тиши, сновидения, переносившие его в мир теней, исчезли вместе с ночью, которая породила их. Как только засияло солнце и Овод встретился лицом к лицу со своими врагами, воля вернулась к нему, и он уже ничего не боялся.

Против увитой плющом стены выстроились в линию шесть карабинеров, назначенных для исполнения приговора. Это была та самая осевшая, обвалившаяся стена, с которой Овод спускался в ночь своего неудачного побега. Солдаты, стоявшие с карабинами в руках, едва сдерживали слезы. Они не могли примириться с мыслью, что им предстоит убить Овода. Этот человек, с его остроумием, весёлым, заразительным смехом и светлым мужеством, как солнечный луч, озарил их серую, однообразную жизнь, и то, что он должен теперь умереть – умереть от их рук, казалось им равносильным тому, как если бы померкло яркое солнце.

Под большим фиговым деревом во дворе его ожидала могила. Её вырыли ночью подневольные руки. Проходя мимо, он с улыбкой заглянул в тёмную яму, посмотрел на лежавшую подле поблекшую траву и глубоко вздохнул, наслаждаясь запахом свежевскопанной земли.

Возле дерева сержант остановился. Овод посмотрел по сторонам, улыбнувшись самой весёлой своей улыбкой.

– Стать здесь, сержант?

Тот молча кивнул. Точно комок застрял у него в горле; он не мог бы вымолвить ни слова, если б даже от этого зависела его жизнь. На дворе уже собрались все: полковник Феррари, его племянник, лейтенант, командующий отрядом, врач и священник. Они вышли вперёд, стараясь не терять достоинства под вызывающе-весёлым взглядом Овода.

– Здравствуйте, г-господа! А, и его преподобие уже на ногах в такой ранний час!.. Как поживаете, капитан? Сегодня наша встреча для вас приятнее, чем прошлая, не правда ли? Я вижу, рука у вас ещё забинтована. Все потому, что я тогда дал промах. Вот эти молодцы лучше сделают своё дело... Не так ли, друзья? – Он окинул взглядом хмурые лица солдат. – На этот раз бинтов не понадобится. Ну-ну, почему же у вас такой унылый вид? Смирно! И покажите, как метко вы умеете стрелять. Скоро вам будет столько работы, что не знаю, справитесь ли вы с ней. Нужно поупражняться заранее...

– Сын мой! – прервал его священник, выходя вперёд; другие отошли, оставив их одних. – Скоро вы предстанете перед вашим творцом. Не упускайте же последних минут, оставшихся вам для покаяния. Подумайте, умоляю вас, как страшно умереть без отпущения грехов, с ожесточённым сердцем? Когда вы предстанете пред лицом вашего судии, тогда уже поздно будет раскаиваться. Неужели вы приблизитесь к престолу его с шуткой на устах?

– С шуткой, ваше преподобие? Мне кажется, вы заблуждаетесь. Когда придёт наш черёд, мы пустим в ход пушки, а не карабины, и тогда вы увидите, была ли это шутка.

– Пушки! Несчастный! Неужели вы не понимаете, какая бездна вас ждёт?

Овод оглянулся через плечо на зияющую могилу:

– Итак, в-ваше преподобие думает, что, когда меня опустят туда, вы навсегда разделаетесь со мной? Может быть, даже на мою могилу положат сверху камень, чтобы помешать в-воскресению «через три дня»? Не бойтесь, ваше преподобие! Я не намерен нарушать вашу монополию на дешёвые чудеса. Буду лежать смирно, как мышь, там, где меня положат. А всё же

мы пустим в ход пушки!

– Боже милосердный! – воскликнул священник, – Прости ему!

– Аминь, – произнёс лейтенант глубоким басом, а полковник Феррари и его племянник набожно перекрестились.

Было ясно, что увещания ни к чему не приведут. Священник отказался от дальнейших попыток и отошёл в сторону, покачивая головой и шепча молитвы. Дальше всё пошло без задержек. Овод стал у края могилы, обернувшись только на миг в сторону красно-жёлтых лучей восходящего солнца. Он повторил свою просьбу не завязывать ему глаза, и, взглянув на него, полковник нехотя согласился. Они оба забыли о том, как это должно подействовать на солдат.

Овод с улыбкой посмотрел на них. Руки, державшие карабины, дрогнули.

– Я готов, – сказал он.

Лейтенант, волнуясь, выступил вперёд. Ему никогда ещё не приходилось командовать при исполнении приговора.

– Готовься!.. Целься! Пли!

Овод слегка пошатнулся, но не упал. Одна пуля, пущенная нетвёрдой рукой, чуть поцарапала ему щеку. Кровь струйкой потекла на белый воротник. Другая попала в ногу выше колена. Когда дым рассеялся, солдаты увидели, что он стоит, по-прежнему улыбаясь, и стирает изуродованной рукой кровь со щеки.

– Плохо стреляете, друзья! – сказал Овод, и его ясный, отчётливый голос резанул по сердцу окаменевших от страха солдат. – Попробуйте ещё раз!

Ропот и движение пробежали по шеренге. Каждый карабинер целился в сторону, в тайной надежде, что смертельная пуля будет пущена рукой соседа, а не его собственной. А Овод по-прежнему стоял и улыбался им. Предстояло начать все снова; они лишь превратили казнь в ненужную пытку. Солдат охватил ужас. Опустив карабины, они слушали неистовую брань офицеров и в отчаянии смотрели на человека, уцелевшего под пулями.

Полковник потрясал кулаком перед их лицами, торопил, сам отдавал команду. Он тоже растерялся и не смел взглянуть на человека, который стоял как ни в чём не бывало и не собирался падать. Когда Овод заговорил, он вздрогнул, испугавшись звука этого насмешливого голоса.

– Вы прислали на расстрел новобранцев, полковник! Посмотрим, может быть, у меня что-нибудь получится... Ну, молодцы! На левом фланге, держать ружья выше! Это карабин, а не сковорода! Ну, теперь – готовься!.. Целься!

– Пли! – крикнул полковник, бросаясь вперёд.

Нельзя было стерпеть, чтобы этот человек сам командовал своим расстрелом.

Ещё несколько беспорядочных выстрелов, и солдаты сбились в кучу, дико озираясь по сторонам. Один совсем не выстрелил. Он бросил карабин и, повалившись на землю, бормотал:

– Я не могу, не могу!

Дым медленно растаял в свете ярких утренних лучей. Они увидели, что Овод упал; увидели и то, что он ещё жив. Первую минуту солдаты и офицеры стояли, как в столбняке, глядя на Овода, который в предсмертных корчах бился на земле.

Врач и полковник с криком кинулись к нему, потому что он приподнялся на одно колено и опять смотрел на солдат и опять смеялся.

– Второй промах! Попробуйте... ещё раз, друзья! Может быть...

Он пошатнулся и упал боком на траву.

– Умер? – тихо спросил полковник.

Врач опустил на колени и, положив руку на залитую кровью сорочку Овода, ответил:

– Кажется, да... Слава богу!

– Слава богу! – повторил за ним полковник. – Наконец-то!

Племянник тронул его за рукав:

– Дядя... кардинал! Он стоит у ворот и хочет войти сюда.

– Что? Нет, нельзя... Я этого не допущу! Чего смотрит караул? Ваше преосвященство...

Ворота распахнулись и снова закрылись. Монтанелли уже стоял во дворе, глядя прямо перед собой неподвижными, полными ужаса глазами.

– Ваше преосвященство! Прошу вас... Вам не подобает смотреть... Приговор только что приведён в исполнение...

– Я пришёл взглянуть на него, – сказал Монтанелли.

Даже в эту минуту полковника поразил голос и весь облик кардинала: он шёл словно во сне.

– О господи! – крикнул вдруг один из солдат.

Полковник быстро обернулся.

Так и есть!

Окровавленное тело опять корчилось на траве.

Врач опустился на землю рядом с умирающим и положил его голову к себе на колено.

– Скорее! – крикнул он. – Скорее, варвары! Прикончите его, ради бога! Это невыносимо!

Кровь ручьями стекала по его пальцам. Он с трудом сдерживал бившееся в судорогах тело и растерянно озирался по сторонам, ища помощи. Священник нагнулся над умирающим и приложил распятие к его губам:

– Во имя отца и сына...

Овод приподнялся, опираясь о колено врача, и широко открытыми глазами посмотрел на распятие. Потом медленно среди мёртвой тишины поднял простреленную правую руку и оттолкнул его. На лице Христа остался кровавый след.

– Padre... ваш бог... удовлетворён?

Его голова упала на руки врача.

* * *

– Ваше преосвященство!

Кардинал стоял не двигаясь, и полковник Феррари повторил громче:

– Ваше преосвященство?

Монтанелли поднял глаза:

– Он мёртвый...

– Да, ваше преосвященство. Не уйти ли вам отсюда?.. Такое тяжёлое зрелище...

– Он мёртвый, – повторил Монтанелли и посмотрел в лицо Оводу. – Я коснулся его – а он мёртвый...

– Чего же ещё ждать, когда в человеке сидит десяток пуль! – презрительно прошептал лейтенант.

И врач сказал тоже шёпотом:

– Кардинала, должно быть, взволновал вид крови.

Полковник решительно взял Монтанелли под руку:

– Ваше преосвященство, не смотрите на него. Позвольте капеллану^[96] проводить вас домой.

– Да... Я пойду.

Монтанелли медленно отвернулся от окровавленного тела и пошёл прочь в сопровождении священника и сержанта. В воротах он замедлил шаги и бросил назад все тот же непонимающий, застывший, как у призрака, взгляд.

Несколько часов спустя Марконе пришёл в домик на склоне холма сказать Мартини, что ему уже не нужно жертвовать жизнью.

Все приготовления ко второй попытке освободить Овода были закончены, ибо на этот раз план освобождения был много проще. Решили так: на следующее утро, когда процессия с телом господним будет проходить мимо крепостного вала, Мартини выступит вперёд из толпы и выстрелит полковнику в лицо. В общей суматохе двадцать вооружённых контрабандистов бросятся к тюремным воротам, ворвутся в башню и, заставив тюремщика открыть камеру, уведут Овода, стреляя в тех, кто попытается помешать этому. От ворот рассчитывали отступать с боем, прикрывая второй отряд конных контрабандистов, которые вывезут Овода в надёжное место в горах.

В небольшой группе заговорщиков только Джемма ничего не знала об этом плане. Так хотел Мартини.

– Её сердце не выдержит, – говорил он.

Когда контрабандист появился у калитки, Мартини отворил стеклянную дверь веранды и вышел ему навстречу:

– Есть новости, Марконе?

Марконе вместо ответа сдвинул на затылок свою широкополую соломенную шляпу.

Они сели на веранде. Ни тот, ни другой не произнесли ни слова. Но Мартини достаточно было бросить взгляд на Марконе, чтобы понять все.

– Когда это случилось? – спросил он наконец.

Собственный голос показался ему таким тусклым и унылым, как и весь мир.

– Сегодня на рассвете. Я узнал от сержанта. Он был там и все видел.

Мартини опустил глаза и снял ниточку, приставшую к рукаву. Суета сует. Вся жизнь полна суеты. Завтра он должен был умереть. А теперь желанная цель растаяла, как тают волшебные замки в закатном небе, когда на них надвигается ночная тьма. Он вернётся в скучный мир – мир Галли и Грассини. Снова шифровка, памфлеты, споры из-за пустяков между товарищами, происки австрийских сыщиков. Будни, будни, нагоняющие тоску... А где-то в глубине его души – пустота, эту пустоту теперь уже ничто и никто не заполнит, потому что Овода нет.

Он услышал голос Марконе и поднял голову, удивляясь, о чём же можно сейчас говорить.

– Простите?

– Я спрашивал: вы сами скажете ей об этом?

Проблеск жизни со всеми её горестями снова появился на лице Мартини.

– Нет, я не могу! – воскликнул он. – Вы лучше уж прямо попросите меня пойти и убить её. Как я скажу ей, как?

Мартини закрыл глаза руками. И, не открывая их, почувствовал, как вздрогнул контрабандист. Он поднял голову. Джемма стояла в дверях.

– Вы слышали, Чезаре? – сказала она. – Всё кончено. Его расстреляли.

– «Introibo ad altare Dei...»^[97]

Монтанелли стоял перед престолом, окружённый священниками и причтом, и громким, ясным голосом читал «Introit». Собор был залит светом. Праздничные одежды молящихся, яркая драпировка на колоннах, гирлянды цветов – все переливалось красками. Над открытым настежь входом спускались тяжёлые красные занавеси, пылавшие в жарких лучах июньского солнца, словно лепестки маков в поле. Обычно полутёмные боковые приделы были освещены свечами и факелами монашеских орденов. Там же высились кресты и хоругви отдельных приходов. У боковых дверей тоже стояли хоругви; их шёлковые складки ниспадали до земли, позолоченные кисти и древки ярко горели под тёмными сводами. Лившийся сквозь цветные стекла дневной свет окрашивал во все цвета радуги белые стихари певчих и ложился на пол алтаря пунцовыми, оранжевыми и зелёными пятнами. Позади престола блестела и искрилась на солнце завеса из серебряной парчи. И на фоне этой завесы, украшений и огней выступала неподвижная фигура кардинала в белом облачении – словно мраморная статуя, в которую вдохнули жизнь.

Обычай требовал, чтобы в дни процессий кардинал только присутствовал на обедне, но не служил. Кончив «Indulgentiam»^[98], он отошёл от престола и медленно двинулся к епископскому трону, провожаемый низкими поклонами священников и причта.

– Его преосвященство, вероятно, не совсем здоров, – шёпотом сказал один каноник другому. – Он сегодня сам не свой.

Монтанелли склонил голову, и священник, возлагавший на него митру, усеянную драгоценными камнями, прошептал:

– Вы больны, ваше преосвященство?

Монтанелли молча посмотрел на него, словно не узнавая.

– Простите, ваше преосвященство, – пробормотал священник, преклонив колени, и отошёл, укоряя себя за то, что прервал кардинала во время молитвы.

Служба шла обычным порядком. Монтанелли сидел прямой, неподвижный. Солнце играло на его митре, сверкающей драгоценностями, и на шитом золотом облачении. Тяжёлые складки белой праздничной мантии ниспадали на красный ковёр. Свет сотен свечей искрился в сапфирах на его груди. Но глубоко запавшие глаза кардинала оставались тусклыми, солнечный луч не вызывал в них ответного блеска.

И когда в ответ на слова «Benedicite, pater eminentissime»^[99], он наклонился благословить кадило, и солнце ударило в его митру, казалось, это некий грозный дух снеговых вершин, увенчанный радугой и облачённый в ледяные покровы, простирает руки, расточая вокруг благословения, а может быть, и проклятия.

При выносе святых даров кардинал встал с трона и опустился на колени перед престолом. В плавности его движений было что-то необычное, и когда он поднялся и пошёл назад, драгунский майор в парадном мундире, сидевший за полковником, прошептал, поворачиваясь к раненому капитану:

– Сдаёт старик кардинал, сдаёт! Смотрите: словно не живой человек, а машина.

– Тем лучше, – тоже шёпотом ответил капитан. – С тех пор как была дарована эта проклятая амнистия, он висит у нас камнем на шее.

– Однако на военный суд он согласился.

– Да, после долгих колебаний... Господи боже, как душно! Нас всех хватит солнечный удар во время процессии. Жаль, что мы не кардиналы, а то бы над нами всю дорогу несли балдахин... Ш-ш! Дядюшка на нас смотрит.

Полковник Феррари бросил строгий взгляд на молодых офицеров. Вчерашние события настроили его на весьма серьёзный и благочестивый лад, и он был не прочь отчитать молодёжь за легкомысленное отношение к своим обязанностям – может стать, и обременительным.

Распорядители стали устанавливать по местам тех, кто должен был участвовать в процессии. Полковник Феррари поднялся, знаком приглашая офицеров следовать за собой.

Когда месса ^[100] окончилась и святые дары поставили в ковчег, духовенство удалилось в ризницу сменить облачение.

Послышался сдержанный гул голосов. Монтанелли сидел, устремив вперёд неподвижный взгляд, словно не замечая жизни, кипевшей вокруг и замиравшей у подножия его трона. Ему поднесли кадило, он поднял руку, как автомат, и, не глядя, положил ладан в курильницу.

Духовенство вернулось из ризницы и ждало кардинала в алтаре, но он сидел не двигаясь. Священник, который должен был принять от него митру, наклонился к нему и нерешительно проговорил:

– Ваше преосвященство!

Кардинал оглянулся:

– Что вы сказали?

– Может быть, вам лучше не участвовать в процессии? Солнце жжёт немилосердно.

– Что мне до солнца!

Монтанелли проговорил это холодно, и священнику снова показалось, что он недоволен им.

– Простите, ваше преосвященство. Я думал, вы нездоровы.

Монтанелли поднялся, не удостоив его ответом, и проговорил все так же медленно:

– Что это?

Край его мантии лежал на ступеньках, и он показывал на огненное пятно на белом атласе.

– Это солнечный луч светит сквозь цветное стекло, ваше преосвященство.

– Солнечный луч? Такой красный?

Он сошёл со ступенек и опустился на колени перед престолом, медленно размахивая кадилом. Потом протянул его дьякону. Солнце легло цветными пятнами на обнажённую голову Монтанелли, ударило в широко открытые, обращённые вверх глаза и осветило багряным блеском белую мантию, складки которой расправляли священники.

Дьякон подал ему золотой ковчег, и он поднялся с колен под торжественную мелодию хора и органа.

Прислужники медленно подошли к нему с шёлковым балдахином; дьяконы стали справа и слева и откинули назад длинные складки его мантии. И когда служки подняли её, мирские общины, возглавляющие процессию, вышли на середину собора и двинулись вперёд.

Монтанелли стоял у престола под белым балдахином, твёрдой рукой держа святые дары и глядя на проходящую мимо процессию. По двое в ряд люди медленно спускались по ступенькам со свечами, факелами, крестами, хоругвями и, минуя убранные цветами колонны, выходили из-под красной занавеси над порталом на залитую солнцем улицу. Звуки пения постепенно замирали вдали, переходя в неясный гул, а позади раздавались все новые и новые голоса. Бесконечной лентой разворачивалась процессия, и под сводами собора долго не затихали шаги.

Шли прихожане в белых саванах, с закрытыми лицами; братья ордена милосердия в чёрном с головы до ног, в масках, сквозь прорези которых поблёскивали их глаза. Торжественно выступали монахи; нищенствующие братья, загорелые, босые, в тёмных капюшонах; суровые доминиканцы в белых сутанах. За ними – представители военных и гражданских властей: драгуны, карабинеры, чины местной полиции и полковник в парадной форме со своими офицерами. Шествие замыкали дьякон, нёсший большой крест, и двое прислужников с зажжёнными свечами. И, когда занавеси у портала подняли выше, Монтанелли увидел со своего

места под балдахином залитую солнцем, усталую коврами улицу, флаги на домах и одетых в белое детей, которые разбрасывали розы по мостовой. Розы! Какие они красные!

Процессия подвигалась медленно, в строгом порядке. Одежания и краски менялись поминутно. Длинные белые стихари уступали место пышным, расшитым золотом ризам. Вот высоко над пламенем свечей проплыл тонкий золотой крест. Потом показались соборные каноники, все в белом. Капеллан нёс епископский посох, мальчишки помахивали кадилами в такт пению. Прислужники поднимали балдахин выше, отсчитывая вполголоса шаги: «Раз, два, раз, два», и Монтанелли открыл крестный ход.

Он спустился на середину собора, прошёл под хорами, откуда неслись торжественные раскаты органа, потом под занавесью у входа – такой нестерпимо красной! – и ступил на сверкающую в лучах солнца улицу. На красном ковре под его ногами лежали растоптанные кроваво-красные розы.

Минутная остановка в дверях – представители светской власти сменили прислужников у балдахина, – и процессия снова двинулась, и он тоже идёт вперёд, сжимая в руках ковчег со святыми дарами. Голоса певчих то широко разливаются, то замирают, и в такт пению – покачивание кадил, в такт пению – мерная людская поступь.

Кровь, всюду кровь! Ковёр – точно красная река, розы на камнях – точно пятна разбрызганной крови!.. Боже милосердный! Неужто небо твоё и твоя земля залиты кровью? Не что тебе до этого-тебе, чьи губы обогреты ею!

Он взглянул на причастие за хрустальной стенкой ковчега. Что это стекает с облатки между золотыми лучами и медленно каплет на его белое облачение? Вот так же капало с приподнятой руки... он видел сам.

Трава на крепостном дворе была помятая и красная... вся красная... так много было крови. Она стекала с лица, капала из простреленной правой руки, хлестала горячим красным потоком из раны в бок. Даже прядь волос была смочена кровью... да, волосы лежали на лбу мокрые и спутанные... Это предсмертный пот выступил от непереносимой боли.

Торжественное пение разливалось волной:

Genitori, genitoque,
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque,
Sit et benedictio!^[101]

Нет сил это вынести! Боже! Ты взираешь с небес на земные мучения и улыбаешься окровавленными губами. Неужели тебе этого мало? Зачем ещё издевательские славословия и хвалы! Тело Христово, преданное во спасение людей, кровь Христова, пролитая для искупления их грехов! И этого мало?

Громче зовите! Может быть, он спит!

Ты спишь, возлюбленный сын мой, и больше не проснёшься. Неужели могила так ревниво охраняет свою добычу? Неужели чёрная яма под деревом не отпустит тебя хоть ненадолго, радость сердца моего?

И тогда из-за хрустальной стенки ковчега послышался голос, и, пока он говорил, кровь капала, капала...

«Выбор сделан. Станешь ли ты раскаиваться в нём! Разве желание твоё не исполнилось? Взгляни на этих людей, раздетых в шелка и парчу и шествующих в ярком свете дня, – ради них я лёг в тёмную гробницу. Взгляни на детей, разбрасывающих розы, прислушайся к их сладостным

голосам – ради них наполнились уста мои прахом, а розы эти красны, ибо они впитали кровь моего сердца. Видишь – народ преклоняет колена, чтобы испить крови, стекающей по складкам твоей одежды. Эта кровь была пролита за него, так пусть же он утолит свою жажду. Ибо сказано: „Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих“.

Артур! Артур! А если кто положит жизнь за возлюбленного сына своего? Не больше ли такая любовь?

И снова послышался голос из ковчега:

«Кто он, возлюбленный сын твой? Воистину, это не я!»

И он хотел ответить, но слова застыли у него на устах, потому что голоса певчих пронеслись над ним, как северный ветер над ровной гладью.

Dedit fragilibus corporis ferculum,
Dedit et tristibus sanguinis poculum...[\[102\]](#)

Пейте же! Пейте из чаши все! Разве эта кровь не ваше достояние? Для вас красный поток залил траву, для вас изувечено и разорвано на куски живое тело! Вкусите от него, людоеды, вкусите от него все! Это ваш пир, это день вашего торжества! Торопитесь же на праздник, примкните к общему шествию! Женщины и дети, юноши и старики, получите каждый свою долю живой плоти. Приблизьтесь к текущему ручьём кровавому вину и пейте, пока оно красное! Примите и вкусите от тела...

Боже! Вот и крепость. Угрюмая, тёмная, с полуразрушенной стеной и башнями, она чернеет среди голых гор и сурово глядит на процессию, которая тянется вниз, по пыльной дороге. Ворота её ощерились железными зубьями решётки. словно зверь, припавший к земле, подкарауливает она свою добычу. Но как ни крепки эти железные зубья, их разожмут и сломают, и могила на крепостном дворе отдаст своего мертвеца. Ибо сонмы людские текут на священный пир крови, как полчища голодных крыс, которые спешат накинуться на колосья, оставшиеся в поле после жатвы. И они кричат: «Дай, дай!» Никто из них не скажет: «Довольно!»

«Тебе все ещё мало? Меня принесли в жертву ради этих людей. Ты погубил меня, чтобы они могли жить. Видишь, они идут, идут, и ряды их сомкнуты.

Это воинство твоего бога – несметное, сильное. Огонь бушует на его пути и идёт за ним следом. Земля на его пути, как райский сад, – пройдёт воинство и оставит после себя пустыню. И ничто не уцелеет под его тяжкой поступью».

И всё же я зову тебя, возлюбленный сын мой! Вернись ко мне, ибо я раскаиваюсь в своём выборе. Вернись! Мы уйдём с тобой и ляжем в тёмную, безмолвную могилу, где эти кровожадные полчища не найдут нас. Мы заключим друг друга в объятия и уснём – уснём надолго. Голодное воинство пройдёт над нами, и когда оно будет выть, требуя крови, чтобы насытиться, его вопли едва коснутся нашего слуха и не потревожат нас.

И голос снова ответил ему:

«Где же я укроюсь? Разве не сказано „Будут бегать по городу, подниматься на стены, влезать на дома, входить в окна, как воры“? Если я сложу себе гробницу на склоне горы, разве её не раскидают камень за камнем? Если я вырою могилу на дне речном, разве её не раскопают? Истинно, истинно говорю тебе: они, как псы, гонятся за добычей, и мои раны сочатся кровью, чтобы им было чем утолить жажду. Разве ты не слышишь их песнопений?»

Процессия кончилась; все розы были разбросаны по мостовой, и, проходя под красными занавесями в двери собора, люди пели.

И когда пение стихло, кардинал прошёл в собор между двумя рядами монахов и

священников, стоявших на коленях с зажжёнными свечами. И он увидел их глаза, жадно устремлённые на ковчег, который был у него в руках, и понял, почему они склоняют голову, не глядя ему вслед, ибо по складкам его белой мантии бежали алые струйки, и на каменных плитах собора его ноги оставляли кровавые следы.

Он подошёл к алтарю и, выйдя из-под балдахина, поднялся вверх по ступенькам. Справа и слева от алтаря стояли коленопреклонённые мальчики с кадилами и капелланы с горящими факелами, и в их глазах, обращённых на тело искупителя, поблёскивали жадные огоньки.

И когда он стал перед алтарем и воздел свои запятнанные кровью руки с поруганным, изувеченным телом возлюбленного сына своего, голоса гостей, созданных на пасхальный пир, снова слились в общем хоре.

А сейчас тело унесут... Иди, любимый, исполни, что предначертано тебе, и распахни райские врата перед этими несчастными. Передо мной же распахнутся врата ада.

Дьякон поставил священный сосуд на алтарь, а он преклонил колена, и с алтаря на его обнажённую голову капля за каплей побежала кровь. Голоса певчих звучали все громче и громче, будя эхо под высокими сводами собора.

«Sine termino... sine termino!»^[103] О Иисус, счастлив был ты, когда мог пасть под тяжестью креста! Счастлив был ты, когда мог сказать: «Свершилось!» Мой же путь бесконечен, как путь звёзд в небесах. И там, в геенне огненной, меня ждёт червь, который никогда не умрёт, и пламя, которое никогда не угаснет. «Sine termino... sine termino!»

Устало, покорно проделал кардинал оставшуюся часть церемонии, машинально выполняя привычный ритуал. Потом, после благословения, опять преклонил колена перед алтарем и закрыл руками лицо. Голос священника, читающего молитву об отпущении грехов, доносился до него, как дальний отзвук того мира, к которому он больше не принадлежал. Наступила тишина. Кардинал встал и протянул руку, призывая к молчанию. Те, кто уже пробирался к дверям, вернулись обратно.

По собору пронёсся шёпот: «Его преосвященство будет говорить».

Священники переглянулись в изумлении и ближе придвинулись к нему; один из них спросил вполголоса:

– Ваше преосвященство намерены говорить с народом?

Монтанелли молча отстранил его рукой. Священники отступили, перешёптываясь. Проповеди в этот день не полагалось, это противоречило всем обычаям, но кардинал мог поступить по своему усмотрению. Он, вероятно, объявит народу что-нибудь важное: новую реформу, исходящую из Рима, или послание святого отца.

Со ступенек алтаря Монтанелли взглянул вниз, на море человеческих лиц. С жадным любопытством глядели они на него, а он стоял над ними неподвижный, похожий на призрак в своём белом облачении.

– Тише! Тише! – негромко повторяли распорядители, и рокот голосов постепенно замер, как замирает порыв ветра в вершинах деревьев.

Все смотрели на неподвижную фигуру, стоящую на ступеньках алтаря. И вот в мёртвой тишине раздался отчётливый, мерный голос кардинала:

– В евангелии от святого Иоанна сказано: «Ибо так возлюбил бог мир, что отдал сына своего едиnorodного, дабы мир спасён был через него». Сегодня у нас праздник тела и крови искупителя, погибшего ради вас, агнца божия, взявшего на себя грехи мира, сына господня, умершего за ваши прегрешения. Вы собрались, чтобы вкусить от жертвы, принесённой вам, и возблагодарить за это бога. И я знаю, что утром, когда вы шли вкусить от тела искупителя, сердца ваши были исполнены радости, и вы вспомнили о муках, перенесённых богом-сыном, умершим ради вашего спасения.

Но кто из вас подумал о страданиях бога-отца, который дал распять на кресте своего сына? Кто из вас вспомнил о муках отца, глядевшего на Голгофу^[104] с высоты своего небесного трона?

Я смотрел на вас сегодня, когда вы шли торжественной процессией, и видел, как ликовали вы в сердце своём, что отпустятся вам грехи ваши, и радовались своему спасению. И вот я прошу вас: подумайте, какой ценой оно было куплено. Велика его цена! Она превосходит цену рубинов, ибо она цена крови...

Трепет пробежал по рядам. Священники, стоявшие в алтаре, перешёптывались между собой и слушали, подавшись всем телом вперёд.

Но кардинал снова заговорил, и они умолкли.

– Поэтому говорю вам сегодня. Я есмь сущий. Я глядел на вас, на вашу немощность и ваши печали и на малых детей, играющих у ног ваших. И душа моя исполнилась сострадания к ним, ибо они должны умереть. Потом я заглянул в глаза возлюбленного сына моего и увидел в них искупление кровью. И я пошёл своей дорогой и оставил его нести свой крест.

Вот оно, отпущение грехов. Он умер за вас, и тьма поглотила его; он умер и не воскреснет; он умер, и нет у меня сына. О мой мальчик, мой мальчик!

Из груди кардинала вырвался долгий жалобный стон, и его, словно эхо, подхватили испуганные голоса людей. Духовенство встало со своих мест, дьяконы подошли к кардиналу и взяли его за руки. Но он вырвался и сверкнул на них глазами, как разъярённый зверь:

– Что это? Разве не довольно ещё крови? Подождите своей очереди, шакалы! Вы тоже насытитесь!

Они попятились от него и сбились в кучу, бледные, дрожащие. Он снова повернулся к народу, и людское море заволновалось, как нива, над которой пролетел вихрь.

– Вы убили, убили его! И я допустил это, потому что не хотел вашей смерти. А теперь, когда вы приходите ко мне с лживыми славословиями и нечестивыми молитвами, я раскаиваюсь в своём безумстве! Лучше бы вы погрязли в пороках и заслужили вечное проклятие, а он остался бы жить. Стоят ли ваши зачумлённые души, чтобы за спасение их было заплачено такой ценой?

Но поздно, слишком поздно! Я кричу, а он не слышит меня. Стучусь у его могилы, но он не проснётся. Один стою я в пустыне и перевожу взор с залитой кровью земли, где зарыт свет очей моих, к страшным, пустым небесам. И отчаяние овладевает мной. Я отрёкся от него, отрёкся от него ради вас, порождения ехидны!

Так вот оно, ваше спасение! Берите! Я бросаю его вам, как бросают кость своре рычащих собак! За пир уплачено. Так придите, ешьте досыта, людоеды, кровопийцы, стервятники, питающиеся мертвечиной! Смотрите: вон со ступенек алтаря течёт горячая, дымящаяся кровь! Она течёт из сердца моего сына, и она пролита за вас! Лакайте же её, вымажьте себе лицо этой кровью! Деритесь за тело, рвите его на куски... и оставьте меня! Вот тело, отданное за вас. Смотрите, как оно изранено и сочится кровью, и все ещё трепещет в нём жизнь, все ещё бьётся оно в предсмертных муках! Возьмите же его, христиане, и ешьте!

Он схватил ковчег со святыми дарами, поднял его высоко над головой и с размаху бросил на пол. Металл зазвенел о каменные плиты. Духовенство толпой ринулось вперёд, и сразу двадцать рук схватили безумца.

И только тогда напряжённое молчание народа разрешилось неистовыми, истерическими воплями.

Опрокидывая стулья и скамьи, сталкиваясь в дверях, давя друг друга, обрывая занавеси и гирлянды, рыдающие люди хлынули на улицу.



– Джемма, вас кто-то спрашивает внизу.

Мартини произнёс эти слова тем сдержанным тоном, который они оба бессознательно усвоили в течение последних десяти дней.

Этот тон да ещё ровность и медлительность речи и движений были единственными проявлениями их горя.

Джемма в переднике и с засученными рукавами раскладывала на столе маленькие свёртки с патронами. Она занималась этим с самого утра, и теперь, в лучах ослепительного полдня, было видно, как осунулось её лицо.

– Кто там, Чезаре? Что ему нужно?

– Я не знаю, дорогая. Он мне ничего не сказал. Просил только передать, что ему хотелось бы переговорить с вами наедине.

– Хорошо. – Она сняла передник и спустила рукава. – Нечего делать, надо выйти к нему. Наверно, это просто сыщик.

– Я буду в соседней комнате. В случае чего, кликните меня. А когда отделаетесь от него, прилягте и отдохните немного. Вы целый день провели на ногах.

– Нет, нет! Я лучше буду работать.

Джемма медленно спустилась по лестнице. Мартини молча шёл следом за ней.

За эти дни Джемма состарилась на десять лет. Едва заметная раньше седина теперь выступала у неё широкой прядью. Она почти не поднимала глаз, но если Мартини удавалось случайно поймать её взгляд, он содрогался от ужаса.

В маленькой гостиной стоял навытяжку незнакомый человек. Взглянув на его неуклюжую фигуру и испуганные глаза, Джемма догадалась, что это солдат швейцарской гвардии [\[105\]](#). На нём была крестьянская блуза, очевидно, с чужого плеча. Он озирался по сторонам, словно боясь, что его вот-вот накроют.

– Вы говорите по-немецки? – спросил он.

– Немного. Мне передали, что вы хотите видеть меня.

– Вы синьора Болла? Я принёс вам письмо.

– Письмо? – Джемма вздрогнула и оперлась рукой о стол.

– Я из стражи, вон оттуда. – Солдат показал в окно на холм, где виднелась крепость. – Письмо это от казнённого на прошлой неделе. Он написал его в последнюю ночь перед расстрелом. Я обещал ему передать письмо вам в руки.

Она склонила голову. Всё-таки написал...

– Потому-то я так долго и не приносил, – продолжал солдат. – Он просил передать вам лично. А я не мог раньше выбраться – за мной следили. Пришлось переодеться.

Солдат пошарил за пазухой. Стояла жаркая погода, и сложенный листок бумаги, который он вытащил, был не только грязен и смят, но и весь промок от пота. Солдат неловко переступил с ноги на ногу. Потом почесал в затылке.

– Вы никому не расскажете? – робко проговорил он, окинув её недоверчивым взглядом. – Я пришёл сюда, рискуя жизнью.

– Конечно, нет! Подождите минутку...

Солдат уже повернулся к двери, но Джемма, остановив его, протянула руку к кошельку. Оскорблённый, он попятился назад и сказал грубовато:

– Не нужно мне ваших денег. Я сделал это ради него – он просил меня. Ради него я пошёл бы и на большее. Он был очень добрый человек...

Джемма уловила лёгкую дрожь в его голосе и подняла глаза. Солдат вытирал слезы грязным рукавом.

– Мы не могли не стрелять, – продолжал он полушёпотом. – Мы люди подневольные. Дали промах... а он стал смеяться над нами. Назвал нас новобранцами... Пришлось стрелять второй раз. Он был очень добрый человек...

Наступило долгое молчание. Потом солдат выпрямился, неловко отдал честь и вышел...

Несколько минут Джемма стояла неподвижно, держа в руке листок. Потом села у открытого окна.

Письмо, написанное очень убористо, карандашом, нелегко было прочитать. Но первые два слова, английские, сразу бросились ей в глаза:

Дорогая Джим!

Строки вдруг расплылись у неё перед глазами, подёрнулись туманом. Она потеряла его. Опять потеряла! Детское прозвище заставило Джемму заново почувствовать эту утрату, и она уронила руки в бессильном отчаянии, словно земля, лежавшая на нём, всей тяжестью навалилась ей на грудь.

Потом снова взяла листок и стала читать:

Завтра на рассвете меня расстреляют. Я обещал сказать вам все, и если уж исполнять это обещание, то откладывать больше нельзя. Впрочем, стоит ли пускаться в длинные объяснения? Мы всегда понимали друг друга без лишних слов. Даже когда были детьми.

Итак, моя дорогая, вы видите, что незачем вам было терзать своё сердце из-за той старой истории с пощёчиной.

*Мне было тяжело перенести это. Но потом я получил немало других таких же пощёчин и стерпел их. Кое за что даже отплатил. И сейчас, я как рыбка в нашей детской книжке (забыл её название), «жив и бью хвостом» – правда, в последний раз... А завтра утром *finita la commedia* [\[106\]](#).*

Для вас и для меня это значит: цирковое представление окончилось. Воздадим благодарность богам хотя бы за эту милость. Она невелика, но всё же это милость. Мы должны быть признательны и за неё.

А что касается завтрашнего утра, то мне хочется, чтобы и вы, и Мартини знали, что я совершенно счастлив и спокоен и что мне нечего больше просить у

судьбы. Передайте это Мартини как моё прощальное слово. Он славный малый, хороший товарищ... Он поймёт. Я знаю, что, возвращаясь к тайным пыткам и казням, эти люди только помогают нам, а себе готовят незавидную участь. Я знаю, что, если вы, живые, будете держаться вместе и разить врагов, вам предстоит увидеть великие события. А я выйду завтра во двор с радостным сердцем, как школьник, который спешит домой на каникулы. Свою долю работы я выполнил, а смертный приговор – лишь свидетельство того, что она была выполнена добросовестно. Меня убивают потому, что я внушаю им страх. А чего же ещё может желать человек?

Впрочем, я-то желаю ещё кое-чего. Тот, кто идёт умирать, имеет право на прихоть. Моя прихоть состоит в том, чтобы объяснить вам, почему я был так груб с вами и не мог забыть старые счёты.

Вы, Впрочем; и сами все понимаете, и я напоминаю об этом только потому, что мне приятно написать эти слова. Я любил вас, Джемма, когда вы были ещё нескладной маленькой девочкой и ходили в простеньком платьице с воротничком и заплетали косичку. Я и теперь люблю вас. Помните, я поцеловал вашу руку, и вы так жалобно просили меня «никогда больше этого не делать»? Я знаю, это было нехорошо с моей стороны, но вы должны простить меня. А теперь я целую бумагу, на которой написано ваше имя. Выходит, что я поцеловал вас дважды и оба раза без вашего согласия. Вот и все. Прощайте, моя дорогая!

Подписи не было. Вместо неё Джемма увидела стишок, который они учили вместе ещё детьми:

*Счастливой мошкою
Летаю.
Живу ли я
Иль умираю.*

Полчаса спустя в комнату вошёл Мартини. Много лет он скрывал своё чувство к Джемме, но сейчас, увидев её горе, не выдержал и, уронив листок, который был у него в руках, обнял её:

– Джемма! Что такое? Ради бога! Ведь вы никогда не плачете! Джемма! Джемма! Дорогая, любимая моя!

– Ничего, Чезаре. Я расскажу потом... Сейчас не могу.

Она торопливо сунула в карман залитое слезами письмо, отошла к окну и выглянула на улицу, пряча от Мартини лицо. Он замолчал, закусив губы. Первый раз за все эти годы он, точно мальчишка, выдал себя, а она даже ничего не заметила.

– В соборе ударили в колокол, – сказала Джемма оглянувшись; самообладание вернулось к ней. – Должно быть, кто-то умер.

– Об этом-то я и пришёл сказать, – спокойно ответил Мартини.

Он поднял листок с пола и передал ей. Это было объявление, напечатанное на скорую руку крупным шрифтом и обведённое траурной каймой:

Наш горячо любимый епископ, его преосвященство кардинал монсеньёр Лоренцо Монтанелли скоропостижно скончался в Равенне от разрыва сердца.

Джемма быстро взглянула на Мартини, и он, пожав плечами, ответил на её невысказанную мысль:

– Что же вы хотите, мадонна? Разрыв сердца – разве это плохое объяснение? Оно не хуже других.

Роман «Овод» и его автор

На 17-м этаже большого мрачного дома на 24-й улице Нью-Йорка ещё недавно жила старая английская писательница Этель Лилиан Войнич. Жила она вместе со своей приятельницей Анной Нилл. Анна работала в библиотеке, и Войнич почти целые дни была одна. Окна её комнаты выходят на восток. Часами сидела она в кресле у окна и вспоминала...

Позади длинная, сложная, трудная жизнь. Множество стран, городов, людей и непрестанный труд.

А у книги, созданной ею, – своя судьба.

Встреченный возмущением в Америке, равнодушием в Англии, её роман «Овод» был восторженно принят в России.

Она писала свой роман только для взрослых, считая, что он никак не годится для молодёжи, но именно молодой читатель страстно полюбил её героя.

Все её сверстники умерли, она была почти одинока. Она ничего не знала о том, как относятся к её роману теперь в России, в СССР. Бережно хранила она маленькую книжечку в жёлтой обложке – дешёвенькое издание «Овода» на русском языке, вышедшее в 1913 году. Она считала, что это последнее издание её романа в России.

Но вот однажды, в конце лета 1955 года, ей принесли апрельский номер советского журнала «Огонёк». В нём была напечатана статья – «Роман „Овод“ и его автор». Взволнованная до глубины души, старая писательница увидела в журнале свою фотографию пятидесятилетней давности, портрет своего отца, мужа.

Значит, её не забыли, её любят в той огромной прекрасной стране – в той стране, где она сама бывала в молодости, за свободу которой она когда-то боролась!

Оказывается, к 1955 году её роман «Овод» переведён на двадцать языков народов СССР. Тиражи его изданий превысили два миллиона! Два раза по его сюжету ставили кинофильмы, тысячи зрителей во многих городах смотрят спектакль «Овод».

Потрясённая, она долго не могла заснуть в эту ночь.

– Я же говорила тебе о России, – делится она с Анной. – Они не могли перестать читать мою книгу.

С тех пор журнал «Огонёк» постоянно лежал у неё на столе.

Через некоторое время она узнала, что в Америку приезжает делегация советских журналистов. Они хотели видеть автора «Овода», и Э.Л. Войнич пригласила их к себе в гости.

И вот они очутились перед ней – живые люди страны социализма. Она – современница Маркса и Энгельса – воочию увидела людей будущего. И это будущее раньше всего наступило в России.

Советские журналисты принесли ей цветы. Она гладила тонкими, высохшими пальцами нежно-розовые лепестки хризантем. Она очень любила цветы...

Советские журналисты рассказывали ей снова о любви народа к её роману... Да, читают, наверно, но чтоб так любили! На двадцати языках, свыше двух миллионов! – это ей казалось невероятным, и она недоверчиво качала головой.

Гости задавали ей сотни вопросов. Она говорила с ними по-русски. Она так давно не говорила по-русски. Иногда она забывала какое-нибудь слово, но, помолчав минутку, вспоминала его. Она очень любила русский язык и прекрасную литературу, созданную на этом языке.

Э.Л. Войнич рассказывала о своих русских друзьях и прежде всего об известном революционере и писателе – Сергее Михайловиче Степняке-Кравчинском, авторе

замечательных книг: «Подпольная Россия», «Андрей Кожухов», «Домик на Волге» и других.

– Мы, молодые, называли его опекуном, – говорила Э.Л. Войнич. – Это он помог мне стать писательницей.

Гости были готовы слушать её рассказы весь день, но она скоро устала, ведь ей уже 91 год...

Специальный корреспондент газеты «Комсомольская правда» попросил её написать несколько слов приветия советской молодёжи.

Э.Л. Войнич задумалась: несколько слов, а надо ведь сказать самое главное! О, она хорошо знала, что самое главное для страны социализма, и уверенной рукой вывела слова:

«Всем детям Советского Союза: счастливого будущего в мире мира» и подписалась «Э.Л. Войнич. Нью-Йорк. 17 ноября 1955 года».

С этого дня переменялась жизнь Э.Л. Войнич. Она стала получать сотни писем из СССР. К ней приходило множество посетителей: советские писатели, художники, артисты, дипломаты. Ей дома показали советский фильм «Овод», ей посылали издания её книг, театральные афиши спектаклей «Овод»...

Высок и завиден удел писателя, при жизни заслужившего любовь миллионов читателей во всём мире. Миллионов – это не преувеличение: ведь роман «Овод» переведён почти на все европейские языки. Роман «Овод» знают и любят в странах народной демократии: он издаётся и переиздается в Китае, Румынии, ГДР, Польше, Болгарии, Чехословакии, Венгрии. Но поистине всенародную известность этот роман получил в СССР: за годы советской власти роман «Овод» был издан у нас 140 раз на 24 языках общим тиражом около шести миллионов экземпляров!

Роман «Овод» был переведён на русский язык в 1898 году, сразу же после его появления в Америке и в Англии, и сразу же стал любимейшей книгой передовой русской молодёжи.

Эта книга увлекала молодёжь, выражаясь словами В.Г. Белинского, «примером высоких действий» молодого героя книги.

Её читали и перечитывали, над нею рыдали ночами, сжав кулаки, а утром выходили в жизнь с сухими глазами и горящими сердцами, готовые к бою и к смерти за счастье и свободу родного народа. Узникам она придавала мужество, слабых она делала сильными, сильных превращала в богатырей.

В сознание русского читателя «Овод» вошёл в эпоху подготовки первой русской революции. Эта книга помогала осуществлению одной из важнейших задач пролетарского движения, провозглашённой В.И. Лениным в 1900 году в первом номере «Искры»: «Надо готовить людей, посвящающих революции не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь».

Образ Овода был примером героя-революционера, отдавшего революции всю свою жизнь, и книга о нём стала одной из любимейших в подпольных кружках, среди передовых юношей и девушек по всей России.

Роман «Овод» любили, ценили и распространяли видные деятели нашей партии в пору борьбы с самодержавием: Г.М. Кржижановский, Е.Д. Стасова, Я.М. Свердлов, М.И. Калинин, И.В. Бабушкин и другие. Позднее «Овод» стал любимой книгой героев гражданской войны – Г.И. Котовского и Н.А. Островского; «Оводом» зачитывалась Зоя Космодемьянская, высоко ценит «Овода» Алексей Маресьев.

Эту книгу любили М. Горький, А. Фадеев, В. Маяковский.

И в наши дни тысячи юношей и девушек, читая историю о борьбе и гибели отважного Овода, учатся хранить верность своим идеям, учатся героизму и мужеству.

Недаром «Овод» – одна из любимейших книг первых космонавтов: Юрия Гагарина, Андрияна Николаева и Валентины Терешковой.

Роман «Овод», написанный английской писательницей Этель Лилиан Войнич, вышел в свет в 1897 году. В этом романе изображена деятельность участников итальянской подпольной

революционной организации «Молодая Италия» в 30-е и 40-е годы XIX века.

В то время, после разгрома наполеоновской армии, вся Италия была разделена на восемь отдельных государств и фактически захвачена австрийскими войсками. Глава католической церкви – римский папа – поддерживал австрийских захватчиков. Под их двойным гнѐтом итальянский народ задыхался и бедствовал. Австрийцам была выгодна раздроблѐнность страны, и они всячески раздували рознь между отдельными итальянскими государствами. Сардинское королевство с главным городом Турин, Тосканское герцогство с главным городом Флоренцией, Папская область с главным городом Римом и другие итальянские государства были отделены друг от друга границами, таможами, у каждого государства были своя денежная система, свои меры. Между отдельными государствами нередко происходили войны.

Передовые люди Италии понимали необходимость объединения страны в цельное государство и боролись за национальную независимость против господства австрийцев.

В 1831 году знаменитый итальянский революционер Джузеппе Мадзини (1805—1872), изгнанный из родной страны, основал подпольную революционную организацию «Молодая Италия». В неё входила передовая итальянская интеллигенция – писатели, адвокаты, студенты. Постоянно преследуемая полицией, «Молодая Италия» сыграла, однако, большую роль в борьбе итальянского народа, который только в 1870 году наконец добился объединения страны.

Действие романа «Овод» начинается в 1833 году. В то время в разных областях Италии происходили вооружѐнные восстания. Австрийская полиция, действуя заодно с местными властями, подавляла эти восстания с неслыханной жестокостью. Особенно обострилась борьба позднее, перед 1848 годом, когда революционная волна поднялась по всей Западной Европе.

В 1846 году, устрашѐнный общественным подъѐмом, римский папа сделал вид, что идёт навстречу народным требованиям: из тюрем выпустили некоторых политических заключѐнных, цензура не так яростно преследовала каждое вольное слово, но все это, конечно, нисколько не улучшало положения страны.

Во второй и третьей частях романа действие происходит как раз в эти дни.

Э.Л. Войнич показывает противоречия, возникающие внутри самой «Молодой Италии». Герои романа – Овод, Джемма, Мартини – являются наиболее активными членами организации; прекрасно понимая лицемерный характер деятельности папы, они разоблачают угнетателей и смело борются с ними, тогда как другие – умеренные – ограничиваются бесплодными разговорами и прошениями.

Однако мы не найдѐм в романе «Овод» изображения народных выступлений, вооружѐнных восстаний, которые были характерны для этого этапа национально-освободительного движения Италии.

Очевидно, писательница и не ставила себе целью создание исторических картин того времени. Ни один из персонажей «Овода» не является реальным историческим лицом. Имена исторических лиц – Мадзини, Орсини, Ренци и других – лишь упоминаются в романе.

Э.Л. Войнич сосредоточила внимание на изображении героического характера революционера.

Наибольший героизм Овод проявляет в поединках с жандармами, на том труднейшем участке борьбы, где борец лишѐн поддержки товарищей и где единственным его оружием является идейность.

В самом деле, в активной борьбе, в открытом выступлении с оружием в руках, каждый чувствует поддержку соратников, и в то же время совершенный подвиг находит мгновенный отклик, увлекает последователей; падающий боец видит идущих на смену, видит тех, кто подхватывает упавшее знамя и несѐт его дальше вперѐд. В тюрьме же подвиг остаѐтся невидимым, никто из друзей и не узнает о нём, но истинный революционер даже в этих

условиях, не ожидая никакой награды, остаётся верен себе!

Создавая героический образ революционера, Э.Л. Войнич одновременно с огромной силой срывает ореол святости с религии и её служителей. Она разоблачает всю их ложь, ханжество, лицемерие, она утверждает, что религия служит врагам народа.

Молодой и наивный Артур Бёртон, студент философии, решает посвятить свою жизнь борьбе за освобождение Италии от чужеземных захватчиков. Девизом тайной революционной партии «Молодой Италии», в которую он вступил, были слова: «Во имя бога и народа, ныне и во веки веков!» Артур следует этому девизу. Конечно, думает он, бог поможет народу. Христос ведь отдал жизнь во спасение народа. Однако при первом же столкновении с действительностью эти иллюзии разрушаются. Артур понял, что религия – ложь, что она помогает угнетателям. Отныне он, Артур, – враг церкви, всякой религии; враг религиозного мышления, требующего от человека слепого преклонения. И во имя народа он борется против бога.

Он борется с религией всеми способами – пером и мечом. Он уже не робкий Артур, а беспощадный, сильный, мужественный Феличе Риварес, принявший прозвище Овод. Он высмеивает церковь в уничтожающих памфлетах, он участвует в народных восстаниях. Он отказывается от всяких сделок с церковью, даже если это может спасти ему жизнь. Перед тягчайшими испытаниями он остаётся верен своим убеждениям. Грозный огонь борьбы закалил его волю.

С большим мастерством Э.Л. Войнич создаёт величественный образ героя-революционера и противопоставляет его образу Христа, которого в течение почти двух тысячелетий церковники провозглашали наивысшим символом кротости и покорности, спасителем человечества.

Недаром и эпиграфом к роману писательница берет фразу из евангелия – слова человека, обращённые к Христу: «Оставь; что тебе до нас, Иисус Назарянин?» Совершенно очевидно, как эта фраза усиливает антирелигиозное звучание книги.

Писательница утверждает, что революционер выше, могущественнее Христа. Не смирением и покорностью обретёт человечество свободу и счастье, а завоюет их в борьбе.

Э.Л. Войнич бросает вызов учению церковников о бессмертии Христа и воспекает бессмертие революционера, борца за свободу, который живёт в делах своих преемников, в своём великом подвиге.

Овод продолжает побеждать и после смерти. Его идейный противник – кардинал Монтанелли отрекается от веры. Друзья получают письмо Овода, написанное перед казнью. Оно звучит как боевой гимн. Оно пронизано воинствующим оптимизмом, уверенностью в победе, призывом к борьбе. И после смерти голос Овода, образ Овода ведёт вперёд. Он жив!

А кончается роман извещением о смерти Монтанелли. Этот уже не воскреснет!

Э.Л. Войнич глубоко, верно уловила и сумела передать в образах своего романа растущие силы революции, сумела показать обречённость, неизбежность гибели сил реакции.

Каждый персонаж романа «Овод» своеобразен и запоминается надолго.

Весь роман пронизан огромной любовью к людям, уважением к человеческой личности.

Особенно ярки образы революционеров: Овода и его соратников. Э.Л. Войнич показывает различие их взглядов, характеров, противопоставляет подлинных революционеров красноречивым болтунам. Писательница сумела передать высокий дух товарищества, характерный для борцов за свободу, их личную скромность, нежную суровость в отношениях друг к другу, их высокую идейность, целеустремлённость, принципиальность; их готовность отдать жизнь за народ.

Овод – человек сильных и цельных чувств. Именно потому, что он так сильно любит Монтанелли, своего отца, он не может простить его обман, не может примириться с ним. Именно потому, что он так сильно любит Джемму, он не может простить её пощёчину. Дело не

в самом оскорблении, дело в том, что она усомнилась в его честности, в его мужестве, в его верности своим убеждениям, а этого он не может простить никому.

Э.Л. Войнич глубоко и многосторонне раскрывает образ Овода. Он остроумен, у него злой, насмешливый язык, он не расстается с шуткой. Но как по-разному в различных условиях применяет он это грозное оружие! Его насмешки поражают врагов, раздражают либералов и придают силы и бодрость друзьям. Враги его ненавидят, либералы на него сердятся, простой народ его обожает.

Писательница особенно подчёркивает любовь Овода к жизни. Он любит природу, животных, деревья, цветы. Он горячо любит детей. Горе и тяжкие испытания сделали его суровым, закалили его волю, но не сделали его чёрствым. Если молодой Артур беззаботно-ласково играл с маленькой крестьянской девочкой, то и железный Риварес трогательно нежен с голодным оборвышем.

Овод страстно любит жизнь, дорожит ею, ценит её, но, несмотря на это, он идёт на смерть, ибо идеи для него дороже жизни, а уверенность в конечном торжестве его идей придаёт ему силы.

Полно глубокого смысла и самое прозвище Артура, которое стало его именем и является названием романа – «Овод». Автор имеет в виду историю знаменитого греческого мудреца Сократа. Властители Афин приговорили его к смертной казни за то, что он обличал их пороки. Защищаясь на суде против несправедливого приговора, Сократ сравнивает себя с оводом, который надоедает неторопливому коню, побуждая его действовать. Приговорённый к смерти, Сократ мог бы спастись, если бы пошёл на сделку с совестью, отрёкся бы от своих убеждений, но он предпочёл смерть. Наделяя своего героя прозвищем Овод, писательница напоминает нам о Сократе, подчёркивая тем самым основное его качество – верность своим убеждениям.

Писательница показала нам Овода живым человеком, со слабостями и странностями, с богатым внутренним миром, со множеством недостатков, но сумела оттенить главное в нём – его цельность, мужество, негибкую волю, непоколебимую верность своим убеждениям, его острый ум, преданность друзьям, страстную любовь к народу.

Вся жизнь Овода и его смерть были посвящены борьбе за освобождение родины. Эта борьба была его единственной и великой страстью. Вся его личная жизнь, все его стремления были посвящены этой великой цели. Несмотря на исключительность его личной судьбы, это типический образ революционера, борца за свободу.

Образ Овода – один из самых ярких образов революционера во всей мировой литературе.

Лучше всего можно сказать о нём следующими вдохновенными словами:

«...Среди коленопреклонённой толпы он один высоко держит свою гордую голову, изъязвлённую столькими молниями, но не склонявшуюся никогда перед врагом.

Он прекрасен, грозен, неотразимо обаятелен, так как соединяет в себе оба высочайших типа человеческого величия; мученика и героя.

Он мученик. С того дня, когда в глубине своей души он поклялся освободить родину, он знает, что обрёл себя на смерть. Он перекидывается с ней взглядом на своём бурном пути. Бесстрашно он идёт ей навстречу, когда нужно, и умеет умереть не дрогнув, но уже не как христианин древнего мира, а как воин, привыкший смотреть смерти прямо в лицо...

И эта-то всепоглощающая борьба, это величие задачи, эта уверенность в конечной победе дают ему тот холодный, расчётливый энтузиазм, ту почти нечеловеческую энергию, которые поражают мир. Если он родился смельчаком – в этой борьбе он станет героем; если ему не отказано было в энергии – здесь он станет богатырём; если ему выпал на долю твёрдый характер – здесь он станет железным...»

Эти слова принадлежат С.М. Степняку-Кравчинскому. Так он характеризовал русского

революционера. Но ведь они целиком применимы к Оводу! Они целиком выражают его сущность и наше отношение к нему. И это не случайно: писательница воплотила в своём герое черты многих борцов за свободу разных стран и народов. Недаром же польские исследователи литературы категорически утверждают, что реальными прообразами Овода были деятели польской социально-революционной партии «Пролетариат»; русские же читатели сразу после выхода русского перевода «Овода» узнали в нём знакомые черты русских революционеров. Другие исследователи считают, что в основе образа Овода легко обнаружить черты Гарибальди и Мадзини. Очевидно, что все они правы: Овод является интернациональным типом революционера. Ведь и сама писательница не подчёркивает его национальных черт: Овод наполовину англичанин, наполовину – итальянец.

Ни современники, ни читатели сегодняшнего дня не воспринимают роман «Овод» как историческое произведение. Не история национально – освободительного движения, а образ революционера, зовущий к борьбе, – основное содержание романа «Овод».

Евгения Таратута.

notes

Примечания

Пиза – город в средней Италии.

Каноник – священник католической церкви, занимающий постоянную должность при соборе.

Carino – дорогой (итал.).

Padre – отец; у итальянцев – обычное обращение к священнику.

Fragola – земляника (итал.).

Доминиканский – принадлежащий монашескому ордену доминиканцев, основанному в XII веке испанским проповедником Домиником для борьбы против «еретиков» и вольнодумцев.

Корнуэлл – графство в Англии.

Ливорно – крупный портовый город на Лигурийском море, неподалёку от Пизы.

Протестанты – сторонники возникшего в XVI веке в ряде стран Европы христианского вероучения, выступающего против некоторых положений католической церкви и против господства римского папы.

Крестьянам (итал).

Остров Руссо – остров, где установлен бюст французского мыслителя и писателя Жан-Жака Руссо (1712—1778), уроженца Женевы.

Шале – домик (франц.).

Monsieur – господин (франц.).

Методисты – религиозная секта, возникшая в XVIII веке в Англии.

«Молодая Италия» — название тайного общества, организованного в 1831 году итальянскими революционными эмигрантами под руководством Джузеппе Мадзини для борьбы за освобождение Италии от австрийского владычества, за объединение страны, за создание итальянской республики.

De Monarchia («О монархии») – сочинение великого итальянского поэта Данте Алигьери (1265—1321), отстаивающее необходимость ликвидации феодальной раздроблённости Италии путём создания единой итальянской монархии и критикующее притязания римского папы на светскую власть

Ватикан – папский дворец в Риме; в переносном смысле – папская власть, правящие круги римско-католической церкви.

Санта-Катарина – церковь Святой Екатерины в Пизе.

Калабрия – горная область в Неаполитанском королевстве.

В то время в Ливорно из французского порта Марселя нелегальным способом доставлялась газета «Молодая Италия», которую Мадзини выпускал в Марселе, а также издаваемые тайным обществом политические брошюры и книги

То есть газета «Молодая Италия»

Филистер – обыватель, человек с узким, ограниченным кругозором.

Синьорино – обращение к молодому человеку (итал).

Ave, Maria, Regina Coeli – «Радуйся, Мария, царица небесная...» – начало католической молитвы (лат.).

Миссионер — лицо, посланное господствующей церковью для религиозной пропаганды среди иноверцев.

Паоло – серебряная итальянская монета.

Медичи – старинный род правителей Флоренции.

Памятник Четырех Мавров – памятник тосканскому герцогу Фернандо I Медичи в Ливорно. У пьедестала этого памятника прикованы бронзовые фигуры четырех мавров.

Папа Пий IX, сменив летом 1846 года на папском престоле Григория XVI, провёл в Папской области незначительные реформы (частичная амнистия политическим заключённым и эмигрантам, ослабление цензуры, уменьшение некоторых налогов), чтобы привлечь на свою сторону интеллигенцию и отдалить нарождающийся в стране подъем национально-освободительного движения. Вскоре обнаружилось, что показной «либерализм» Пия IX был вызван тактическими соображениями. Напуганный начавшейся в 1848 году революцией, Пий IX продолжил реакционную политику своих предшественников.

Памфлет – статья или брошюра на злободневную тему, содержащая резкую критику какого-либо политического деятеля или общественного явления.

Петиция – коллективное прошение, чаще всего подаваемое высшей власти.

Великий герцог – Леопольд II, герцог Тосканский.

Ренци – организатор неудавшегося восстания в Римини (Папская область) в 1846 году; был выдан тосканским правительством папе.

Амнистия – помилование, прощение.

Грегорианцы – здесь: сторонники политики папы Григория XVI, противники реформ, предпринятых папой Пием IX.

Санфедисты – члены «Общества последователей святой веры», основанного в 1799 году итальянскими мракобесами для борьбы с освободительным движением, для укрепления неограниченной власти папы.

Ламбручини — кардинал, государственный секретарь Папской области; оказывал помощь австрийцам и сам опирался на них в борьбе против итальянского народа.

Иезуиты – существующий с середины XVI века монашеский орден, одна из наиболее воинствующих организаций католической церкви. Прикрываясь напускным смирением и благочестием, иезуиты, не стесняясь в средствах для достижения своей цели, применяют обман, интриги, провокации и тайные убийства. В настоящее время орден иезуитов является активным орудием империалистической реакции.

Джустини Джузеппе (1809—1850) крупный итальянский поэт, талантливый сатирик, выступавший против реакционеров и австрийского ига.

Миланский диалект — один из диалектов итальянского языка, довольно сильно отличающийся от литературной речи.

Сибарит – человек, привыкший к роскоши и безделью.

Оводом называл себя Сократ (469—499 до н.э.).

Летом 1843 года властями была раскрыта подготовка к восстанию в провинциях Болонья и Равенна. Руководители восстания – братья Муратори – ушли с небольшой группой друзей в горы (Апеннины), где пытались организовать партизанскую войну, но потерпели поражение.

Le Taon – овод (франц.).

Тридцатые-сороковые годы XIX столетия в Южной Америке были периодом национально-освободительных войн. В этих войнах участвовало много политических эмигрантов, бежавших из Европы.

Орсини Феличе – (1819—1858) – деятель национально – освободительного движения в Италии, мадзинист; казнён в Париже после неудачного покушения на французского императора Наполеона III.

Кардинал Спинола – один из папских наместников, особенно жестоко расправлявшийся с участниками восстаний и заговоров тридцатых-сороковых годов XIX столетия.

Девоншир – графство в юго-западной Англии.

Фьезоле – город неподалёку от Флоренции.

Мадонна – здесь: сударыня, госпожа (итал).

Автор напоминает о судьбе братьев Бандиера – флотских офицеров, в 1844 году сделавших попытку высадиться с военных судов с небольшим отрядом сторонников Мадзини и поднять восстание в Калабрии. Братья Бандиера были выданы предателями, арестованы и расстреляны на месте.

Царица Савская – по библейским преданиям, сказочно прекрасная и мудрая владычица одного из государств Древнего Востока.

Меттерних (1773—1859) – премьер-министр Австрии, виднейший представитель европейской реакции в 1815—1848 годах. В Италии его особенно ненавидели за жестокую политику террора и преследований, проводившуюся по его указанию.

Какая великолепная ночь! Не правда ли, князь? (франц.)

Очаровательно (франц.).

Князь (франц.).

Речь идёт о реформах Пия IX

Левеллеры (уравнители) – радикальная политическая партия в эпоху английской революции (XVII в.).

Слова шута из трагедии Шекспира «Король Лир», акт I, сцена IV.

Монсеньёр (монсиньор) – титул представителей высшего католического духовенства.

Сиена и Пистойя – города в Тоскане.

Романья – провинция в Папской области.

Кардинал Феретти – один из сподвижников папы Пия IX.

Шелли Перси Биши (1792—1822) – выдающийся английский поэт.

Савонарола Джироламо (1452—1498) – итальянский монах, религиозно-политический проповедник, прославившийся своим ораторским талантом.

Аркадия – страна в Древней Греции, воспетая античными поэтами как край мирной пастушеской жизни. В позднейшей литературе – счастливая, сказочная страна, избавленная от тревог и забот повседневности.

Леонардо да Винчи (1452—1519) – великий итальянский художник.

Арлекин и коломбина – действующие лица итальянского народного театра.

Сольдо – медная итальянская монета.

Полента – дешёвое народное итальянское блюдо.

Эй, Пьерро! Танцуй, Пьерро!
 Потанцуй и ты, Жанно!
 Веселись, мы поглядим,
 Хорошо быть молодым!
 Коль плачу я или вздыхаю,
 Коль у меня печальный вид —
 Я вас развеселить желаю!
 Ха! ха, ха, ха!
 Я вас развеселить желаю! (франц.)

Уходите, вы мне надоели, господа! (франц.)

Рио – Рио-де-Жанейро, столица Бразилии.

Атеист – безбожник.

Агностик — сторонник философского учения, которое отрицает возможность познания объективного мира.

Чивита-Веккиа – город в Папской области, на Тирренском море.

Скудо – крупная итальянская серебряная монета.

Мохачское поле — местность в Венгрии, где венгерская армия в 1526 году потерпела поражение от войск турецкого султана.

Сцилла и Харибда – в греческой мифологии чудовища, сулящие неминуемую гибель мореплавателю. Выражение «Между Сциллой и Харибдой» можно сравнить с русским «Между двух огней».

Моя вина, моя большая вина (лат.).

Слова Клавдио из драмы Шекспира «Мера за меру», акт III, сцена I.

Дон Карлос и маркиз Поза – персонажи исторической трагедии Ф. Шиллера «Дон Карлос».

Минерва – у древних римлян богиня мудрости, покровительница искусств, наук и ремёсел.

Слова молитвы перед причастием.

«Меланхолия» – гравюра великого немецкого художника А. Дюрера (1471—1528).

Легатство – резиденция полномочного представителя папы – легата.

«Не мир, но меч...» – Овод иронически напоминает слова Христа из евангельской легенды, обращённые к ученикам: «Не думайте, что я пришёл принести мир на землю. Не мир пришёл я принести, но меч».

Святая простота! (лат.)

На войне, как на войне (франц.).

Corpus Domini – праздник «тела господня», один из самых пышных праздников католической церкви.

Изречение из евангелия.

Так делают все (итал.).

Изречение из евангелия.

Матадор – в бое быков – главный боец, наносящий быку смертельный удар.

Здесь автор имеет в виду слова: «Ты победил, галилеянин», то есть «Ты победил, Иисус», слова, которые римский император Юлиан (331—363), гонитель христиан, будто бы произнёс перед смертью.

Капеллан – помощник священника у католиков.

«Припадём к престолу господню» (лат.) – вступительные слова молитвы, «Introit» – её название.

Молитва об отпущении грехов.

«Благословите, высокопреосвященнейший отче» (лат.).

Месса – католическая обедня.

И творцу хвала и сыну —
Господа творению, —
Мир, и честь, и мощь, и слава,
И благословение! (лат.).

Подал он слабым опору надёжную,
Подал скорбящим из крови он питье... (лат.)

Слова из католического песнопения, означающие «беспредельное, вечное».

Голгофа – место близ Иерусалима, на котором якобы произошла казнь Христа.

Швейцарская гвардия – наёмные войска папского правительства, которые комплектовались из швейцарцев.

Представление окончено (итал.).